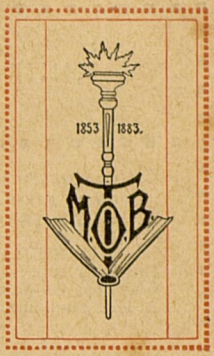
Л. ЧАРСКАЯ

ЗА ЧТО?

ИЗДАНІЕ
Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ


1853 1883.
MOB

Л. А. ЧАРСКАЯ

КНИГИ ДЛЯ ДѢТЕЙ И ЮНОШЕСТВА,

ИЗДАННЫЯ Т-ВОМЪ М. О. ВОЛЬФЪ:

ЗАПИСКИ ИНСТИТУТКИ.
Повѣсть для юношества, съ илл. А. И. Сударушкина. Изд. 3-е. Ц. 3 р.

КНЯЖНА ДЖАВАХА.
Повѣсть для юношества, въ 2-хъ частяхъ, съ илл. В. А. Табурина и А. И. Сударушкина. Изд. 3-е. Ц. 3 р.

ЛЮДА ВЛАССОВСКАЯ.
Повѣсть для юнош., въ 2-хъ частяхъ, съ илл. В. А. Табурина. Изд. 3-е. Ц. 3 р.

ВТОРАЯ НИНА.
Повѣсть для юношества, съ илл. И. В. Симакова. Изд. 2-е. Ц. 3 р.

ДЖАВАХОВСКОЕ ГНѢЗДО.
Повѣсть для юношества, съ илл. И. Гурьева. Ц. 3 р.

ЗА ЧТО?
Моя повѣсть о самой себѣ, въ 4-хъ частяхъ, съ илл. И. Гурьева. Изд. 2-е. Ц. 3 р.

БОЛЬШОЙ ДЖОНЪ.
Повѣсть для юнош., съ иллюстр. И. Гурьева. Ц. 3 р.

ЛѢСОВИЧКА.
Повѣсть для юнош., съ илл. З. Шапиро. Ц. 3 р.

ГАЗАВАТЪ.
Историческая повѣсть, съ илл. І. І. Смукровича. Изд. 2-е. Ц. 3 р. 50 к.

ПАЖЪ ЦЕСАРЕВНЫ.
Историческая повѣсть, съ илл. А. Бальдингера. Ц. 3 р. 50 к.

СМѢЛАЯ ЖИЗНЬ.
Истор. пов. для юнош., съ илл. Е. П. Самокишъ-Судковской. Ц. 3 р. 50 к.

ГРОЗНАЯ ДРУЖИНА.
Историч. повѣсть, съ иллюстр. худ. С. Панова. Ц. 3 р. 50 к.

ЦАРСКІЙ ГНѢВЪ.
Историческій разсказъ, съ илл. А. Бальдингера. Ц. 1 р. 25 к.

ЕВФИМІЯ СТАРИЦКАЯ.
Историческій романъ. Изд. 2-е. Ц. 1 р.

ТАКЪ ВЕЛѢЛА ЦАРИЦА.
Историческая повѣсть для дѣтей, съ илл. А. Бальдингера. Ц. 1 р. 50 к.

ГОЛУБАЯ ВОЛНА.
Стихи и пѣсни для юношества.

ПЕРВЫЕ ТОВАРИЩИ.
Повѣсть для дѣтей, съ иллюстр. Э. Соколовскаго. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 75 к.

ЮРКИНЪ ХУТОРОКЪ.
Повѣсть для дѣтей, съ иллюстр. И. В. Симакова. Ц. 2 р. 50 к.

ЗАПИСКИ СИРОТКИ.
Повѣсть для дѣтей, съ илл. Э. Соколовскаго. Ц. 1 р. 75 к.

ЛИЗОЧКИНО СЧАСТЬЕ.
Повѣсть для дѣтей, съ илл. В. А. Табурина и И. В. Симакова. Изд. 2-е. Ц. 2 р. 50 к.

ТАСИНО ГОРЕ.
Повѣсть для дѣтей, съ илл. И. В. Симакова. Ц. 2 р. 50 к.

ЗАПИСКИ МАЛЕНЬКОЙ ГИМНАЗИСТКИ.
Повѣсть для дѣтей, съ иллюстр. А. Бальдингера. Ц. 2 р. 50 к.

СИБИРОЧКА.
Повѣсть для дѣтей, съ иллюстр. И. Гурьева.

ДОМЪ ШАЛУНОВЪ.
Повѣсть для дѣтей, съ иллюстр. А. Бальдингера.

СЧАСТЛИВЧИКЪ.
Повѣсть для дѣтей, съ илл. худ. И. Гурьева.

ПРОДАННЫЙ ТАЛАНТЪ.
Повѣсть для юношества, съ илл. В. Полякова. Ц. 60 к.

ЛУЧШІЙ ДАРЪ.
Волшебная картина въ одномъ дѣйствіи. Съ рис. М. Кипина. Ц. 15 к.

СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ.
Съ рис. В. Мельникова, З. Шапиро и др. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 75 к.

РЫЖИКЪ И ЧЕРНУШКА.
Разсказъ для малютокъ, съ хром. карт. А. Гейера. Ц. 1 р. 50 к.

ВЕСЕЛАЯ ДЮЖИНКА.
Книжка стишковъ для маленьк. дѣтей, съ илл. Ц. 45 к.

ВОВИКЪ.
Полу-быль, полу-сказка, съ илл. барона Демерта.

КОГДА МЫ БЫЛИ МАЛЕНЬКІЕ.
Разсказы для маленьк. дѣтей, съ хром. карт. Изд. 2-е. Ц. 90 к.

Лидія Чарская

38.79.4.100

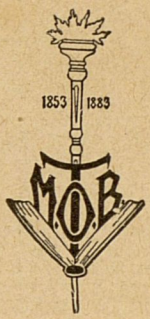
ЗА ЧТО?

* * *

МОЯ ПОВѢСТЬ О САМОЙ СЕБѢ

Л. А. ЧАРСКОЙ

В. Шидлиа



Валентина Дмитриевна
ЮДИНА

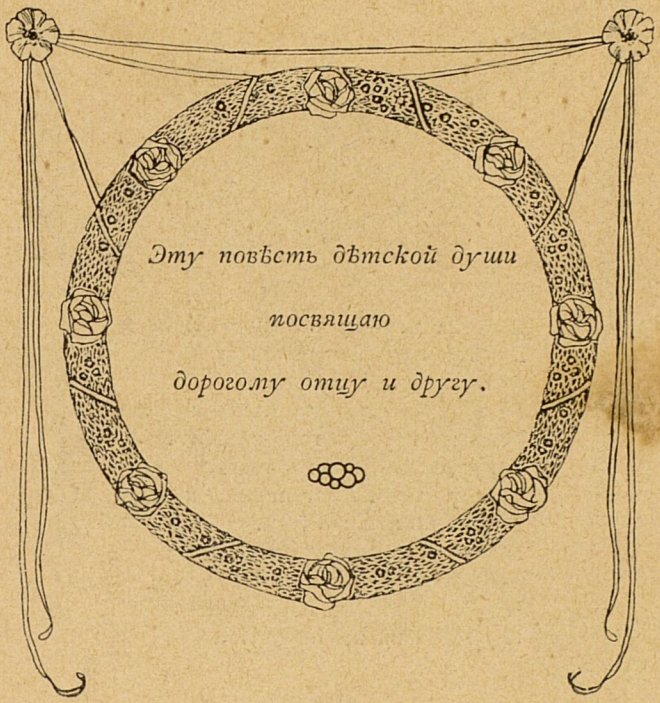
Съ 10-ю рисунками В. Табурина и И. Гурьева
и двумя портретами автора

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

Изданіе
Товарищества М. О. Вольфъ
С.-Пбургъ • Москва •
1910

ПЕЧАТЬ ТИПОГРАФІИ
Т-ва М·О·ВОЛЬФЪ
С·ПЕТЕРБУРГЪ · ВАС · ОСТР · 16 ЛИНІЯ СОБ · ДОМЪ
1910

Гос.
Публичная
Библиотека
в
Ленинграде


Эту повѣсть дѣтской души
посвящаю
дорогому отцу и другу.

Дѣтства дни—лучъ солнца яркій,
Какъ мечта прекрасный лучъ.
Дѣтство—утро золотое,
Безъ суровыхъ, мглистыхъ тучъ.
Какъ ни грустно горе въ дѣтствѣ,
То, что мнилось имъ тогда,
То—пустымъ, ничтожнымъ кажетъ
Послѣ, въ зрѣлые года.
И охотно вновь ребенкомъ
Я-бъ желала снова стать,
Чтобъ по дѣтски наслаждаться,
И по дѣтски же страдать...

СОДЕРЖАНІЕ.

стр.

ВМѢСТО ВСТУПЛЕНІЯ 1

ЧАСТЬ I

ГЛАВА I. О чемъ шептали старыя сосны. 7
» II. Моя особа. — Прекрасный принцъ и его оселъ.— Ливень 11
» III. Бука.—Мое «солнышко» 18
» IV. Подарокъ. — Первое тщеславіе. — Дѣтскій праздникъ. — Снова прекрасный принцъ и Коля Черскій 25
» V. Мальчикъ-капризъ. — Сѣрая женщина. — Первое горе 36

ЧАСТЬ II

ГЛАВА I. Моя пытка.—Тетя Оля.—Новость далеко непріятнаго свойства 49
» II. Мои «рыцари».—Маленькая вѣдьма.—Въ гостяхъ у лягушекъ 57
» III. Таинственная тетя. — Праздникъ у Весмандъ. — Муки совѣсти.—Злополучный трепакъ и Нэлли Ронова. 68
» IV. Мои добрыя феи.—Большая неожиданность.—Катишь. 85
» V. Кузины. - Жертва Катишь.—Страшная ночь . . . 94
» VI. Воры 102

ЧАСТЬ III

ГЛАВА I. Красное зданіе и синія дамы.—Прощаніе 106
» II. Первая стычка.—Оля Петрушевичъ 112

стр.

ГЛАВА III. Первый вечеръ въ неволѣ. — Нѣмецкія спряженія.—Въ дортуарѣ 121
IV. Мечты о домѣ. — Я рѣшаюсь бѣжать. — Волшебница 131
» V. Снова маленькія мучительницы. — Отказъ. — Волшебное превращеніе 139
» VI. Пріемъ.—Седьмушки устраиваютъ «бенефисъ».— Я заслуживаю уваженіе Петруши и аристократки. 146
» VII. Я съѣдаю завтракъ француза.—Астраханка.—На судѣ. — Истерика 159
» VII. (Продолженіе). Предательница.—Нападеніе 172

ЧАСТЬ IV

ГЛАВА I. Стихи.—Первая заутреня.—Тріумфъ 175
» II. Ужасное открытіе. Мое отчаяніе 187
» III. Безумное рѣшеніе.—Неожиданный утѣшитель . . 192
» IV. Встрѣча.—Я заболѣваю 203
» V. Принцесса покидаетъ четырехъ добрыхъ волшебницъ 213
» VI. Дорога. — Мачиха. 217
» VII. Первыя невзгоды.—Вражда.—М-lle Тандре. — Мозоли.—Большой Джонъ 220
» VIII. 25-ое іюля.—Подношеніе.—Сестрички Вилькангъ.— Большой Джонъ появляется, какъ фея изъ сказки.—Я выдаю тайну кикиморы 233
» IX. Письмо. — Исторія. — Меня наказываютъ вторично.—Цыганки. 245
» X. Я привожу свой планъ въ исполненіе.—Въ таборъ! . 260
» XI. Золотая приманка.—Я узнаю ужасныя вещи. . . 267
» XII. Я узнаю съ какой работы вернулись «большіе».— Открытіе.—Услуга Маріулы 273
» XIII. Между жизнью и смертью.—Дома.—Отъѣздъ . . 280

ЧАСТЬ V

Дневникъ Лидіи Воронской 292

ВМѢСТО ВСТУПЛЕНІЯ

РОЗЫ цвѣли и благоухали... Небо смѣялось, и старый садъ свѣтло улыбался жаркой іюльской улыбкой...

Въ глубокомъ креслѣ на верандѣ, облитой потоками золотыхъ лучей, сидѣла больная. Ея блѣдное, усталое, изнуренное лицо, впалые, безжизненные глаза, ея прозрачная кожа и исхудалое тѣло говорили о продолжительномъ недугѣ.

Взглядъ больной покоился на прильнувшей къ ея колѣнямъ головѣ молодой женщины, которая пріютилась у ея ногъ.

Эта молодая женщина составляла полную противоположность больной: она казалась воплощеніемъ жизни, несмотря на печальное выраженіе глазъ, съ любовью и сочувствіемъ устремленныхъ на больную.

Взоры больной встрѣтились съ этимъ взоромъ, пытливымъ и любящимъ... Легкій вздохъ приподнялъ исху-

далую грудь... Что-то влажное и блестящее сверкнуло въ глубокихъ страдальческихъ глазахъ... Больная положила свою прозрачную, исхудалую руку на русую головку, покоившуюся на ея колѣняхъ, и проговорила:

— Дитя мое! Не знаю, поможетъ ли мнѣ небо юга, къ которому меня посылаютъ врачи, и долго-ли я проживу на свѣтѣ... Быть можетъ намъ не суждено больше увидѣться... А потому у меня къ тебѣ просьба... возможно, что уже послѣдняя въ жизни... Я увѣрена, что ты мнѣ не откажешь...

Сухой, прерывистый кашель прервалъ рѣчь больной. Она откинулась на подушки, а когда приступъ кашля прошелъ, продолжала слабымъ, тихимъ голосомъ:

— Наши жизни сплелись такъ тѣсно, такъ крѣпко... Судьба сблизила насъ... Ты помнишь, какую огромную роль я сыграла въ твоей жизни? Ты помнишь, сколько горя, злобы и вражды осталось позади насъ; сколько ненависти было до тѣхъ поръ, пока ты не узнала меня, моя дѣвочка... Мы обѣ были виноваты. Я, смѣло войдя въ твою жизнь, не смогла понять твою гордую, свободную, какъ птица, душу и невольно наносила ей одну сердечную рану за другой... Ты, возненавидя меня, замѣчала во мнѣ только одни недостатки и видѣла въ каждомъ моемъ поступкѣ однѣ темныя стороны... Почему такъ распорядилась судьба? Отчего она не сразу дала мнѣ ключъ къ сердцу моей дѣвочки? За что мы обѣ страдали такъ долго? Ты — съ твоей ненавистью и

злобой ко мнѣ, я—видя полное безсиліе унять это чувство... Но, славу Богу, все это минуло, какъ кошмаръ, какъ гадкій сонъ, какъ темный осенній вечеръ... И теперь, когда я завоевала любовь моей дѣвочки, мнѣ хотѣлось бы вспомнить то далекое, темное время, которое не вернется уже никогда, вспомнить именно теперь, когда, быть можетъ, я послѣдніе дни вижусь съ тобою...

Голосъ больной слабѣлъ съ каждой минутой... Это не былъ уже обычный человѣческій голосъ: звономъ голубиныхъ крыльевъ, шелестомъ вѣтерка, тихимъ журчаніемъ рѣки вѣяло отъ него...

— Нѣтъ! Нѣтъ, мама! Не говори такъ!—съ жаромъ воскликнула молодая женщина, прильнувъ горячимъ поцѣлуемъ къ исхудалой рукѣ. — Ты должна жить, жить для насъ, дорогая... Должна!.. Для семьи, для отца, для меня!.. Неужели-же я нашла мое сокровище, мою маму, чтобы потерять ее снова? Ты должна жить ради того, чтобы дать мнѣ возможность загладить все то зло, которое я причинила тебѣ когда-то невольно...

Легкая улыбка заиграла на печальномъ, красивомъ лицѣ больной.

— Выслушай мою просьбу, дѣвочка, — произнесла она тихо-тихо, чуть слышно. — Твои дѣтскіе годы, вся твоя жизнь сложилась такъ странно и необычайно, совсѣмъ не такъ, какъ у другихъ. И, по волѣ судьбы, мнѣ пришлось въ ней сыграть не малую роль... У тебя, я знаю, есть много юныхъ друзей, которые жадно ловятъ

каждое твое слово... Открой-же имъ исторію твоей жизни, твоего страннаго дѣтства, разскажи имъ одну истинную правду безъ прикрасъ... А такъ какъ наши жизни сплетены такъ тѣсно, то это будетъ отчасти и повѣсть о той, которая тебя такъ любила, и которую ты такъ долго не могла понять... И пусть твои юные друзья узнаютъ хорошія и дурныя стороны одной человѣческой души. Кто знаетъ?—быть можетъ, эта правдивая повѣсть принесетъ пользу другимъ. Быть можетъ, имъ не безполезно будетъ узнать о дѣвочкѣ, мечтавшей стать принцессой и оставшейся Сандрильоной. Увы! Сандрильоны встрѣчаются чаще, много чаще принцессъ!.. А одна гордая странная душа не хотѣла согласиться съ этимъ... Быть можетъ, исторія этой странной души научитъ слишкомъ гордыхъ смиренію, слишкомъ несчастныхъ подаритъ надеждой... Быть можетъ иныхъ она наведетъ на размышленіе, какъ трудно иногда намъ понять нашихъ близкихъ, какъ легко—несправедливо ихъ осудить, возненавидѣть... Я знаю, что тяжело будетъ тебѣ раскрыть цѣлый рядъ тайнъ и шагъ за шагомъ описать твою жизнь, не щадя себя... Но ты сдѣлаешь это для меня и для тѣхъ, которыхъ считаешь своими друзьями...

Новый приступъ кашля прервалъ рѣчь больной.

— Да, да... я исполню твое желаніе, дорогая!—отвѣтила стоявшая на колѣняхъ молодая женщина.—Клянусь тебѣ, исполню все, что ты просишь у меня! Я на-

пишу всю правду, открою завѣтную тайну моей души, я разскажу имъ о той женщинѣ, которая отплатила любовью за муки, лаской — за вражду... Ты понимаешь меня, дорогая?

Глаза больной широко раскрылись. Улыбка счастья заиграла на лицѣ...

А розы цвѣли и благоухали. Чудная сказка изъ зелени, солнца и цвѣтовъ искрилась, сіяла и тихо лепетала о чемъ-то кругомъ и надъ ними...

Вскорѣ больная уѣхала къ другому солнцу, къ другому небу и розамъ. А когда вернулась вполнѣ поправившейся, здоровой и бодрой, она нашла у себя на столѣ объемистую рукопись, написанную по ея желанію.

* * *

Эта выздоровѣвшая больная—моя вторая мать, а та, которая исполнила данное ей слово,—я.

Я написала мою повѣсть о самой себѣ, разсказала исторію моего страннаго дѣтства, открыла въ ней всю мою душу...

Исполняя волю моей дорогой, я отдаю эту повѣсть вамъ на судъ, мои милые юные друзья. Вѣроятно, многое въ этой повѣсти покажется вамъ страннымъ, многое вызоветъ ваше недоумѣніе. Быть можетъ, даже самый способъ разсказа, въ иныхъ мѣстахъ фантастическій, полусказочный, вызоветъ ваше недоумѣніе, покажется вамъ страннымъ. Но—прочтите все до конца, и тогда вы поймете, чѣмъ объясняются эти кажущіяся

странности, тогда только вы, узнавъ характеръ той, которая писала эту повѣсть, въ состояніи будете объяснить себѣ ея странности.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I.

О чемъ шептали старыя сосны.

СИНИМЪ сапфиромъ горѣло небо надъ зеленой рощей.

Золотыя иглы солнечныхъ лучей пронзали и пышную листву березъ, и бархатистую хвою сосенъ, и серебряные листья стройныхъ молоденькихъ тополей.

Вѣтеръ рябилъ изумрудную зелень, и шопотъ рощи разносился далеко, далеко...

Старыя сосны шептали:

— Мы знаемъ славную сказку!

Имъ вторили кудрявыя, бѣлостволыя березы:

— И мы, и мы знаемъ сказку!

— Не сказку, а быль! Быль мы знаемъ! — звенѣли серебряными листьями молодые, гибкіе тополя.

— Правдивую быль, прекрасную, какъ сказка! Правдивую быль разскажемъ мы вамъ,—зашептали и сосны, и березы, и тополя разомъ.

Какая-то птичка чирикнула въ кустахъ:

— Быль! Быль! Быль разскажутъ вамъ старыя сосны. Слушайте! Слушайте ихъ!

И сосны зашептали такъ тихо и такъ звонко въ одно и то-же время, что маленькая дѣвочка, пріютившаяся подъ одною изъ нихъ, самой пышной и самой красивой, услышала все отъ слова до слова.

И правда: то была не сказка, а быль. Славная быль-сказка!

— Жилъ на свѣтѣ человѣкъ, — шептали старыя сосны, — прекрасный, какъ солнце, съ золотымъ сердцемъ, полный благородства и доброты. «Честность и трудъ»—было его девизомъ, съ которымъ онъ вступалъ на жизненный путь.

Жила-была также дѣвушка на свѣтѣ, нѣжная, какъ цвѣтокъ мимозы, кроткая, какъ голубка, любимица семьи.

И встрѣтились они оба,—и прекрасный, какъ солнце, человѣкъ, и кроткая, какъ голубка, дѣвушка. Встрѣтились, полюбили другъ друга и поженились...

Охъ, что это была за жизнь! Что это было за счастье! Въ сказкахъ только встрѣчается такое. Но такъ какъ жизнь не сказка, то въ жизни нѣтъ полнаго счастья...

Стоялъ январь. Гудѣла вьюга. Мятель плясала и кружилась надъ сѣрымъ городомъ. Люди спѣшили въ церковь. Было воскресенье. И въ этотъ день у счастливой пары родилась дочь, малюсенькая, малюсенькая дѣвочка съ живыми сѣрыми глазами.

— Выслушай мою просьбу, дѣвочка,—произнесла она тихо-тихо...

У колыбели дѣвочки сошлись четыре добрыя волшебницы,—или нѣтъ! не волшебницы, а, вѣрнѣе, четыре добрыя, простыя дѣвушки, родныя тетки новорожденной, сестры ея матери, лежавшей въ сосѣдней комнатѣ на смертномъ одрѣ.

— Какое странное лицо у дѣвочки!—сказала старшая изъ тетокъ, Юлія, поклонница всего таинственнаго,—помяните мое слово, она недолго проживетъ, эта дѣвочка.

— Что ты! Что ты!—замахала на нее руками вторая изъ сестеръ, Ольга, стройная, высокая, съ добрымъ, ласковымъ лицомъ.—Дитя должно жить, будетъ жить намъ на радость... И если что-либо (тутъ она понизила голосъ) случится съ сестрой Ниной, — мы вырастимъ малютку и всѣ четверо замѣнимъ ей мать.

— Да, да! Она будетъ наша! — произнесла третья сестра, Лиза, полная, голубоглазая тридцатилѣтняя дѣвушка, съ мягкимъ, ласковымъ взоромъ, скрытымъ очками.—Клянусь, я замѣню ей мать!

— Сегодня воскресенье, — произнесла самая младшая изъ сестеръ, Капитолина или Линуша, какъ ее звали въ семьѣ, и ея жизнерадостные карiе глаза, оживлявшiе некрасивое, но чрезвычайно симпатичное лицо, остановились на дѣвочкѣ,—ребенокъ родился въ воскресенье! А воскресныя дѣти бываютъ обыкновенно счастливы.

— Дѣвочка будетъ счастлива! Она должна быть счастлива!—подхватили хоромъ ея сестры.

И вдругъ имъ почудилось, что кто-то, легкій и призрачный, приблизился къ нимъ и всталъ между ними и колыбелью. Какая-то сѣрая фигура подъ капюшономъ, въ видѣ монахини, что-то легкое, воздушное, какъ сонъ... Сѣрая женщина неслышно скользнула къ колыбели и, склонившись надъ ребенкомъ, какъ будто поцѣловала его.

— Это судьба! — шепнула Юлія, первая замѣтивъ призракъ.—Судьба поцѣловала дитя!

— Судьба поцѣловала ребенка!—вторила ей Лиза и опустила голову.

Когда она подняла ее, призракъ уже исчезъ. Четыре сестры были теперь однѣ въ комнатѣ. Сѣрая фигура словно растаяла въ сумеркахъ. И тогда онѣ всѣ четверо снова окружили колыбель. Дитя лежало съ открытыми глазами и—странно!—почудилось ли сестрамъ или нѣтъ, но легкая улыбка играла на крошечныхъ губахъ шестичасовой дѣвочки.

— Необыкновенный ребенокъ! — прошептали всѣ четыре тетки разомъ.

Вдругъ порывистый стонъ мятели пронизалъ ихъ слухъ.

— Какъ воетъ вѣтеръ!.. — прошептала Лина, — вы слышите, какъ стонетъ вьюга за окномъ?

Но то не вьюга стонала. Она ошиблась, Лина. На порогѣ стоялъ блѣдный, какъ призракъ, человѣкъ съ дикими, блуждающими глазами и изъ груди его рвались судорожные вопли:

— Скорѣе.. къ ней... къ моей Нинѣ... Она умираетъ!..

. . . . . .

Въ ту-же ночь прекрасная, кроткая душа Нины Воронской улетѣла на небо... Малютка Лидія осталась сиротою...

Вотъ о чемъ шептали старыя сосны, и ихъ звонкій шопотъ несся далеко, далеко...

ГЛАВА II.

Моя особа.—Прекрасный принцъ и его оселъ.—Ливень.

— ЛИДА! Лидокъ! Лидюша! Лиденчикъ! Лидокъ-сахарокъ! Гдѣ ты? Откликнись, дѣвочка!

Откликнуться или нѣтъ? Я зажмуриваюсь на минуту и сладко потягиваюсь, какъ котенокъ. О, какъ славно пахнетъ соснами! Тетя Лиза, моя вторая мама, живущая съ нами въ домѣ, говоритъ, что это очень здоровый запахъ. Значитъ, не грѣхъ имъ надышаться вволю, досыта. И потомъ, здѣсь такъ чудесно въ зеленой рощѣ, гдѣ я представляю себя заколдованной принцессой изъ тетиной сказки, а деревья—великанами-волшебниками, заворожившими меня... И мнѣ рѣшительно никуда не хочется идти.

— Лида! Лидушка! Лидокъ-сахарокъ!—надрывается рѣзкій голосъ.

О, я знаю чей это голосъ: это моя няня Груша.

— Пусть, пусть покричитъ!—соображаю я (потому, что хотя мнѣ только четыре года, я все-таки умѣю соображать).

Я не люблю няни. У нея лицо злое-презлое, цыганское лицо. Она строгая, сердитая и никогда не играетъ со мною и не разсказываетъ мнѣ сказокъ, какъ тетя Лиза. Она только любитъ нарядить меня, какъ куколку, и вывести на прогулку въ большой паркъ, въ большой Царскосельскій паркъ (мы живемъ въ Царскомъ Селѣ, недалеко отъ этого парка), гдѣ есть такое чудесное прозрачное озеро съ бѣлыми лебедями. Тутъ няня садится на скамейкѣ и вмигъ ее окружаютъ другія няньки.

— А вѣдь наша Лидюша здѣсь нарядн҃ѣе всѣхъ,— говоритъ няня, съ презрѣніемъ оглядывая прочихъ дѣтей въ простенькихъ костюмахъ.

Няньки зеленѣютъ отъ злости, а моя няня продолжаетъ разсыпаться по моему адресу:

— И красавица она у насъ на-диво!

Ну, ужъ съ этимъ никто изъ нихъ не можетъ согласиться... Что меня рядятъ, какъ куколку, это вѣрно, но что у меня вздернутый носъ и толстыя губы, этого никто уже не станетъ отрицать.

— Ну, ужъ и красавица! Мальчишка какой-то!

Няня обижается и начинается споръ, во время котораго я непремѣнно падаю и разбиваю себѣ носъ до крови. Тутъ на «красавицу» летитъ цѣлая буря нареканій, выговоровъ, упрековъ. Нянька изъ себя выхо-

дить, а я начинаю ревѣть отъ незаслуженной обиды. Несмотря на то, что я совсѣмъ еще крошка, я отлично понимаю, что не любовь ко мнѣ руководитъ похвалами няни. Просто ей пріятно имѣть нарядную дѣвочку на рукахъ — и только. Конечно, я не могу любить такую няньку и рада-радешенька убѣжать отъ нея.

— Лида! Лидокъ! Лидюша! Лиденчикъ! Лидокъ-сахарокъ!—раздается опять голосъ.

Откликнуться развѣ?

Нѣтъ, не откликнусь я ей ни за что въ свѣтѣ! Вѣдь не скоро еще удастся убѣжать въ этотъ чудный уголокъ...

И я съ наслажденіемъ растягиваюсь въ мягкой муравѣ.

Нянинъ голосъ то приближается, то удаляется. Очевидно, она бѣгаетъ по рощѣ, прилегающей къ нашему саду, гдѣ мнѣ строго-настрого запрещено ходить.

Такъ что-жъ, что запрещено? А я иду туда все-таки! Я увѣрена, что никто не разсердится на меня и не накажетъ. Меня запрещено наказывать. А что будетъ злиться няня, то мнѣ до этого рѣшительно все равно. Вѣдь я божокъ семьи. Тетя Лиза такъ и говоритъ всегда: «Лидюша—нашъ божокъ».

Отлично быть божкомъ семьи, неправда-ли? А какъ пріятно сознавать, что всѣ и все кругомъ созданы для тебя только, исключительно для тебя одной!..

Няня покричала, покричала и умолкла. Вѣрно ушла

искать меня въ саду. Очень рада. Теперь она не скоро вернется и я могу отлично поиграть въ свою любимую игру. А игра у меня всегда одна, постоянно.

Я — принцесса, принцесса изъ тетиной сказки. Во всѣхъ моихъ играхъ я или принцесса, или царевна. Ничѣмъ инымъ я не могу и не желаю быть. А эти деревья кругомъ — всѣ они злые волшебники, которые наложили на меня свои чары и не даютъ выйти на свободу. Но я знаю, что если найти заколдованный мечъ, то я могу имъ проложить дорогу къ волѣ. И я внимательно осматриваюсь кругомъ въ надеждѣ найти его. И вотъ чудесный мечъ найденъ. Ура!

Я вижу огромный сукъ въ травѣ и, обхвативъ его обѣими моими слабенькими ручонками, поднимаю его надъ головой. Теперь злые волшебники-гиганты побѣждены.

Моя фантазія летитъ все впередъ и впередъ, быстрѣе птицы. Злые волшебники уже низко-низко склоняются предо мною и почтительно провозглашаютъ хоромъ: «Да здравствуетъ прекрасная принцесса и чудесный мечъ!»

Колдовство разомъ рушилось, чары исчезли; гиганты-великаны разступаются передо мной и я, какъ подобаетъ настоящей принцессѣ, выступаю важно-преважно со своимъ сукомъ-мечомъ. Путь открытъ передо мною и я спѣшу къ выходу изъ волшебнаго лѣса. Я знаю отлично, что прекрасный принцъ ждетъ меня на

опушкѣ. Онъ пришелъ освободить меня, но не успѣлъ. Волшебный мечъ попался мнѣ въ руки, а не ему, и я сама побѣдила имъ злыхъ волшебниковъ.

И, помахивая сукомъ, я съ гордымъ видомъ шествую между деревьями къ выходу изъ заколдованнаго лѣса, то-есть изъ рощи.

— Ха-ха-ха! вотъ смѣшная-то дѣвчонка! Смотри, Савельевъ!—слышится веселый хохотъ за моими плечами.

Оглядываюсь и положительно разѣваю ротъ отъ удивленія.

Прекрасный принцъ передо мною. У него чудесные глаза, яркіе, какъ звѣздочки, и пышные бѣлокурые локоны вьются по плечамъ. Но что всего удивительнѣе—это то, что прекрасный принцъ пріѣхалъ на ослѣ за своей принцессой. Положительно—на живомъ, настоящемъ ослѣ съ огромными ушами и такимъ смѣшнымъ видомъ, точно онъ уже совсѣмъ, совсѣмъ глупый оселъ.

Прекрасный принцъ сидитъ на ослѣ, котораго ведетъ подъ-уздцы высокій загорѣлый человѣкъ въ солдатской шинели.

Я невольно замираю отъ восторга при видѣ очаровательнаго мальчика и не менѣе его очаровательнаго осла.

— Прекрасный принцъ, — кричу я, — вы опоздали, я сама освободила себя волшебнымъ мечомъ!

И я низко-низко присѣдаю передъ бѣлокурымъ видѣніемъ.

И мальчикъ, и солдатъ начинаютъ такъ хохотать, точно ихъ щекочутъ. Не понимаю, что они нашли смѣшного въ моей особѣ? Право, до сихъ поръ я была лучшаго мнѣнія объ умѣ мальчиковъ и солдатъ.

И вдругъ ко всему этому прибавляется что-то необычайно шумное, гулкое и громкое, какъ труба. Что за звуки! Боже! Боже!

— Ыу! Ыу! Ыу! Ыу!

Это кричитъ оселъ.

Я ничего не боюсь на свѣтѣ, кромѣ лягушекъ и «буки», но тутъ, при звукахъ этого невозможнаго, чудовищнаго крика, я тоже начинаю кричать. И не отъ страха, а оттого, что я ужасно нервна и впечатлительна отъ природы, — такъ, по крайней мѣрѣ, говорятъ мои тети и докторъ, который постоянно меня лечитъ.

— Ыу! Ыу! Ыу!—вопитъ оселъ.

— А-а-а-а! — тяну я дикимъ, пронзительнымъ голосомъ.

Голова моя начинаетъ кружиться, кружиться, и прекрасный принцъ становится совсѣмъ-совсѣмъ маленькій у меня въ глазахъ. И вотъ, въ ту самую минуту, когда я готова уже лишиться чувствъ, съ неба хлынулъ ливень, ужасный ливень. Тучи уже давно собирались надъ моей головою, но въ пылу игры я не замѣтила ихъ.

— Дѣвочка! ты смокнешь! — кричитъ мнѣ прекрасный принцъ, свѣшиваясь съ сѣдла. — Садись ко мнѣ

скорѣе. Я знаю, ты живешь тутъ недалеко отъ парка, въ капитанскомъ домѣ. Дядя Воронской твой папа. Я отвезу тебя туда. Савельевъ, — скомандовалъ онъ своему спутнику-солдату,—посади ко мнѣ дѣвочку на сѣдло.

Сильныя руки подхватываютъ меня на воздухъ и бережно опускаютъ на спину осла, который пересталъ кричать — отъ дождя, должно быть. Маленькія руки обнимаютъ меня.

— Держись за меня! — слышу я звонкій голосокъ надъ самымъ ухомъ.

Толстая солдатская шинель закрываетъ насъ съ головою, и меня и принца. Подъ шинелью темно и уютно. Дождикъ не мочитъ меня больше. У моего плеча пріютилась головка маленькаго принца. Я не вижу его лица; одни только локоны пушистымъ облакомъ бѣлѣютъ передо мною въ полумракѣ.

Оселъ двигается медленно и важно... Какая-то усталость сковываетъ всѣ мои члены, слабые члены хрупкаго, болѣзненнаго ребенка. Сонъ незамѣтно подкрадывается ко мнѣ. Сквозь него я слышу, какъ прекрасный принцъ мнѣ поясняетъ, что онъ не принцъ вовсе, а Вова Весмандъ, что онъ тоже, какъ и мы, живетъ постоянно въ Царскомъ Селѣ, что онъ сынъ стрѣлковаго командира, нашъ сосѣдъ и... и... я засыпаю сладко, сладко, какъ можно только спать въ золотые дни младенчества, безъ видѣній и сновъ...

ГЛАВА III.

Бука.—Мое «солнышко».

Я ПРОСЫПАЮСЬ отъ шумнаго говора двухъ сердитыхъ голосовъ.

— Оставить ребенка одного въ рощѣ! Этого еще не доставало! — строго говоритъ тетя Лиза гдѣ-то близко, совсѣмъ близко у моей постели.

— Да нешто можно углядѣть за такой разбойницей!— не менѣе громко отвѣчаетъ моя няня Груша

— Не смѣйте такъ называть Лидюшу! — сердится тетя. — Иначе я пожалуюсь барину и васъ не будутъ держать у насъ...

— И пусть не держатъ! Сама уйду! Не больно то нуждаюсь я вашимъ мѣстомъ!—уже въ голосъ кричитъ нянька, окончательно выйдя изъ себя.

— Вы дерзки! Нѣтъ больше силъ съ вами!—разомъ вдругъ успокоившись, говоритъ тетя. — Соберите ваши вещи и уходите сейчасъ же! Чтобы черезъ часъ я не видѣла васъ больше! Чуть не уморили ребенка!

И съ этими словами тетя выходитъ изъ комнаты, хлопнувъ дверью.

Я открываю глаза.

Въ комнатѣ сгустились лѣтнія сумерки. Уже вечеръ. Должно быть я долго спала съ тѣхъ поръ, какъ меня привезли сюда сонную на ослѣ прекраснаго принца. Няня копошится въ углу у своего сундука.

Я знаю, что она укладывается, чтобы ѣхать. И мнѣ ни чуточки не жаль ея. Нисколько. Услыша, что я пошевелилась, она въ одну минуту подбѣгаетъ ко мнѣ, при чемъ лицо у нея красное, какъ свекла, и она злобно шипитъ, стараясь, однако, говорить тихо, чтобы не быть услышанной тетей:

— Радуйся, сударыня... Дождалась! Гонятъ твою няньку... Не хороша, видишь, нянька! Другую надо. Ну, и пущай другую. Мнѣ плевать! А только и тебѣ, матушка, не поздоровится,—прибавляетъ она съ злымъ торжествомъ.—Вотъ уйду ужо... передъ ночью... Бука то и войдетъ къ тебѣ, какъ разъ и войдетъ, да!

Ея цыганскіе глаза горятъ, какъ два уголька, хищные зубы такъ и выскакиваютъ наружу.

— Не смѣй пугать! Злая нянька! Дурная нянька, не смѣй!—кричу я нарочно громко, чтобы тетя услышала мой голосъ и пришла сюда.—Тебя вонъ выгнали, ты и уходи!

Озлобленная на нее въ конецъ, я страстно ненавижу ее въ эти минуты.

— И уйду, не кричи, уйду, — шипитъ нянька, — вмѣсто меня она придетъ, бука-то! Безпремѣнно. Слышь, ужъ шагаетъ по коридору, а?

И, чтобы еще больше напугать меня, взбалмошная женщина опрометью кидается къ двери и исчезаетъ за нею.

Я остаюсь одна.

Груша—я это замѣчаю—останавливается за дверью и ждетъ, что я ее позову. Но нѣтъ, нѣтъ! Ни за что! Пусть уходитъ! Останусь одна, но ея не позову...

Я не чувствую ни малѣйшаго сожалѣнія къ нянькѣ. Больше того, я рада, что она уйдетъ и я не увижу никогда болѣе ея сердитаго, угрюмаго цыганскаго лица и щучьихъ зубовъ.

Я облегченно вздыхаю въ первую минуту ея ухода и начинаю поджидать тетю Лизу. Вотъ-вотъ она войдетъ сейчасъ, сядетъ на край моей постельки, перекреститъ меня, поцѣлуетъ...

Но тетя не идетъ. По прежнему все тихо въ коридорѣ.

Тогда я приподнимаюсь на локтѣ и кричу негромко:

— Лиза! Лиза! (Я всѣхъ моихъ четырехъ тетей называю просто по имени).

Отвѣта нѣтъ. Вѣроятно тетя прошла въ кухню, гдѣ теперь держитъ совѣтъ по поводу завтрашняго обѣда съ краснощекой кухаркой Машей

— Лиза!—кричу я громче.

Безполезно. Никто не идетъ. Никто не слышитъ.

Мнѣ разомъ дѣлается страшно. «Погоди, ужо придетъ бука!»—звучатъ въ моихъ ушахъ грозныя нянькины слова.

А что, если правда придетъ?

И меня охватываетъ мучительная дрожь страха.

Что такое бука—я хорошенько не знаю, но я чувствую что-то ужасное подъ этимъ словомъ. Мнѣ представляется она чѣмъ-то маленькимъ, безформеннымъ, шарообразнымъ и расплывчатымъ, что вкатится въ комнату, подкатится къ моей постели и, отвратительно гримасничая морщинистымъ лицомъ, полѣзетъ по свѣсившемуся концу моего одѣяла ко мнѣ прямо на кровать.

Живо представивъ себѣ эту картину, я дико вскрикиваю и быстро юркаю подъ одѣяло. Тамъ я вмигъ собираюсь вся въ комочекъ, поджавъ подъ себя ноги, похолодѣвшія отъ ужаса, и лежу такъ, боясь пошевелиться, вся потная отъ духоты и дрожащая отъ страха, съ пересохшимъ ртомъ и дико-расширенными глазами. Какой-то звонъ наполняетъ мои уши, и сквозь звонъ этотъ я, къ ужасу моему, различаю шаги въ коридорѣ. Кто-то почти неслышно, почти безшумно крадется въ дѣтскую. Шаги приближаются... все ближе... ближе... Меня начинаетъ трясти настоящая лихорадка... Зубъ на зубъ не попадаетъ, отбивая частую дробь. Во рту такъ пересохло, что невозможно дышать. Языкъ сталъ тяжелый, тяжелый—такой тяжелый, что я не могу даже повернуть его, чтобы крикнуть...

И вдругъ шаги останавливаются у самой моей постели... Вся обмирая отъ ужаса, я вспоминаю внезапно, что букѣ будетъ легко вскарабкаться ко мнѣ на постель, потому что конецъ одѣяла свѣсился съ кровати

на полъ. Теперь я уже ясно, ясно чувствую, что кто-то осторожно, но настойчиво стягиваетъ съ моей головы одѣяло.

— Ай! — кричу я не своимъ голосомъ и разомъ вскакиваю съ постели...

Но передо мною не бука. Мое «солнышко» передо мною.

Онъ стоитъ предо мною — молодой, статный, красивый, съ черными, какъ смоль, бакенбардами по обѣ стороны красиваго загорѣлаго лица, безъ единой капли румянца, съ волнистыми изсиня-черными-же волосами надъ высокимъ лбомъ, на которомъ точно вырисованъ бѣлый квадратикъ отъ козырька фуражки, въ то время, какъ все лицо коричнево отъ загара. Но что лучше всего въ лицѣ моего «солнышка»—такъ это глаза. Они изсѣра-синіе, подъ длинными, длинными рѣсницами. Эти рѣсницы придаютъ какой-то трогательно простодушный видъ всему лицу «солнышка». Бѣлые, какъ миндалины, зубы составляютъ также не малую красоту его лица.

Вы чувствуете радость, когда вдругъ, послѣ ненастнаго и дождливаго дня, увидите солнце?

Я чувствую такую-же радость, острую и жгучую, когда вижу моего папу. Онъ прекрасенъ, какъ солнце, и свѣтелъ и радостенъ, какъ оно!

Не даромъ я называю его «моимъ солнышкомъ». Блаженство мое! Радость моя! Папочка мой единственный, любимый! Солнышко мое!

Я горжусь моимъ красивымъ отцомъ. Мнѣ кажется, что нѣтъ такого другого на свѣтѣ. Мое «солнышко» — все лучшее въ мірѣ и лучше самого міра...

Теперь въ его глазахъ страхъ и тревога.

— Лидюша моя! дѣвочка моя! радость, что съ тобою? — говоритъ онъ, и сильныя руки его подхватываютъ меня на воздухъ и прижимаютъ къ себѣ.

Папа быстрыми шагами ходитъ теперь по дѣтской, сжимая меня въ своихъ объятіяхъ.

О, какъ хорошо мнѣ, какъ сладко у него на рукахъ! Я обвиваю его шею ручонками и разсказываю ему про прекраснаго принца, и про ливень, и про няню Грушу, и про буку, при чемъ воображеніе мое, горячее, какъ пламя, подсказываетъ то, чего не бывало. Изъ моихъ словъ онъ понялъ, что я уже видѣла буку, какъ она вползала ко мнѣ, какъ карабкалась на мою постель.

Папа внимательно вслушивается въ мой лепетъ. Потомъ лицо его искажается страданьемъ.

— Сестра Лиза!—кричитъ онъ свою свояченицу, — сколько разъ я просилъ не оставлять ребенка одного! Она слишкомъ нервна и впечатлительна, Лидюша. Ей вредно одиночество. — И потомъ снова обращается ко мнѣ нѣжнымъ, ласковымъ голосомъ, какимъ онъ одинъ только умѣетъ говорить со мною:

— Успокойся, моя дѣточка! Никакой буки нѣтъ. Буку выдумали глупые, невѣжественные люди. Крошка, успокойся! Ну, что ты хочешь, чтобы я сдѣлалъ для

тебя? Скажи только,—все сдѣлаю, что хочешь, крошка моя!

«Чего я хочу!»—вихремъ проносится въ моихъ мысляхъ, и я мигомъ забываю и про буку, и про «событіе съ няней».

Ахъ, какъ много я хочу! Во-первыхъ, хочу спать сегодня въ комнатѣ у «солнышка»; во-вторыхъ, хочу маленькаго пони и высокій, высокій шарабанъ, такой высокій, чтобы люди поднимали голову, если захотятъ посмотрѣть на меня, когда я ѣду въ немъ, и я-бы казалась имъ царицей на тронѣ... Потомъ хочу тянушекъ отъ Кочкурова, сливочныхъ, моихъ любимыхъ. Многаго хочу!

— Все! все будетъ!—говоритъ нѣжно «солнышко».—Успокойся только, сокровище мое!

Мнѣ самой надоѣло волноваться и плакать. Я уже давно забыла про буку и снова счастлива у родной груди. Я только изрѣдка всхлипываю да прижимаюсь къ «солнышку» все тѣснѣе и тѣснѣе.

Теперь я слышу неясно, какъ въ дремотѣ, что онъ бережно заворачиваетъ меня въ голубое шелковое одѣяльце и несетъ въ свою комнату, помѣщающуюся на самомъ концѣ длиннаго коридора. Тамъ горитъ лампада передъ образомъ Спасителя, и стоитъ широкая мягкая постель. А за окномъ шумятъ деревья парка сурово и печально.

«Солнышко» бережно опускаетъ меня, сонную, какъ

рыба, на свою кровать и больше я ужъ ничего не соображаю, рѣшительно ничего... Я сплю...

ГЛАВА IV.

Подарокъ. — Первое тщеславіе. — Дѣтскій праздникъ. — Снова прекрасный принцъ и Коля Черскій.

ПРОШЕЛЪ мѣсяцъ. Зеленыя ягоды смородины стали красными, какъ кровь, въ нашемъ саду, и тетя Лиза принялась варить изъ нихъ варенье на садовой печуркѣ. Няню Грушу отказали и вмѣсто нея за мною ходила добрая, отзывчивая, молоденькая Дуня, родная сестра краснощекой кухарки Маши.

Стоялъ знойный полдень. Мухи и пчелы съ жужжаньемъ носились надъ тетиной печуркой, и тетя сама, красная-раскрасная, съ потнымъ лоснящимся лицомъ копошилась у огня. Въ ожиданіи обычной порціи пѣнокъ, я присѣла неподалеку съ моей любимой куклой Уляшей и занялась разглядываніемъ Божіей коровки на сосѣднемъ листѣ лопуха.

Вдругъ странный звукъ за заборомъ поразилъ мой слухъ. Чье-то легкое ржаніе послышалось у крыльца.

Это не былъ голосъ Размаха, нашей вороной лошади, ходившей въ упряжи, нѣтъ,—то было тоненькое ржаніе совсѣмъ молоденькаго конька.

Въ умѣ моемъ мелькнула смутная догадка. Въ одну

минуту и смородинныя пѣнки, и Божья коровка — все было забыто. Я несусь, сломя голову, изъ сада на террасу, откуда ведетъ парадная дверь на крыльцо. Въ стеклянныя окна террасы я вижу... Ахъ, что вижу! Боже мой! Все мое дѣтское сердчишко преисполнено трепетомъ. Я задыхаюсь отъ восторга, и лобъ мой дѣлается влажнымъ въ одинъ мигъ.

— Пони! Пони! Какой миленькій! какой хорошенькій!—кричу я не своимъ голосомъ и пулей вылетаю на крыльцо.

Передъ нашимъ подъѣздомъ стоитъ прелестная гнѣдая шведка, запряженная въ высокій шарабанъ. Шерсть у нея отливаетъ червоннымъ золотомъ, а глаза такъ и горятъ и горятъ. Козелъ въ шарабанѣ нѣтъ, а на переднемъ его сидѣньѣ сидитъ мое «солнышко», держа въ одной рукѣ кнутъ, въ другой вожжи и улыбается мнѣ своей милой, чарующей улыбкой. Нѣтъ, положительно нѣтъ другого человѣка, у котораго было-бъ такое лицо, такая улыбка!

— Ну, что, довольна подаркомъ, Лидюша? — слышится мнѣ милый, ласковый голосъ.

— Какъ? Это мнѣ подарокъ? Этотъ чудесный пони мой? И шарабанъ тоже? О!..

Отъ волненія я ничего не могу говорить и только, сжавъ кулачишки, подпрыгиваю разъ десять на одномъ мѣстѣ и тихо визжу.

— Довольна?—спрашиваетъ папа, и глаза его сіяютъ.

Потомъ онъ спускается на землю изъ высокаго шарабана, и я висну у него на шеѣ.

— Папа-Алеша! Добрый! Милый! Я тебя ужасно люблю!

Въ особенно счастливыя минуты я называю отца «папа-Алеша».

— Ну-ну, лисичка-сестричка, — отмахивается онъ отъ меня, — бѣги скорѣе одѣваться къ тетѣ Лизѣ. Я беру тебя сейчасъ въ Павловскъ на танцовальное утро.

Тутъ ужъ я не знаю что дѣлается со мною.

Съ визгомъ несусь я въ домъ, вся красная, радостная, возбужденная.

— Одѣваться! Скорѣе одѣваться! Дуня! Дуня! Дуня!—кричу я.

Тетя Лиза бросила варенье и спѣшитъ изъ сада. Дуня бомбой вылетаетъ изъ кухни. Маша за нею. И все это разомъ сосредоточивается вокругъ меня. Меня причесываютъ, моютъ, одѣваютъ. Потомъ, когда я готова, и изъ простенькой Лидюши, въ ея холстинковомъ затрапезномъ платьицѣ, превращаюсь въ нарядную, пышную, всю въ бѣлыхъ кружевныхъ воланахъ и шелковыхъ бантахъ дѣвочку, она креститъ меня и ведетъ на крыльцо. Тамъ уже ждетъ меня «солнышко». Онъ тоже принарядился. Его военный китель блеститъ серебряными пуговицами и сверкаетъ ослѣпительной бѣлизной. И волосы онъ расчесалъ такъ красиво и пахнетъ отъ него чѣмъ-то острымъ и вкуснымъ въ родѣ сирени.

— Ты прелесть какой красивый сегодня, папа-Алеша!—съ видомъ знатока, окинувъ всю фигуру «солнышка», говорю я.

— Ахъ, ты, стрекоза! — смѣется папа и подсаживаетъ меня въ шарабанъ.

Вокругъ насъ собирается толпа ребятишекъ и, разиня ротъ, смотритъ на меня. Это дѣти казенныхъ служащихъ, которые живутъ въ нашемъ дворѣ. Мнѣ и пріятно видѣть ихъ восторгъ, и отчего-то стыдно. Мнѣ стыдно быть такой великолѣпной, нарядной дѣвочкой и ѣхать на «собственномъ пони», когда у этихъ малышей рваные сапоги на ногахъ и грязныя рубашонки... Но хорошее побужденіе недолго гоститъ въ моей душѣ. Черезъ секунду я уже чувствую себя владѣтельной принцессой, а всю эту рваную дѣтвору моими покорными слугами. Сердце мое преисполнено гордости. Я точно вырастаю въ собственныхъ глазахъ и милостиво киваю головой оборваннымъ ребятишкамъ, хотя никто изъ нихъ и не думаетъ кланяться мнѣ.

Пони трогается, шарабанъ за нимъ, и рваные ребятишки остаются далеко позади...

. . . . . .

— А вотъ и Воронской со своей малюткой! Что за прелестное дитя! — слышится за мною чей-то ласковый голосъ, едва мы появляемся въ залѣ Павловскаго вокзала, уже полной народа—взрослыми и дѣтьми.

— Ничего нѣтъ особеннаго, — отвѣчаетъ другой. —

Разрядили какъ куклу, поневолѣ будетъ мила. Взгляните лучше на Лили. Вотъ это дѣйствительно прелестная дѣвочка! Сейчасъ видно, что она изъ аристократической семьи,—не унимается голосъ.

Я хочу оглянуться и не успѣваю, потому что мы входимъ въ эту минуту съ «солнышкомъ» въ огромный залъ.

Музыка гремитъ на эстрадѣ, гдѣ сидятъ музыканты. Какой-то длинноусый человѣкъ машетъ палочкой вверхъ, внизъ, вправо и влѣво, передъ самыми лицами музыкантовъ. Мнѣ становится страшно за музыкантовъ. Я боюсь, что длинноусый человѣкъ непремѣнно побьетъ ихъ своей палочкой. Я хочу выразить это мое опасеніе отцу, но въ ту же самую минуту къ намъ подбѣгаетъ, подпрыгивая на ходу, стройненькая, огненно-рыжая дѣвочка въ шотландской юбочкѣ, съ голыми икрами (чулки едва-едва доходятъ ей до щиколотки) и вскрикиваетъ радостно, присѣдая передъ моимъ отцомъ:

— Monsieur Воронской! Здравствуйте. Папа прислалъ меня къ вамъ.

— А, Лили! Очень радъ васъ видѣть. А вотъ и моя дочурка. Познакомьтесь съ нею, — ласково отвѣчаетъ ей мое «солнышко».

Рыжая дѣвочка едва удостаиваетъ меня взглядомъ. Ей лѣтъ 7—8 на видъ, но она старается держать себя совсѣмъ какъ взрослая. Это уродливо и смѣшно.

Мнѣ эта рыжая дѣвочка совсѣмъ-совсѣмъ не нра-

вится. У нея такое гордое лицо. И шотландская юбочка, и голыя икры, все, рѣшительно все мнѣ не нравится въ ней. И поэтому меня злитъ, что «солнышко» такъ ласково разговариваетъ съ нею.

— А мы и не поздоровались съ вами какъ слѣдуетъ, Лили,—говоритъ «солнышко», — можно мнѣ поцѣловать васъ?

Что? Или я ослышалась?

«Солнышко» хочетъ поцѣловать чужую дѣвочку? Нѣтъ! Нѣтъ! этого нельзя, нельзя! Или онъ, «солнышко», не знаетъ, что ему можно ласкать одну его Лидюшу?

И прежде чѣмъ онъ успѣлъ приблизиться къ рыжей головкѣ, я бросилась къ нему съ громкимъ крикомъ:

— Не хочу, не надо! Не надо, папочка!

Позади насъ кто-то разсмѣялся.

— Хорошенькое воспитаніе даютъ ей ея тетушки!— слышится поблизости язвительная фраза.

— Сиротка! Что подѣлаешь!.. Безъ матери всегда такъ бываетъ, — говоритъ другой, уже знакомый мнѣ, голосъ.

Живо обернувшись, я вижу сухую старушку съ черепаховымъ лорнетомъ у глазъ.

Прежде чѣмъ «солнышко» успѣваетъ остановить меня, я быстро вырываю мою руку изъ его руки, мелкими шажками подбѣгаю къ старушкѣ съ лорнетомъ и, дерзко закинувъ голову, кричу ей въ лицо:

— Неправда! я не сиротка!.. У меня есть «солнышко», тетя Лиза и тети: Оля, Лина и Уляша. А у васъ ихъ нѣтъ...

И мой голосъ звенитъ слезами.

Папа очень сконфуженъ. Онъ бросается къ старушкѣ съ лорнетомъ и извиняется, расшаркиваясь передъ нею.

— Лидюша, Лидюша,—испуганно шепчетъ онъ,—что съ тобою?

— А потому, что она злючка!—очень громко и отчетливо говорю я такъ, что ехидная старушка съ лорнетомъ, навѣрное, слышитъ мои слова.

Я еще хотѣла добавить что-то, но тутъ предо мною внезапно выросло свѣтлое видѣніе съ бѣлокурыми локонами.

— Прекрасный принцъ! Здѣсь!—широко раскрывая свои и безъ того огромные глаза, удивленно вскрикиваю я.

— Да, прекрасная принцесса!

И Вова Весмандъ, онъ-же и мальчикъ съ осломъ, съ самымъ забавнымъ видомъ расшаркивается предо мною и тутъ же прибавляетъ:

— Хочешь, я буду твоимъ кавалеромъ?

— Вова! Вова!—кричитъ, пробѣгая мимо насъ какъ разъ въ это время, рыженькая Лили, — идемъ танцовать со мною.

Но уже поздно: мы взялись за руки и кружимся по

залѣ,—я съ моимъ прекраснымъ принцемъ. Но—ахъ!—что это былъ за танецъ! Вѣроятно, нѣчто подобное пляшутъ дикіе вокругъ костровъ! Какъ ни болтала я ногами, какъ ни старалась попасть въ тактъ музыкѣ, ничего не выходило. Другія пары кружились, какъ бабочки, кругомъ насъ въ то время, какъ я и мой кавалеръ безсмысленно топтались на одномъ мѣстѣ, поминутно натыкаясь на другія пары. Наконецъ, окончательно потерявъ терпѣніе, Вова разомъ остановился посреди залы, тряхнулъ своими длинными локонами и, топнувъ ногою, вскричалъ:

— Нѣтъ! Съ тобою и шагу сдѣлать нельзя... Лили! Лили!—позвалъ онъ пробѣгавшую мимо дѣвочку,—танцуй, пожалуйста, со мною. Моя дама слишкомъ мала для меня.

Лили звонко разсмѣялась и бросила на меня торжествующій взглядъ.

Я готова была расплакаться отъ обиды и злости. Съ тоскою поводила я глазами вокругъ себя, ища «солнышко». Но «солнышко» занялся разговоромъ съ высокимъ военнымъ и ему было не до меня. А музыка гремѣла, и пары кружились, не давая мнѣ возможности пробраться къ нему. Каждую минуту я рисковала быть опрокинутой на полъ, сбитой съ ногъ, ушибленной, помятой. У меня уже начинала кружиться голова, ноги стали подкашиваться, передъ глазами пошли красные круги, какъ вдругъ я почувствовала чьи-то руки на своихъ плечахъ.

— Дѣвочка, тебѣ дурно?

Передо мною стоитъ блѣдный худенькій мальчикъ, лѣтъ восьми, съ высокимъ лбомъ и рѣдкими какъ пухъ волосами. Умные сѣрые глаза мальчика съ заботливымъ вниманіемъ смотрятъ на меня.

— Я хочу къ моему папѣ!—тяну я капризно, оттопыривая нижнюю губу.

— Я провожу тебя къ нему, — говоритъ мальчикъ.

И, крѣпко схватившись за руки, мы пробираемся къ тому мѣсту, гдѣ папа разговариваетъ съ высокимъ военнымъ.

— Вотъ, Алексѣй Александровичъ, ваша дочка, — говоритъ мой спутникъ, подводя меня къ папѣ

— Спасибо, Коля!—отвѣчаетъ «солнышко» и тотчасъ же снова обращается къ высокому военному, очевидно продолжая начатый разговоръ:

— Да, да, наши солдатики храбры, какъ львы... дерутся на смерть... Мнѣ братъ писалъ, что «тамъ» очень рады перемирію... Вздохнутъ немного...

— А про Скобелева пишетъ? — освѣдомляется военный.

— Какъ-же! Братъ состоитъ въ его отрядѣ...

— А вы не думаете, что и до васъ дойдетъ очередь? — спрашиваетъ высокій военный, обращаясь къ моему папѣ.—Пожалуй, тамъ недостатокъ въ военныхъ инженерахъ, и васъ тоже призовутъ... — говоритъ военный.

Гос. Публичная Библиотека в Ленинграде

Но тутъ папа значительно скашиваетъ глаза на меня.

— Пожалуйста, — тихо шепчетъ онъ, — не говорите этого при ребенкѣ,—она у меня нервная, знаете, такая...

Но я успѣла уже разслышать все и догадалась, что рѣчь идетъ о войнѣ съ турками. У насъ часто говорятъ про эту войну. Мой папа—военный инженеръ и его ужасно интересуетъ все, что происходитъ тамъ, на войнѣ, или, какъ онъ говорилъ, «въ дѣйствующей арміи».

— Ну-ну, Лидочка!—говоритъ высокій военный,—не пугайся! Папу твоего не возьмутъ на войну къ туркамъ.

— Я знаю, что не возьмутъ!—отвѣчаю я храбро.

— Почему?—улыбается военный.

— Да потому, что я не хочу! — бросаю я гордо и задираю кверху голову.

Всѣ смѣются, и папа, и высокій военный, и худенькій мальчикъ, который привелъ меня къ «солнышку».

— А я такъ хочу на войну! — слышится подлѣ насъ веселый голосъ, и я вижу Вову Весманда и рыжую Лили передъ нами.

— Я хочу быть гусаромъ!—добавляетъ онъ весело и вызывающе смотритъ на насъ своими бойкими, живыми глазками.

— Молодецъ!—говоритъ военный.

И потомъ, замѣтивъ худенькаго мальчика съ умными, серьезными глазами, обращается къ нему:

— И ты тоже хочешь идти на войну и быть гусаромъ, не правда-ли?

— Ахъ, нѣтъ,—живо отвѣчаетъ мальчикъ.—Тамъ людей убиваютъ и кровь льется. Зачѣмъ?

— А зачѣмъ турки бѣдныхъ болгаръ обидѣли... у нихъ дѣти!—заносчиво кричитъ Вова и сверкаетъ глазенками.

— И у турокъ дѣти... маленькія,—съ мечтательной грустью говоритъ худенькій мальчикъ. — Нѣтъ, я въ гусары не пойду. Я лучше учителемъ буду, — заключаетъ онъ тихо.

— Учитель! Учитель! — въ одинъ голосъ хохочутъ Лили и Вова,—а самъ навѣрное ничего не знаетъ...

— Нѣтъ, знаю, — вѣско и убѣдительно говоритъ мальчикъ.

— Не спорьте, не спорьте, дѣти,—останавливаетъ мой отецъ расходившуюся компанію.—Ну, намъ пора. Ѣдемъ, Лидюша,—добавляетъ онъ и пожимаетъ руку военнаго.

— До свиданья, дядя Воронской. Приходите же къ намъ! И вотъ съ нею, — тономъ избалованнаго ребенка говоритъ Вова, и небрежнымъ кивкомъ головы указываетъ на меня.

— Au revoir, monsieur!—присѣдаетъ передъ папой рыжая Лили.

— Коля, ты съ нами. Вѣдь мы сосѣди, я тебя подвезу. Хочешь?—предлагаетъ «солнышко» моему новому знакомому—худенькому мальчику.

— Благодарствуйте, — отвѣчаетъ мальчикъ и весь вспыхиваетъ отъ удовольствія.

Еще-бы! Кому не пріятно прокатиться на такомъ пони, да еще въ такомъ шарабанѣ.

— Коля Черскій живетъ со своимъ дядей въ нашемъ дворѣ,—говоритъ мнѣ «солнышко». — Онъ славный мальчикъ. Не то, что разбойникъ Вова и его кузина Лили. Онъ будетъ приходить играть съ тобою. Хочешь?

— Хочу!—говорю я радостно.

До сихъ поръ я никогда не играла съ дѣтьми. Тетя Лиза и «солнышко» тщательно оберегали меня отъ дѣтскаго общества, боясь, чтобы оно не вліяло дурно на мой слабый организмъ. Коля Черскій былъ первый товарищъ, котораго давали мнѣ.

Весело вскочила я въ шарабанъ слѣдомъ за папой. Коля помѣстился противъ насъ на переднемъ сидѣньѣ, поджавъ ноги и сложивъ руки на колѣняхъ, какъ пай-мальчикъ.

Пони тронулся съ мѣста и шарабанъ покатился по тѣнистой аллеѣ Павловскаго парка по направленію къ Царскому Селу.

ГЛАВА V.

Мальчикъ-капризъ.—Сѣрая женщина.—Первое горе.

ДВА коршуна высоко поднялись въ небѣ... Одинъ ударилъ клювомъ другого, и тотъ, котораго ударили, опустился ниже, а побѣдитель, торжествуя, поднялся къ бѣлымъ облакамъ и чуть-ли не къ самому солнцу.

Я внимательно слѣжу за тѣмъ, какъ побѣжденный усиленно кувыркается въ воздухѣ, силясь удержаться на своихъ могучихъ крыльяхъ. Мои дальнозоркіе глаза видятъ отлично обоихъ хищниковъ. Окно въ садъ раскрыто. Въ него врывается запахъ цвѣтущаго шиповника, который растетъ вдоль стѣны дома. Бѣлыя облачка плывутъ по небу быстро, быстро... Мнѣ досадно, что они плывутъ такъ быстро... И на коршуновъ досадно, что они дерутся, когда отлично можно жить въ мирѣ... И на шиповникъ досадно, что онъ такъ сильно пахнетъ, когда есть другіе цвѣты безъ запаха! А больше всего досадно на то, что надо молиться... Я стою передъ однимъ изъ угловъ нашей столовой, въ которомъ виситъ маленькій образокъ съ изображеніемъ Спасителя. Тетя Лиза стоитъ рядомъ со мною въ своемъ широкомъ ситцевомъ капотѣ, кое-какъ причесанная по-утреннему и, протирая очки, говоритъ:

— Молись, Лидюша: «Помилуй, Господи, папу...»

Я мелькомъ вскидываю на нее недовольными глазами. Лицо у тети, всегда доброе, безъ очковъ кажется еще добрѣе. Голубые ясные глаза смотрятъ на меня съ ласковымъ одобреніемъ. Добрая тетя думаетъ, что я забыла слова молитвы и подсказываетъ ихъ мнѣ снова:

— «Господи! Спаси и помилуй папу...» Говори-же, Лидюша, что-жъ ты!

Я молчу. Смутное недовольство, безпричинно охватившее меня, когда я поднималась съ постели, теперь

съ новою силою овладѣваетъ мною. Знакомый мнѣ уже голосъ проказника-каприза точно шепчетъ мнѣ на-ушко: «Не надо молиться. Зачѣмъ? Отъ этого ни добрѣе, ни умнѣе не будешь».

А тетя шепчетъ въ другое ухо:

— Стыдно, Лидюша! Такая большая дѣвочка — и вдругъ молиться не хочетъ!

Но я молчу попрежнему. Точно воды въ ротъ набрала. И смотрю въ окно помутившимися отъ глухого раздраженія глазами. Коршуны давно уже перестали драться. Но облака плывутъ все также скоро. Ужасно скоро. Противныя, хоть подождали-бы немножко! И несносный шиповникъ такъ и лѣзетъ своимъ запахомъ въ окно.

Гадкій шиповникъ!

Тетя говоритъ уже не прежнимъ ласковымъ голосомъ, а строгимъ:

— Лидюша! Да начнешь-ли ты, наконецъ?

Тутъ ужъ меня со всѣхъ сторонъ окружаютъ цѣпкіе клещи невидимаго проказника-каприза. Раздраженіе мое растетъ. Какъ? Со мною, съ божкомъ семьи, съ общимъ кумиромъ, говорятъ такимъ образомъ?

— Не хочу молиться! Не буду молиться! — кричу я неистово и топаю ногами.

— Что ты! Что ты! — повышаетъ голосъ тетя, — какъ ты смѣешь говорить такъ? Сейчасъ же изволь молиться.

— Не хочу! Не хочу! Не хочу! Ты злая, злая, гетя Лиза! — надрываюсь я и дѣлаюсь красная, какъ ракъ.

— За меня не хочешь, такъ за папу! За папу должна молиться.

— Не хочу!—буркаю я и смотрю исподлобья, какое впечатлѣніе произведутъ мои слова на тетю Лизу.

Ея брови сжимаются надъ ясными голубыми глазами, и глаза эти окончательно теряютъ прежнее ласковое выраженіе.

— Изволь сейчасъ же молиться за папу! — строго приказываетъ она.

— Не хочу!

— Значитъ, ты не любишь его!—съ укоромъ восклицаетъ тетя.—Не любишь? Говори!

Вопросъ поставленъ ребромъ. Увильнуть нельзя. На минуту въ моемъ воображеніи вырастаетъ высокая стройная фигура «солнышка» и его чудесное лицо. И сердце мое вмигъ наполняется жгучимъ, острымъ чувствомъ безконечной любви. Мнѣ кажется, что я задохнусь сейчасъ отъ прилива чувства къ нему, къ моему дорогому папѣ-Алешѣ, къ моему «солнышку».

Но взглядъ мой падаетъ нечаянно на хмурое лицо тети Лизы, и снова невидимые молоточки проказника-каприза выстукиваютъ внутри меня свою неугомонную дробь: «Зачѣмъ молиться? Не надо молиться!»

— Не любишь папу? — подходитъ ко мнѣ почти

вплотную тетя и смотритъ на меня испытующимъ взглядомъ,—не любишь? Говори.

Меня мучаетъ ея взглядъ, проникающій въ самую мою душу. Точно острыя иглы идутъ отъ этихъ ясныхъ голубыхъ глазъ и колютъ меня. Нехорошо становится на душѣ. Хочется заплакать, прижаться къ ея груди и крикнуть сквозь рыданье: «Люблю! Люблю! И тебя и его! Люблю! Дорогая! Милая!»

Тутъ снова подскакиваетъ ко мнѣ мальчикъ-капризъ и шепчетъ:

— «Не поддавайся! Вотъ еще, что вздумали: молиться заставляютъ, какъ-же!»

И я, дерзко закинувъ голову назадъ и смотря въ самые глаза тети вызывающимъ взглядомъ, кричу такъ громко, точно она глухая:

— Не люблю! Отстань! Никого не люблю! И папу не люблю, да, да, не люблю! Не люблю! Злые вы, злые всѣ, злые!

— Ахъ!—роняютъ только губы тети, и она закрываетъ руками лицо.

Потомъ быстро схватываетъ меня за плечо и говоритъ голосомъ, въ которомъ слышатся слезы:

— Ахъ, ты, гадкая, гадкая дѣвочка!.. Что ты сказала! Смотри, какъ-бы Боженька не разгнѣвался на тебя и не отнялъ папу! — И, отвернувшись отъ меня, она быстро выбѣгаетъ изъ столовой.

Я остаюсь одна.

Въ первую минуту я совершенно не чувствую ни раскаянія, ни стыда.

Но мало-по-малу что-то тяжелое, какъ свинецъ, вливается мнѣ въ грудь. Точно огромный камень положили на меня и онъ давитъ меня, давитъ...

Что я сдѣлала! Я обидѣла мое «солнышко»! Вотъ что сдѣлала я! О, злое, злое дитя! Злая, злая Лидюша!

Я бросаюсь къ окну, кладу голову на подоконникъ и громко, судорожно всхлипываю нѣсколько разъ. Но плакать я не могу. Глыба, надавившая мнѣ грудь, мѣшаетъ.

И вдругъ, легкое, какъ сонъ, прикосновеніе къ моей головѣ заставляетъ меня разомъ поднять лицо. Передо мною чужая, незнакомая женщина въ сѣромъ платьѣ, въ родѣ капота, и съ капюшономъ на головѣ. Большіе, пронзительные, черные глаза смотрятъ на меня съ укоромъ и грустью. Сѣрая женщина молчитъ и все смотритъ, смотритъ на меня. И глыба, надавившая мнѣ грудь, точно растопляется подъ ея острымъ, огненнымъ взглядомъ. Слезы текутъ у меня изъ глазъ. Мнѣ вдругъ разомъ захотѣлось молиться... и любить горячо, не только мое «солнышко», которою я безконечно люблю, несмотря на мальчика-каприза, но и весь міръ, весь большой міръ...

Сѣрая женщина улыбается мнѣ ласково и кротко. Я не знаю почему, но я люблю ее, хотя вижу въ первый разъ. Какая-то волна льется мнѣ въ душу, теплая, горячая и пріятная, пріятная безъ конца.

— Тетя Лиза! Тетя Лиза!—кричу я обновленнымъ, просвѣтлѣвшимъ голосомъ,—иди скорѣе. Я буду паинькой и буду молить...

Я не доканчиваю моей фразы, потому что сѣрая женщина разомъ исчезаетъ, какъ сонъ. Я лежу головой на подоконникѣ, и глаза мои пристально устремлены въ садъ.

По садовой аллеѣ идутъ двое военныхъ. Одного, высокаго, стройнаго, темноволосаго, я узнаю изъ тысячи. Это — мое «солнышко». Другой — незнакомый, черный отъ загара, кажется карликомъ по росту въ сравненіи съ моимъ папой.

У папы какая-то бумага въ рукахъ. И лицо его бѣло, какъ эта бумага.

Что-то екаетъ въ моемъ дѣтскомъ сердчишкѣ. Тяжелая глыба, снятая было съ меня сѣрой женщиной, снова съ удвоенной силой наваливается на меня.

— «Солнышко»!—кричу я нарочно громче обыкновеннаго и стремглавъ бѣгу на крыльцо.

Мы встрѣчаемся въ дверяхъ прихожей—и съ «солнышкомъ», и съ карликомъ-военнымъ. Странно: въ первый разъ въ жизни папа не подхватываетъ меня на воздухъ, какъ это бываетъ всегда при встрѣчахъ съ нимъ. Онъ быстро наклоняется и порывисто прижимаетъ меня къ себѣ.

Опять сердчишко мое бьетъ тревогу... Глыба давитъ тяжелѣе на грудь.

— Папа-Алеша! Мы поѣдемъ кататься! — цѣпляясь за послѣднюю надежду, что все будетъ по-старому, какъ было прежде, говорю я.

Папа молчитъ и только прижимаетъ меня къ своей груди все тѣснѣе и тѣснѣе. Мнѣ даже душно становится въ этихъ тѣсныхъ объятіяхъ, душно и чуточку больно.

И вдругъ надъ головой моей ясно слышится голосъ «солнышка», но какой странный, какой дрожащій:

— Если меня не станетъ, то кляните, капитанъ, какъ другъ и сослуживецъ, позаботиться о дѣвочкѣ. Это моя единственная привязанность и радость!

— Конечно! Конечно!.. все сдѣлаю, что хотите, — говоритъ черный карликъ, и голосъ у него тоже дрожитъ не меньше, чѣмъ у папочки.—Но я увѣренъ, что вы вернетесь здравымъ и невредимымъ...

— Какъ вернетесь? Развѣ ты уѣзжаешь, «солнышко»?

Лицо у «солнышка» теперь бѣлое, бѣлое, какъ мѣлъ. А глаза покраснѣли и въ нихъ переливается влага... Я разомъ угадала, что это за влага въ глазахъ «солнышка».

— Слезки! Слезки!—кричу я, обезумѣвъ отъ ужаса, въ первый разъ увидя слезы на глазахъ отца.—Ты плачешь, «солнышко»? О чемъ, о чемъ?

И я прильнула къ его лицу, гладя ручонками его загорѣлыя щеки и сама готовая разрыдаться.

Но отецъ не плакалъ. Я никогда, ни раньше, ни потомъ, не видѣла его плачущимъ, моего дорогого папу. Но то, что я увидала, было страшнѣе слезъ. По лицу его пробѣжала судорога и глаза покраснѣли еще больше, когда онъ сказалъ:

— Видишь-ли, Лидюша, моя дѣточка ненаглядная, папѣ твоему ѣхать надо... Сейчасъ ѣхать... Папу на войну берутъ... въ Турцію... Мосты наводить, укрѣпленія строить. Понимаешь? Чтобы солдатикамъ легче было къ туркамъ пробраться... Вотъ папа и ѣдетъ твой... А ты умницей будь. Тетю не огорчай, слышишь?.. Мнѣ скоро ѣхать надо... За мной, видишь, дядю чужого прислали... сегодня надо ѣхать... сейчасъ...

Едва только папа успѣлъ произнести послѣднее слово, какъ я, слушавшая все точно въ какомъ-то туманѣ, дико и пронзительно закричала:

— А-а-а! Не пущу! А-а-а! Не смѣй уѣзжать! Не хочу! Не хочу! Не хочу! Папа! Папочка мой! Солнышко мое!

И я зарыдала.

Не помню, что было потомъ. Мнѣ показалось только, что кругомъ меня вода, много, много воды, и мы тонемъ съ папой-Алешей...

Когда я очнулась, то лежала на диванѣ въ папиномъ кабинетѣ, большой свѣтлой комнатѣ, рядомъ съ спальней и выходящей окнами въ садъ. Тетя Лиза стояла на колѣняхъ подлѣ и смачивала мнѣ виски арома-

тичнымъ уксусомъ. Военнаго гостя не было въ комнатѣ. И папы тоже.

— Гдѣ папа? гдѣ «солнышко»?—вскричала я снова дикимъ голосомъ и рванулась впередъ.

Страшной тоской сжалось сердце бѣдной маленькой четырехлѣтней дѣвочки: ей казалось, что она не увидитъ больше своего отца. Но это было обманчивое предчувствіе. Онъ вошелъ въ ту же минуту въ кабинетъ въ дорожномъ пальто, съ шашкой черезъ плечо и тихо сказалъ, обращаясь къ тетѣ:

— Вещи пошли прямо въ штабъ, сестра. Тамъ уже перешлютъ въ дѣйствующую армію...

И потомъ, наклонясь ко мнѣ, тихо, безмолвно обнялъ меня.

Мы оба замерли въ этомъ объятіи. Мнѣ казалось, что вотъ-вотъ соберутся тучи надъ нашей головою, блеснетъ молнія, грянетъ громъ... и громъ убьетъ насъ однимъ ударомъ, меня и папу. Но ничего не случилось такого...

Папа съ трудомъ оторвался отъ меня и сталъ осыпать все мое лицо частыми, страстными поцѣлуями.

— Глазки мои! Губки мои!.. Рѣснички мои длинныя! Лобикъ мой! Помните меня! Хорошенько своего папку помните!—шепталъ онъ между градомъ поцѣлуевъ прерывающимся отъ волненія голосомъ.

Потомъ быстро поднялъ меня съ дивана, прижалъ къ себѣ и произнесъ чуть слышно, обращаясь къ тетѣ:

— Ты должна мнѣ сохранить ее, Лиза!

— Будь покоенъ, Алеша, сохраню! — начала тетя нетвердымъ голосомъ.

Потомъ папа еще разъ обнялъ меня, перекрестилъ и опять обнялъ, и еще, и еще. Ему, казалось, было жутко оторваться отъ худенькаго тѣльца его дѣвочки.

— Ну, храни тебя Богъ, крошка моя!—произнесъ онъ твердо, поборовъ себя, осторожно опустилъ меня на диванъ и бросился изъ комнаты.

Я услышала, какъ онъ застоналъ по дорогѣ.

— Папа! Папа! Папочка! Солнышко мое! Вернись!— зарыдала я, протягивая вслѣдъ за нимъ ручонки.

Онъ быстро на меня оглянулся и потомъ съ живостью мальчика бросился снова къ дивану, упалъ передъ нимъ на колѣни, охватилъ мою голову дрожащими руками и впился въ мои губы долгимъ, долгимъ поцѣлуемъ.

Потомъ снова закачался высокій бѣлый султанъ на его каскѣ и... сердце мое наполнила пустота... Ужасная пустота...

Тетя Лиза подхватила меня на руки и подбѣжала къ окошку... Коляска отъѣзжала въ эту минуту отъ крыльца. «Солнышко» сидѣлъ подлѣ другого военнаго и смотрѣлъ въ окно, на насъ. У него было грустное, грустное лицо. Онъ долго крестилъ воздухъ въ мою сторону. И когда коляска тронулась, все крестилъ и кивалъ мнѣ головою... Еще минута... другая и «сол-

нышко» скрылось изъ моихъ глазъ. Наступила темнота, такая темнота разомъ, точно ночью.

Чей-то голосъ зашепталъ близко, близко у моего уха:

— Если-бъ ты захотѣла молиться, дѣвочка, кто знаетъ?—можетъ быть, папа остался-бы съ тобой.

— Тетя Лиза!—кричала я отчаянно,—неси меня въ столовую сейчасъ, скорѣе: я хочу молиться за него, за папу!

Черезъ минуту мы уже тамъ. Въ открытое окно запахъ шиповника льется прежней ароматичной волною. Худенькая, нервная дѣвочка стоитъ подлѣ голубоглазой женщины передъ образомъ на колѣняхъ и шепчетъ тихо, чуть слышно:

— Боженька! Добрый Боженька, прости меня и сохрани мнѣ мое «солнышко», добрый, ласковый Боженька!..

И тихо, тихо плачетъ...

* * *

Дѣтская молитва услышана.

Когда онъ вернулся черезъ годъ, черный отъ загара, осунувшійся, похудѣвшій, но все же красивый, я не узнала его.

Я помню этотъ день отлично. Тетя была въ саду. Дверь съ террасы на подъѣздъ широко раскрыта. Я сижу на террасѣ, а Дуня рѣжетъ мнѣ баранью котлетку, поданную на завтракъ. Въ дверь террасы видны зеленыя акаціи и дубовая аллея парка. И вдругъ, неожиданно, какъ въ сказкѣ, вырастаетъ высокая фигура

въ пролетѣ дверей. Высокій, загорѣлый, въ старой запыленной шинели стоитъ онъ въ дверяхъ, заслоняя своей фигурой и синій клочекъ неба, сіяющій мнѣ сапфиромъ черезъ дверь, и зелень акаціи, и крыльцо. Онъ смотритъ на меня съ минуту... и странная знакомая улыбка играетъ на его лицѣ, сплошь обросшемъ бородою.

— Лидюша! — зоветъ меня тихонько знакомый голосъ.

Я узнаю голосъ, но не узнаю чернаго бородатаго лица.

— Батюшки мои! Да это баринъ! — вскрикиваетъ Дуня и роняетъ тарелку.—Лидюша! Лидюша! папочка вѣдь это!—шумливо суетится она.

Тутъ только я понимаю въ чемъ дѣло.

— Папа... папа-Алеша! Солнышко!

Вмигъ я уже въ его объятіяхъ.

— Сокровище мое! Крошка моя! Радость Лидюша!— слышу я нѣжный голосъ надъ моимъ ухомъ.

И градъ поцѣлуевъ сыплется на меня.

Боже мой, если когда-либо я была безумно счастлива въ моемъ дѣтствѣ, такъ это было въ тотъ день, въ тѣ минуты.

Блаженныя минуты свиданія съ милымъ, дорогимъ отцомъ, я не забуду васъ!

ГЛАВА I.

Моя пытка.—Тетя Оля.—Новость далеко не пріятнаго свойства.

МАЙ стоитъ въ самомъ разгарѣ. Солнце жаритъ во-всю. Небо такое же голубое, какъ голубой кушакъ на моемъ новомъ платьѣ. Ахъ, какое красивое небо! Вѣкъ-бы смотрѣла на него!

Мой столъ стоитъ у самаго окошка, у того самаго окошка, черезъ которое четыре года тому назадъ я смотрѣла на драку коршуновъ въ воздушномъ пространствѣ и не хотѣла молиться. Но теперь я молюсь. Хорошій урокъ дала мнѣ судьба на всю жизнь и я часто думаю, что захоти я тогда молиться—Богъ не разгнѣвался-бы на меня и папу-Алешу не взяли-бы на войну. Правда, «солнышко» вернулся здоровымъ—не то, что папа Лели Скоробогачъ, моей ближайшей подруги, которому контузили ногу и онъ ходитъ теперь, опираясь на палку. И все-таки лучше, если бы не было войны и папа-Алеша оставался бы дома.

Да, молиться я теперь умѣю. Но зато какая пытка это ученье! И къ чему мнѣ, восьмилѣтней дѣвочкѣ, знать, сколько было колѣнъ царства Израильскаго и что такое причастіе и дѣепричастіе на русскомъ языкѣ?

Тетя Лиза ушла, выбившись со мною изъ силъ, а я сижу надъ раскрытой книжкой и мечтаю. Сегодня пріѣдетъ тетя Оля изъ города и привезетъ мнѣ новое платье. Она всегда сама обшиваетъ меня, тетя Оля. Никогда не позволяетъ отдавать мои костюмы портнихамъ. И новое платье она сшила сама. Только кушакъ купила мнѣ тетя Лиза, голубой, какъ небо. Очень красивый кушакъ! Одѣну этотъ кушакъ, это платье, и меня повезутъ къ Весмандамъ на рожденіе. Тамъ гоститъ рыжая Лили и Вова пріѣхалъ изъ Петербурга, изъ пажескаго корпуса. Я его мелькомъ видѣла вчера. Такой потѣшный въ мундирчикѣ. Ахъ, скорѣе-бы тетя Оля пріѣзжала!.. Тогда Лиза навѣрное позволитъ бросить уроки. Побѣгу тогда на гиганки. Пріѣдутъ Леля, Гриша, Коля, а можетъ быть и Анюта? Ахъ, только бы не она!.. Придется домой идти. Тетя Лиза не позволяетъ играть съ Анютой. Она отчаянная. И Коля Черскій будетъ. Я его очень люблю. Онъ никогда не ссорится со мною и умѣетъ все объяснить—и какая травка, и какія букашки, и какъ паукъ называется. Онъ умный. Первымъ ученикомъ идетъ въ гимназіи. А ему вѣдь только четырнадцать лѣтъ. Ахъ, скорѣе-бы тетя пріѣзжала! Вонъ Петръ (это нашъ денщикъ) побѣжалъ дверь открывать.

— Что, Петръ, тетя Оля пріѣхала?

— Нѣтъ, барышня, мужикъ принесъ свѣжіе орѣхи продавать.

Орѣхи? не дурно! Совсѣмъ даже не дурно.

Ахъ, скорѣе-бы выучить. И что это за неблагодарные евреи были. Сколько имъ Моисей надѣлалъ, ничего знать не хотятъ, ропщутъ и только. И зачѣмъ только учить про такихъ дурныхъ надо? То ли дѣло исторія Исаака. Я даже заплакала на томъ мѣстѣ, гдѣ его Авраамъ въ жертву принести хотѣлъ. Потомъ успокоилась, узнавъ, что все кончилось благополучно.

— Ты выучила урокъ, Лидюша?—внезапно появляясь на порогѣ, спрашиваетъ тетя Лиза.

— Ты что это ѣшь, тетя Лиза? — заинтересовываюсь я, видя, что ротъ тети движется, пережевывая что-то.

— Отвѣчай урокъ. Нечего болтать попусту,—желая казаться строгой, говоритъ тетя.

Я надуваю губы и молчу.

— Законъ Божій выучила?

Молчу.

— А русскій?

Молчу снова.

— Ну, мы это вечеромъ пройдемъ, а теперь пиши диктовку.

— Въ такую жару? Диктовку? Те-тя Ли-за-а!—тяну я жалобно.

Но тетя неумолима.

Я беру перо, которое становится разомъ мокрымъ въ моихъ потныхъ рукахъ, и вывожу какія-то каракульки.

— Что ты написала!—выходитъ изъ себя тетя,—надо *труба*, а ты пишешь *шуба*...

— Все равно—труба или шуба!—хладнокровно замѣчаю я.

— А такую длинную палку у «*р*» зачѣмъ ты сдѣлала, а?

— Съ размаху!—отвѣчаю я равнодушно.

— Нѣтъ, ты будешь цѣлую страницу лишнюю писать!—возмущается тетя.—Пиши!

Но я бросаю перо и начинаю хныкать. Въ одну минуту лицо тети Лизы проясняется. Суровое выраженіе исчезаетъ съ него.

— Дѣвочка моя, о чемъ?—наклоняется она ко мнѣ съ тревогой.

Но я уже не хнычу, а реву во-всю.

Какая я несчастная! Какая несчастная, право! И никто не хочетъ понять, до чего я несчастная! Въ жару, въ духоту—и вдругъ изволь учить про какихъ-то неблагодарныхъ евреевъ, которые мучили бѣдненькаго Моисея! Нѣтъ, буду плакать! Нарочно буду! Чтобы голова разболѣлась, чтобы вся расхворалась! А потомъ умру. Да, умру, вотъ на-зло вамъ всѣмъ умру, въ отместку. Придетъ священникъ, будетъ панихиду слу-

жить. Выроютъ ямку у церкви и положатъ туда Лидюшу. Закопаютъ... Гдѣ Лидюша? Нѣтъ Лидюши!.. И всѣмъ будетъ жаль меня, жаль...

И я уже рыдаю, отлично зная, что «солнышко» на работахъ (мой отецъ управляетъ ходомъ казенныхъ построекъ), а тети мнѣ нечего́ стѣсняться. Я ложусь головой на классный столикъ и повторяю только одно слово: «умру, умру, умру!»

Теперь я уже не надъ тѣмъ плачу, что надо заниматься, а мнѣ просто жаль себя.

Умереть въ такой ранней юности! Вѣдь и девяти лѣтъ нѣтъ еще! О ужасъ, ужасъ!..

Тетя мечется вокругъ меня со стаканомъ воды, съ валеріановыми каплями, одеколономъ. Но я нимало не обращаю вниманія на нее, а реву, реву, реву...

Подъ собственные стоны и всхлипыванія мнѣ не слышно, какъ подкатываетъ къ крыльцу пролетка, какъ звонокъ продолжительно дребезжитъ въ прихожей, и я прихожу въ себя только въ ту минуту, когда вижу на порогѣ высокую, статную фигуру тети Оли, съ руками, наполненными узелками, пакетиками и картонками безъ числа. Тетя Лиза, младшая изъ сестеръ-тетей, говоритъ постоянно: «Когда Оля умретъ, за ея гробомъ пойдутъ всѣ провожающіе съ узелками въ рукахъ». — И всѣ смѣются, слыша это, а сама тетя Оля громче и добродушнѣе всѣхъ.

Не могу себѣ представить болѣе добраго человѣка

въ мірѣ. Она вся соткана изъ доброты, эта моя вторая воспитательница и крестная мать. Ни на кого не разсердится, голоса не повыситъ и постоянно хлопочетъ и работаетъ на другихъ. Исполнить-ли какое-нибудь трудное порученіе, сшить-ли къ спѣху кому-либо изъ сестеръ бѣлье, одѣть моихъ куколъ, ухаживать дни и ночи за часто болѣвшею старшею сестрою Юліей,—она тутъ какъ тутъ, милая, добрая, самоотверженная тетя Оля! Я ее не помню за то иною, какъ спѣшащей съ узелкомъ куда-то, непремѣнно съ узелкомъ, сосредоточенную, запыхавшуюся и милую, милую безъ конца, или пріютившуюся съ иголкой въ рукѣ въ нашей столовой надъ длинной и скучной работой, такъ какъ она обшивала всегда не только меня, но и тетю Лизу и другихъ сестеръ.

Кромѣ слабости дѣлать добро близкимъ и чужимъ, у тети Оли есть еще большая слабость: крестница Лидюша. И сейчасъ, войдя къ намъ, она сразу какъ-то потемнѣла при видѣ слезъ на лицѣ своей любимицы.

— Вотъ неугодно-ли, полюбуйся, Оля,—раздражительно говоритъ тетя Лиза, которая, видя, что ничто не можетъ унять мои слезы, сердится снова,—полюбуйся, какъ отличается твоя любимица! Ни Закона не выучила, ни басни, ничего! А теперь плачетъ—унять не могу.

— Ай-ай-ай! Нехорошо, дѣвочка!—говоритъ тетя Оля,—вѣдь если такъ продолжаться будетъ, то папа и правъ, пожалуй, что мы тебя воспитывать не умѣемъ...

— Кто справится съ такою капризницею!—сердитымъ голосомъ говоритъ тетя Лиза.

— Ну, дастъ Богъ, исправится наша Лидюша,— примиряющимъ тономъ отвѣчаетъ снова моя крестная и ласково приглаживаетъ мои кудрявящіеся волосы рукою.—Вотъ пріѣдетъ гувернантка и...

— Гувернантка, а? Какая гувернантка?—испуганными звуками вырывается изъ моей груди.—Что ты сказала, тетя? Повтори, что ты сказала, про какую гувернантку ты сказала!—задыхаясь отъ волненія, тормошу я тетю.

— Ну, чего ты волнуешься? Успокойся, пожалуйста,—говоритъ тетя Лиза.—Я давно хотѣла сказать тебѣ... что... что папа пригласилъ тебѣ гувернантку... Онъ находитъ, что наши занятія идутъ не такъ правильно, какъ-бы онъ хотѣлъ.

И горькая улыбка кривитъ губы моей второй матери. Я понимаю, что значитъ эта улыбка. Давно уже замѣчаю я, что что-то неладное творится у насъ въ домѣ. Папа какъ-то разомъ измѣнился къ тетѣ. Часто онъ говоритъ ей колкости и она отвѣчаетъ ему тѣмъ-же. А иногда, я слышу, они ссорятся даже, и тогда голоса ихъ звучатъ раздраженно и громко по всему дому. Я не помню, какъ это началось и когда. Но теперь рѣшительно не проходитъ ни одного дня, чтобы они не поговорили крупно.

И, Господи, до чего я страдаю въ такія минуты!

Я люблю ихъ обоихъ, ужасно люблю. «Солнышко» значительно больше, конечно, но и тетю Лизу люблю, какъ врядъ ли можно любить родную мать. И поэтому, когда я слышу, что двое любимыхъ мною людей ссорятся изъ за чего-то, я невыносимо страдаю. Теперь уже они не называютъ другъ друга «Алешей» и «Лизой», нѣтъ: «Алексѣй Александровичъ» и «Елизавета Дмитріевна»... Ахъ, какъ все это звучитъ печально и уныло!

Однажды я подкралась къ дверямъ террасы и услышала фразу, сказанную папой:

— «Нѣтъ, положительно вы не умѣете воспитывать Лидюшу! Никакихъ педагогическихъ способностей, рѣшительно никакихъ!»

И дрожащій голосъ тети Лизы отвѣтилъ:

— «Но вѣдь все это скоро кончится, вѣдь вы, Алексѣй Александровичъ, нашли ей подходящую воспитательницу. Остается уже недолго потерпѣть»...

И голосъ тети Лизы задрожалъ слезами.

Тогда я не поняла о какой воспитательницѣ они говорили, но теперь... теперь... Я понимаю ясно, что значитъ «новая воспитательница».

«Они хотятъ мнѣ дать гувернантку! Ага! Отлично!— вихремъ несется въ моихъ мысляхъ. — Гувернантка! Великолѣпно! Чудо какъ хорошо! Задамъ же я ей перцу, этой гувернанткѣ! Пусть только появится она къ намъ въ домъ!»

И злая, трепещущая, взволнованная, какъ никогда,

я вскакиваю со своего мѣста и стрѣлою несусь прямо въ садъ, оттуда вдоль пруда, прямо въ рощу—въ ту самую рощу, гдѣ впервые когда-то прекрасный принцъ увидѣлъ маленькую принцессу...

ГЛАВА II.

Мои „рыцари“.—Маленькая вѣдьма.—Въ гостяхъ у лягушекъ.

—НѢТЪ, слышали вы эту прелесть? У меня будетъ гувернантка!

И злая, красная отъ волненія и бѣга, растрепанная дѣвочка обводитъ разгорѣвшимися глазами кругъ своихъ друзей.

Ихъ пятеро подъ широкой, развѣсистой елью на опушкѣ рощи: Леля Скоробогачъ—смугленькая, толстенькая брюнетка съ изсиня-черными косичками и щелочками-глазами; ея братъ Гриша, краснощекій, курносый мальчикъ съ яснымъ, смѣющимся, милымъ взглядомъ, лѣтъ девяти, и семилѣтній Копа—темноглазый мальчикъ съ пуговицеобразнымъ носикомъ и бритой головенкой, круглой какъ шаръ. Тутъ-же и Коля Черскій, рослый, тоненькій гимназистикъ лѣтъ 11, мало измѣнившійся съ тѣхъ поръ, какъ онъ спасъ меня отъ танцующихъ паръ въ залѣ Павловскаго вокзала, только лицо его стало еще серьезнѣе, а глаза темнѣе и глубже. Наконецъ, тутъ и Вова. За эти четыре года онъ порядочно

измѣнился: плотный, широкоплечій, съ тѣмъ же веселымъ, насмѣшливымъ и жизнерадостнымъ взглядомъ, съ тѣми же румяными, дерзко усмѣхающимися губками, онъ чудо какъ хорошъ собой. На немъ коломянковая рубашка съ погонами, на которыхъ стоятъ первоначальныя буквы пажескаго корпуса, и высокіе, совсѣмъ мужскіе сапоги. Вова замѣтно важничаетъ и своими высокими сапогами, и тѣмъ, что этою весною его приняли въ пажи.

Коля въ своей скромной гимназической блузкѣ совсѣмъ теряется подлѣ великолѣпнаго пажика.

Это мои «рыцари», особенно Коля. Съ того памятнаго утра, когда «солнышко» на дѣтскомъ праздникѣ пригласилъ его къ намъ, онъ поступилъ въ мои «рыцари», какъ пресерьезно увѣряетъ Вова. Все свое свободное отъ занятій время Коля проводилъ у насъ. Тетя была очень рада этому. У Коли былъ дядя—бѣдный чиновникъ, который пилъ и буянилъ. По крайней мѣрѣ, мы часто слышали его грозные крики, несущіеся изъ флигелька, гдѣ они жили въ комнатѣ у музыканта-стрѣлка. Колю всѣ любили: онъ былъ всегда скроменъ, тихъ и серьезенъ. И потомъ онъ такъ умѣлъ хорошо разсказывать, что его заслушаться можно было. Второй мой «рыцарь»—это Гриша. Веселый, шаловливый мальчуганъ былъ преданъ мнѣ какъ собачка. Онъ такъ и смотрѣлъ мнѣ въ глаза, предупреждая каждое мое желаніе. Это не то, что Вова. Этотъ рыцаремъ не поже-

— А вотъ какая! Носъ у нея длинный-предлинный, какъ у вѣдьмы...

лалъ быть ни за что. «Вотъ еще! Прислуживаться дѣвчонкѣ»,—повторялъ онъ очень часто, презрительно выпячивая нижнюю губу.

Но когда Леля и я возили куколъ на прогулку (чего я особенно не любила, потому что признавала одну только игру: когда куклы изображали изъ себя разбойниковъ и дрались другъ съ другомъ), то Вова съ особеннымъ удовольствіемъ бралъ на себя роль кучера и о «прислуживаніи дѣвчонкамъ» ничего не упоминалъ...

Гриша и Леля дополняли покорную свиту маленькой принцессы.

Всѣ мои рыцари поджидали меня, когда я, окончивъ урокъ, прибѣгу на поляну.

— Гувернантка? Какая гувернантка?—такъ и встрепенулись они, устремивъ загорѣвшіеся любопытствомъ глаза на мое красное, взволнованное лицо.

— А вотъ какая! Носъ у нея длинный-предлинный, какъ у вѣдьмы. Ротъ такой, что всю нашу дачу проглотить можетъ, зубы изъ него какъ лопаты торчатъ и она щелкаетъ ими, какъ кастаньетами, когда злится, а глаза у нея, какъ у рыжей Лили, когда та злится...

Послѣднее относилось къ Вовѣ. Рыжая Лили была его кузиной, воспитывалась въ институтѣ и теперь пріѣхала на каникулы къ Весмандамъ. Вовѣ она ужасно нравилась, и потому онъ ходилъ за нею по пятамъ, живо перенялъ ея манеру говорить всегда по-французски, умышленно картавя на «*р*» и «*л*», и говорилъ,

что Лили самая хорошенькая дѣвочка въ мірѣ. Этого я уже никакъ перенесть не могла, потому что считала себя неизмѣримо красивѣе Лили, и не забывала при каждомъ удобномъ случаѣ пройтись на ея счетъ въ присутствіи Вовы.

Мою послѣднюю фразу я проговорила съ особеннымъ торжествомъ, Вовѣ на зло

Вова вскипѣлъ.

— Неправда, Лили красивая!—горячо защищалъ онъ кузину,—и глаза у нея синіе, выпуклые, прелесть, а твоихъ и не видно, ушли куда-то... Ищи ихъ какъ въ лѣсу...

— Ну, ужъ, Вовка, это ты врешь! — вскипѣлъ Гриша,—у Лиды глазки чудные и сама она прехорошенькая. Твоя рыжая Лилька ей въ подметки не годится.

— Ты дуракъ и клопъ. Смѣешь еще разговаривать!—взбѣсился Володя,—вотъ постой, я тебя вздую!

Мнѣ ужасно хотѣлось, чтобы они подрались. Вѣдь благородные рыцари всегда дрались на турнирахъ изъ за своихъ принцессъ. Впрочемъ и самая принцесса готова была превратиться въ рыцаря и подраться заодно ужъ съ этимъ негоднымъ Володькой.

— Ахъ, зачѣмъ я не мальчикъ!—самымъ искреннимъ образомъ сожалѣла я въ такія минуты. Но на этотъ разъ ссора улажена. Есть болѣе важный вопросъ, который очень интересуетъ моихъ рыцарей, а именно—моя будущая гувернантка. страшная. сморщенная, какъ смор-

чокъ, гувернантка точь-въ-точь такая, какая была у рыжей Лили, два года тому назадъ!..

— Я ее буду ненавидѣть! — пылко выкрикиваетъ Гриша своимъ звонкимъ голосомъ.

— И я, и я тоже!—вторитъ ему Леля, его сестра.

— А я ее убью!—неожиданно выпаливаетъ Копа.

— Изъ палки убьешь?—хохочетъ Вова и тотчасъ же добавляетъ, лукаво сощуривъ глаза:—а собственно недурная идея пригласить къ Лидѣ гувернантку... Она ее отшлифуетъ.

— Что такое?

Вотъ такъ слово! Мы его слышимъ въ первый разъ. Леля даже ротъ раскрыла отъ удивленія, и сама я преисполнюсь невольнымъ уваженіемъ къ Вовкѣ, знающему такія великолѣпныя, непонятныя слова. Я даже обидѣться не рѣшаюсь, не зная навѣрное, хотѣлъ-ли меня задѣть своимъ словомъ Вова или нѣтъ.

— А по-моему Лидѣ шлифовка не нужна!—звучитъ тихій, глубокій голосъ Коли Черскаго,—она такъ лучше, какъ она есть, такая непосредственная.

Еще новое слово! И такое же непонятное. Нѣтъ, рѣшительно они поумнѣли за лѣто, эти мальчишки! Меня жжетъ самое жгучее любопытство и такъ и подмываетъ спросить, что значатъ эти мудреныя слова «отшлифовать», «шлифовка», «непосредственное»... Но мнѣ, принцессѣ, не слѣдуетъ показаться глупѣе своихъ рыцарей. Нѣтъ, ни за что

Минуту длится молчаніе. Наконецъ, Вова восклицаетъ:

— И чего вы всѣ носы повѣсили?.. Подумаешь, гувернантка, важная какая! Неужели ты, Лида, такъ глупа, что не сумѣешь справиться съ нею? Ты тогда не мальчикъ больше, а нюня, баба, дѣвчонка...

Это уже дерзость и оскорбленіе. Моя всегдашняя мечта—быть мальчишкой съ головы до ногъ и ничѣмъ не отличаться отъ Вовы и Гриши. Я даже чуточку негодую на Колю за его «тихоньство» и вдругъ...

Въ одну минуту я подскакиваю къ Вовѣ. Бацъ! И маленькій пажикъ, не ожидая отъ меня нападенія, въ одну минуту летитъ въ траву, въ то время какъ фуражка падаетъ съ его головы и откатывается далеко, далеко. Вова сконфуженъ и разозленъ.

— Ха, ха, ха, ха! Ловко! Такъ его! Ай да барышня воспитанная! Очень хорошо!—слышится гдѣ-то надъ нами веселый грубоватый голосъ.

Мы съ недоумѣніемъ поднимаемъ головы, задираемъ ихъ кверху, такъ какъ голосъ выходитъ изъ вѣтвей развѣсистой ивы, свѣсившейся надъ самымъ берегомъ пруда.

Но въ зелени вѣтвей никого и ничего не видно.

— Кто?—недоумѣвая и переглядываясь, спрашиваемъ мы другъ друга, пугливо сбившись въ кучу, какъ маленькое стадо испуганныхъ барановъ.

— Это русалка!—прошепталъ въ страхѣ Копа и юркнулъ за спину сестры.

— Русалокъ на свѣтѣ не бываетъ! — проговорилъ Гриша,—какой ты глупый, Копа! Удивительно...

Въ эту минуту выглянуло, все окруженное зеленью ивы, весноватое, загорѣлое и круглое, какъ яблоко, лицо дѣвочки съ зелеными, свѣтлыми, слишкомъ свѣтлыми глазами.

— Анютка!—вскрикнули мы всѣ хоромъ.

Да, это была Анютка, отчаяннѣйшее маленькое существо на свѣтѣ, бичъ семьи Скоробогачъ, отъявленная шалунья. Ее считали идіоткой и намъ, дѣтямъ, было строго-настрого запрещено играть съ нею. И мы тщательно избѣгали Анютку, хотя жгучее любопытство всегда влекло насъ къ ней, особенно меня, живую, впечатлительную дѣвочку, вѣчно ищущую все новыхъ и новыхъ ощущеній. Я знала, что Анютку нещадно наказываютъ за каждую провинность, но что она нимало не огорчалась этимъ.

Ее иначе не называли, какъ «маленькою вѣдьмой». Ей было 12 лѣтъ, но казалась она крошечной восьмилѣтней дѣвчушкой.

Едва ея загорѣлое весноватое лицо выглянуло изъ за зелени ивы, какъ цѣлый градъ мелкихъ камешковъ полетѣлъ въ Анютку. Копа и Гриша тщательно бомбардировали ими сестру. Вова не отставалъ отъ нихъ. Анютка злилась. Она то высовывала намъ языкъ, то корчила гримасы.

— Анюта, Анюта!.. И не стыдно тебѣ!—пробовалъ

уговорить ее Коля, но едва мальчикъ раскрылъ ротъ, какъ комокъ мягкой глины, въ изобиліи покрывавшей весь берегъ пруда, звонко шлепнулся ему въ щеку.

— Безобразіе какое!—вскричали мы всѣ трое, въ то время какъ Коля, весь красный отъ обиды, тщательно вытиралъ лицо носовымъ платкомъ.

— Вотъ тебѣ! Вотъ тебѣ! Ишь ты, умникъ какой выискался. Учитель будущій! Что, ловко тебѣ влетѣло?!— кривлялась на своемъ суку и кричала Анютка.

Въ отвѣтъ ей разозленные мальчики запустили цѣлый градъ камешковъ. Она метнулась было въ сторону. Личико ея приняло осмысленное выраженіе испуга. Потомъ она снова расхохоталась и показала намъ языкъ.

— Анюта! перестань дурачиться, слѣзай съ ивы, сукъ можетъ отломиться и ты попадешь въ прудъ!— кричала Анюткѣ Леля.

Та въ отвѣтъ только показала кулакъ сестрѣ.

— Не хочешь! — грозно и значительно произнесъ Копа.—Вотъ погоди, тогда я сейчасъ домой побѣгу... и... папѣ пожалуюсь... и выдерутъ же тебя, Анютка!

— Ахъ, не надо!—вырвалось у меня невольно.

Одно только напоминаніе о наказаніи, о побояхъ приводило меня въ какой-то непонятный ужасъ. Мнѣ казался до того противнымъ и позорнымъ весь актъ этого наказанія, до того неестественно грубымъ, что при одномъ словѣ о томъ, что того или другого знакомаго ребенка наказываютъ, дерутъ, я блѣднѣла, какъ

смерть, дрожала съ головы до ногъ и была близка къ нервному припадку. Моя натура, пылкая, впечатлительная, и моя душа, свободная, какъ птичка, были чужды мрачныхъ образовъ насилія и зла.

— Не надо жаловаться, Гриша, я сама попробую убѣдить ее сойти внизъ! — ласково проговорила я, и ловко и проворно, какъ кошка, вспрыгнула на первый сукъ, оттуда на слѣдующій, потомъ еще и еще выше и, наконецъ, въ какія-нибудь двѣ минуты стояла передъ Анюткой, тѣсно оцѣпленная густою листвою огромной ивы.

— Пойдемъ!—проговорила я, схвативъ за руку дѣвочку,—внизъ пойдемъ, и даю тебѣ слово, тебя никто пальцемъ не тронетъ, я защищу тебя.

— Не очень-то я нуждаюсь въ твоей защитѣ!—проговорила дерзко Анютка.—Пошла ты прочь отъ меня по добру, по здорову, пока...

— Что пока?—смотря ей прямо въ ея свѣтлые злые глаза, строго спросила я.

— А вотъ что пока!—захохотала она, и, прежде чѣмъ я могла понять злую дѣвчонку, я разомъ почувствовала, какъ что-то толкнуло меня въ грудь, огромный сукъ выскользнулъ у меня изъ-подъ ногъ и, больно ударяясь о встрѣчные сучья ивы, я, перекувыркнувшись нѣсколько разъ въ воздухѣ, тяжело рухнула въ прудъ.

Первое ощущеніе холодной воды какъ-то разомъ протрезвило меня. Я слышала звонкій крикъ моей «свиты»,

повисшей надъ прудомъ, чей-то плачъ—и больше уже не поняла ничего.

Что-то холодное, вонючее, скользкое вливалось мнѣ въ носъ, ротъ и уши, мѣшая крикнуть, мѣшая дышать... Мнѣ казалось, что я умру сейчасъ, сію минуту...

Пришла я въ себя на рукахъ тети Оли. Передо мною было на-смерть испуганное лицо другой моей тети, Лизы. Что-то горячее жгло подъ ложечкой и у висковъ (потомъ я поняла, что это горчичники, щедро разставленные тетями).

— Дѣточка! Слава Богу, очнулась моя дорогая! Спасибо Колѣ... вытащилъ тебя изъ пруда и сюда принесъ и разсказалъ все... про Анютку... Хорошо-же ей достанется сейчасъ! Сама пойду жаловаться ея отцу. Экая дрянная дѣвчонка!—И на добромъ, миломъ лицѣ моей крестной отразились и негодованіе, и гнѣвъ, такъ непривычные этому доброму лицу.

Точно что ударило мнѣ въ голову:

«На Анютку жалуются! Анютку накажутъ! И надо же было сплетничать Колѣ! Велика важность: въ пруду выкупалась. Невидаль какая! Вѣдь не зимой, а лѣтомъ».

— Ну, ужъ это неправда, Коля совралъ!—вскричала я пылко,—Анюта не при чемъ. Я полѣзла на иву, сукъ подломился, и я сверзилась съ нея въ прудъ.

— Лида! — услышала я тихій, но внушительный окликъ.

Ага, онъ здѣсь! Несносный доносчикъ!

И, быстро повернувъ лицо въ сторону взволнованнаго, блѣднаго Коли, съ платья котораго струилась вода на полъ, я проворчала сердито:

— Нечего глупости болтать. Сама упала въ прудъ и баста. А если... если... вы... кто-нибудь на Анютку... пожалуется... то я... я...

И, не договоривъ, я забилась и затрепетала на рукахъ тети.

Мнѣ тотчасъ же было дано слово оставить Анютку въ покоѣ.

На другое утро, когда я, совсѣмъ уже оправившаяся отъ моего невольнаго купанья, какъ ни въ чемъ не бывало, бѣгала по саду, ко мнѣ подошелъ Коля.

— Ты меня выставила вчера лгуномъ,—проговорилъ онъ серьезно, исподлобья глянувъ въ мои глаза.

— Зато Анютка спасена,—разсмѣялась я весело.

— Не только спасена, но еще успѣла мнѣ сдѣлать гадость...

— А что такое?—спросила я тревожно.

— Побѣжала къ моему дядѣ и пожаловалась на меня, что я ее хотѣлъ толкнуть въ воду, и дядя наказалъ меня.

— Какъ?—вся замирая отъ ужаса, прерывающимся голосомъ спросила я.

Коля молчалъ.

— Какъ?—уже настойчиво повторила я, и голосъ мой зазвучалъ властными нотками. Я не привыкла иначе говорить съ моими «рыцарями».

Коля продолжалъ молчать.

Тогда я быстро вскинула на него глазами. Онъ былъ очень блѣденъ. Только на лѣвой щекѣ краснѣлъ предательскій румянецъ... Я тихо вскрикнула и прижалась лицомъ къ этой щекѣ. Больше я ничего не хотѣла знать, ничего!..

ГЛАВА III.

Таинственная тетя.—Праздникъ у Весмандъ.—Муки совѣсти.—Злополучный трепакъ и Нэлли Ронова.

ПЯТНАДЦАТАГО іюля, въ день именинъ Вовы, былъ назначенъ большой праздникъ въ бѣломъ домѣ, гдѣ жили семейства офицеровъ сосѣдняго батальона съ ихъ командиромъ. Я не сомнѣвалась, что буду приглашена и тщательно готовилась къ этому дню. Я знала, что стрѣлки и ихъ жены, а особенно самъ генералъ Весмандъ—командиръ сосѣдней съ нами военной части—и его жена очень любили маленькую, немного взбалмошную, но далеко не злую «принцессу». А объ ихъ сынѣ Вовѣ и говорить нечего. Мы отлично понимали другъ друга и дня не могли прожить, чтобы не играть и... не поссориться другъ съ другомъ.

Наконецъ, такъ страстно ожидаемый мною день наступилъ. Тотчасъ послѣ завтрака тетя позвала меня одѣваться. Бѣлое въ кружевныхъ воланахъ и прошив-

кахъ платье съ голубымъ поясомъ, цвѣта весенняго неба, было прелестно. Русые кудри принцессы тщательно причесаны и на нихъ наколотъ голубой бантъ въ видѣ кокарды. Шелковые чулки нѣжнаго голубого цвѣта, такія же туфельки на ногахъ и... я бѣгу показываться «солнышку» въ моемъ новомъ костюмѣ. Онъ сидитъ въ тужуркѣ въ кабинетѣ и пишетъ что-то стола. Я въ ужасѣ.

— Ахъ, ты еще не готовъ, «солнышко»! Но какъ это можно? Вѣдь мы опоздаемъ!—говорю я тономъ глубокаго отчаянія.

— Успокойся, дѣточка. Ты поспѣешь съ тетей вовремя,—отвѣчаетъ онъ, лаская меня,—а я позднѣе приду.

— Позднѣе!.. ну-у...

И лицо мое вытягивается въ скучающую гримасу. Я такъ люблю ходить въ гости съ моимъ дорогимъ, ненаглядымъ отцомъ. И вотъ...

Но предстоящій праздникъ такъ увлекаетъ меня, что я скоро забываю это первое маленькое разочарованіе.

Я быстро цѣлую «солнышко» и вприпрыжку бѣгу къ дверямъ.

— Лидюша!—останавливаетъ меня голосъ отца, когда я уже достигла порога,—поди-ка сюда на минутку.

Что-то необыденное слышится мнѣ въ нотахъ этого голоса, и въ одну минуту я передъ нимъ.

— Видишь-ли, дѣвочка, — говоритъ папа, и глаза его смотрятъ не въ мое лицо, а куда-то повыше, на мою голову, гдѣ въ русыхъ кудряхъ виднѣется голубенькій бантикъ-кокарда,—сегодня къ генеральшѣ Весмандъ со мною пріѣдетъ одна твоя тетя: моя кузина Ронова... тетя Нэлли... Будь любезна съ нею... Постарайся, чтобы она тебя полюбила...

— Зачѣмъ?—срывается съ моихъ губъ.

Папа теперь уже не смотритъ на голубенькую кокарду, а прямо на меня, въ мое лицо.

— Тетя Нэлли, какъ ты сама убѣдишься, очень хорошая, добрая дѣвушка... Ея нельзя не любить,— говоритъ онъ съ какимъ-то особеннымъ выраженіемъ.

«Хорошая, добрая дѣвушка»,—эхомъ повторяло что то въ моемъ мозгу. И ради нея «солнышко» не идетъ вмѣстѣ со мною и Лизой на праздникъ, а придетъ позднѣе... Да! Очень хорошо!

И я уже ненавижу эту «хорошую, добрую дѣвушку». Ненавижу всей душой.

Я не знаю, что отвѣтить папѣ, и въ волненіи теребліо конецъ моего голубого пояса, и рада, безконечно рада, когда тетя Оля зоветъ меня, и я могу чмокнуть моего отца и убѣжать...

. . . . . .

— О-о, какая прелестная дѣвчурка! Лидочка, да и выросли же вы какъ за это время. Ай-да дѣвочка! Прелесть что такое, картинка!

— Господа, Лидочка Воронская—моя невѣста!

Я быстро вскидываю глазами на шумнаго, веселаго, коренастаго человѣка въ стрѣлковомъ мундирѣ, съ широкимъ лицомъ и огромной бородавкой на лѣвой щекѣ. Тутъ-же сидятъ нѣсколько человѣкъ офицеровъ и дамъ. Я знаю изъ нихъ румянаго здоровяка Ранскаго, съ огромными усами, и блѣднаго, красиваго, чахоточнаго Гиллерта, который дивно играетъ на роялѣ.

Сама генеральша—маленькая, полненькая женщина съ бѣлыми, какъ сахаръ, крошечными, почти дѣтскими ручонками—спѣшитъ навстрѣчу къ намъ. Она цѣлуется съ тетей Лизой, улыбается и киваетъ мнѣ, представляетъ насъ всѣмъ этимъ нарядным дамамъ и щебечетъ при этомъ, какъ канареечка.

— Charmant enfant!—говоритъ она тихонько тетѣ, бросая въ мою сторону любующійся взглядъ.—И совсѣмъ, совсѣмъ большая!—тотчасъ-же прибавляетъ она по-русски.

— И какая хорошенькая!—вторятъ ей баталіонныя дамы.

Изъ нихъ я знаю только одну: Марію Александровну Рагодскую, съ дочерью которой, восьмилѣтней, серьезной и черноглазой Наташей, мнѣ приходилось играть.

Я чувствую себя очень неловко подъ этими перекрестными взглядами, смутно сознавая, что не заслужила всѣ эти восторженныя похвалы, и что онѣ скорѣе направлены къ тетѣ Лизѣ, нежели ко мнѣ—что-бы

сдѣлать что-либо пріятное моей воспитательницѣ. И потому я очень рада, когда на порогѣ появляется Вова, красный, возбужденный и радостный, какъ и подобаетъ быть имениннику, и, схвативъ меня за руку, уводитъ въ садъ.

Въ саду очень шумно и весело. Два кадета, какой-то незнакомый гимназистъ, потомъ высокій, худой, какъ жердь, юнкеръ кавалерійскаго училища, Лили, Наташа Рагодская и какія-то еще двѣ дѣвочки, очень пышно и нарядно одѣтыя, играютъ въ крокетъ. И всѣ говорятъ по-французски. Я ненавижу французскій языкъ, потому что очень плохо его знаю и потому, что нахожу лишнимъ объясняться на чужомъ языкѣ въ то время, какъ есть свой собственный, природный, русскій.

Вова, со свѣтскою любезностью хозяина дома, живо представляетъ меня всѣмъ. Нарядныя дѣвочки чинно присѣдаютъ мнѣ, кавалерійскій юнкеръ небрежно щелкаетъ шпорами, процѣдивъ сквозь зубы:

— Bonjour, mademoiselle.

Наташа Рагодская важно подходитъ ко мнѣ, становится на-цыпочки и протягиваетъ губы для поцѣлуя. Два кадета и гимназистъ угрюмо кланяются, щелкнувъ каблуками—за неимѣніемъ шпоръ, а Лили встрѣчаетъ меня очень громко:

— Ага! Очаровательная принцесса! Какъ поживаютъ твои рыцари?

И тотчасъ-же, окинувъ всю мою фигуру критическимъ взглядомъ, говоритъ:

— Ахъ, какая ты нарядная! Только, къ чему ты такъ нарядилась? Въ этомъ праздничномъ платьѣ и атласныхъ сапожкахъ будетъ очень неудобно играть въ саду.

Сама Лили одѣта очень скромно. На ней родъ англійской фуфайки, какую носятъ спортсмены, и низко вырѣзанная en coeur бѣлая матроска. На ногахъ желтыя сандаліи и такіе короткіе чулки, что ноги дѣвочки кажутся совсѣмъ голыми.

Лили теперь четырнадцать лѣтъ, и она ужасно ломается, корча изъ себя взрослую.

Мнѣ досадно, что она смѣется надъ моимъ нарднымъ костюмомъ, которымъ всѣ, по моему мнѣнію, должны восторгаться.

— Лучше быть одѣтой какъ я, чѣмъ ходить съ голыми ногами!—отвѣчаю я заносчиво.

— Ха, ха, ха, ха!—заливается громкимъ смѣхомъ Лили.—Ты совсѣмъ глупышка. Мой костюмъ—послѣднее слово моды. Въ Англіи всѣ дѣвочки ходятъ такъ. Это считается тамъ самою послѣднею модою—le dernier cris de la mode!

— Какая она наивная, неправда-ли, mesdames?—прищурившись съ самой отвратительной манерой, прибавляетъ она, обращаясь къ нарядным дѣвочкамъ.

Нарядныя дѣвочки, молча, усмѣхаются. Я внѣ себя отъ ярости.

Какъ она смѣетъ называть меня «наивною»! Меня, принцессу!

— Лучше быть наивной, нежели такой... безстыдницей,—говорю я дерзко, кивая головой Лили на ея голыя ноги.

— А! — протягиваетъ она значительно, вытягивая слова.—Ты совсѣмъ дурочка, право,—и окидываетъ всю мою фигуру съ головы до ногъ презрительнымъ взглядомъ. Затѣмъ она обращается ко всѣмъ съ самой любезной улыбкой:

— Еще успѣемъ сыграть до обѣда одну партію въ крокетъ. Allons, mesdames et messieurs!

— А ты не будешь развѣ играть съ нами?—подбѣгаетъ ко мнѣ Володя, видя, что я не иду «мѣриться» съ другими на палкѣ крокетнаго молотка.

— Не хочу!—упрямо говорю я.—Я ненавижу крокетъ.

— Очень любезно!—насмѣшливо цѣдитъ сквозь зубы Лили.

— Во что-же ты хочешь играть? — допытывается Володя.

Мнѣ онъ рѣшительно сегодня не нравится. Я вижу, какими онъ восхищенными глазами смотритъ на Лили, какъ подражаетъ ей, не выговаривая «р» и «и» во французскомъ діалектѣ, и мнѣ досадно на него, ужасно досадно! Къ тому-же хорошо знакомый мнѣ мальчикъ-капризъ уже около, о-бокъ со мною, и шепчетъ мнѣ въ ухо:

— «Конечно, не стоитъ играть! Что это за радость

бить глупыми молотками по глупымъ шарамъ и смотрѣть, какъ они катятся?»

И я говорю, угрюмо и злобно глядя исподлобья:

— Не хочу играть въ этотъ глупый крокетъ, предпочитаю играть въ солдаты.

— Comment?—въ одинъ голосъ вскрикиваютъ обѣ нарядныя барышни и кавалерійскій юнкеръ.

— Въ солдаты,—повторяю я,—что, вы не понимаете, что-ли? До того офранцузились, что по-русски понимать разучились.

И я рѣзко поворачиваю имъ спину.

Громкій хохотъ служитъ отвѣтомъ моимъ словамъ. Кавалерійскій юнкеръ хохочетъ басомъ, нарядныя барышни дискантомъ, Лили такъ взвизгиваетъ и трясетъ головою, что всѣ ея кудри пляшутъ какой-то своеобразный танецъ вокругъ ея, покраснѣвшаго отъ смѣха, лица. Гимназистъ и кадеты легонько подфыркиваютъ и поминутно закрываютъ рты носовыми платками.

И даже серьезная Наташа и та улыбается своей тихой улыбкой.

— Нѣтъ! Нѣтъ, это великолѣпно. Une demoiselle и желаетъ играть въ солдаты! — кричитъ юнкеръ, весь трясясь отъ смѣха.

Противные!

«Ахъ, Господи, и зачѣмъ меня привели сюда! — тоскливо сжимается мое сердце.—Скажу «солнышку», что никогда не приду больше».

И, круто повернувшись спиной къ «противной компаніи», какъ я мысленно окрестила Вовиныхъ гостей, я иду по дорожкѣ сада.

Вокругъ меня розы, левкои и душистый горошекъ. Пчелы и осы жужжатъ въ воздухѣ. До приторности, до душноты пахнетъ цвѣтами.

На поворотѣ аллеи мелькаетъ бѣлый китель отца.

— Солнышко!—кричу я неистово, бросаясь къ нему со всѣхъ ногъ,—не бери меня больше сюда, здѣсь противно и скучно. Солн...

Я обрываю на полусловѣ, потому что мой отецъ не одинъ. Съ нимъ высокая худенькая дѣвушка съ огромными изсѣра-синими, близорукими глазами, очень румяная и гладко-прегладко причесанная на проборъ.

Что-то холодное, что-то высокомѣрное было въ тонкомъ съ горбинкой носѣ и въ сѣрыхъ выпуклыхъ глазахъ дѣвушки.

— Кузина Нэлли,—проговорилъ «солнышко», поворачиваясь къ черноволосой дѣвушкѣ,—вотъ моя дѣвочка, полюбите ее!

Дѣвушка приставила черепаховый лорнетъ къ глазамъ и окинула меня очень внимательнымъ взглядомъ.

— Какая нарядная!—произнесла она сдержанно.

Сама она была одѣта очень скромно во что-то свѣтло-сѣрое. Костюмъ, однако, безукоризненно сидѣлъ на ней.

Она протянула мнѣ руку. Я нерѣшительно подала

свою. Быстрымъ взглядомъ обѣжала она мои пальцы, и вдругъ брезгливая улыбка сморщила ея губы.

— По комъ ты носишь трауръ, дитя?—спросила она, слегка улыбаясь.

Я не поняла сначала и робко взглянула на «солнышко». Лицо отца было залито румянцемъ. Въ глазахъ его видно было смущеніе. Тогда я, недоумѣвая, взглянула на мои пальцы. Ничего, рѣшительно ничего особеннаго не находила я въ этихъ тоненькихъ, красноватыхъ дѣтскихъ пальчикахъ, если не считать рѣзкихъ черныхъ полосокъ подъ ногтями на самыхъ концахъ. Но взглянувъ сначала на отца, потомъ на молодую дѣвушку и, наконецъ, на мои пальцы, я быстро сообразила, что именно эти черныя полоски обратили вниманіе Нэлли и вызвали ея замѣчаніе.

И я вспыхнула и смутилась не меньше папы.

— Такая нарядная хорошенькая дѣвочка и такіе грязные ногти!—проговорила между тѣмъ Нэлли своимъ безстрастнымъ голосомъ, отъ котораго мурашки забѣгали у меня по спинѣ.

— Какъ-же тебѣ не стыдно приходить въ такомъ видѣ въ гости?—произнесъ съ укоромъ отецъ.

— Папа Алеша,—горячо вырвалось у меня,—я не виновата... я торопилась...

— Что это? Какъ она васъ называетъ, Alexis?—спросила удивленнымъ голосомъ Нэлли.—Па-па А-ле-ша!—протянула она, и голосъ ея дрогнулъ отъ затаеннаго смѣха.

Ну, ужъ это было слишкомъ! Она могла возмущаться моимъ нарядомъ, моими грязными ногтями, но... смѣяться надъ тѣмъ, какъ я называю мое «солнышко»! Какое ей до этого дѣло?

Я уже готова была отвѣтить какою-нибудь неожиданною рѣзкостью, какъ вдругъ изъ-за поворота аллеи быстро подбѣжалъ ко мнѣ поручикъ Хорченко, одинъ изъ часто бывавшихъ у насъ товарищей моего отца. Это былъ очень веселый человѣкъ, охотно шутившій и игравшій со мною. И мы были съ нимъ всегда хорошіе друзья.

— Ага, вотъ вы гдѣ, моя маленькая невѣста,— проговорилъ онъ, выростая передо мною, какъ Конекъ-Горбунокъ, въ сказкѣ, передъ Иванушкой.—Осмѣлюсь надѣяться на счастье вести васъ къ столу?—дурачась и смѣясь произнесъ онъ, подставляя мнѣ руку калачикомъ.

Вмигъ и моя стычка съ дѣтьми, и непріятное знакомство съ теткой—все было забыто. Я подала руку моему кавалеру и мы смѣясь пошли впередъ.

За столомъ мой веселый кавалеръ посадилъ меня подлѣ себя, накладывалъ кушанья и пресерьезно увѣрялъ, что у него въ Малороссіи, какъ у злодѣя Синей Бороды въ сказкѣ, четырнадцать женъ томятся въ подземельѣ замка и что я буду пятнадцатая. Я хохотала какъ безумная. Мнѣ было страшно весело.

— А знаете, Михаилъ Лаврентіевичъ,—совершенно

разойдясь, очень громко проговорила я, бросивъ торжествующій взглядъ на Нэлли, которая сидѣла визави, около моего «солнышка», — я охотно поѣхала бы съ вами и стала-бы пятнадцатой женою Синей Бороды. Вѣдь вы бы не стали упрекать меня за несовсѣмъ хорошо вычищенные ногти, какъ это дѣлаютъ нѣкоторыя классныя дамы?.. Не правда-ли?

Я увидѣла, какъ при этихъ словахъ вспыхнуло и безъ того уже румяное лицо Нэлли—и втайнѣ торжествовала побѣду.

Обѣдъ прошелъ весело и оживленно. Мнѣ, правда, было не совсѣмъ хорошо на душѣ послѣ злополучныхъ сценъ въ саду, но я умышленно громко разговаривала и хохотала, чтобы показать Вовѣ и его компаніи, какъ я веселюсь здѣсь, какъ чувствую себя отлично безъ нихъ.

Вова сидѣлъ по сосѣдству съ Лили за обѣдомъ и внимательно слушалъ громкій и непринужденный разсказъ Лили. Лили держала себя совсѣмъ какъ взрослая. Послѣ обѣда хозяйка упросила одного изъ присутствовавшихъ офицеровъ сыграть на роялѣ. Онъ сѣлъ, и черезъ минуту изъ-подъ бѣлыхъ длинныхъ пальцевъ офицера полились чудные звуки. Мнѣ казалось, что эти звуки говорили о цвѣтахъ и небѣ, такомъ лазоревомъ и прекрасномъ въ лѣтнюю пору, и о пѣніи райскихъ птичекъ,—вообще о чемъ-то иномъ, чего еще не могла понять, но уже смутно охватывала впечатлительная душа маленькой дѣвочки.

Я стояла глубоко-потрясенная, взволнованная... Я забыла все: и стычку въ саду съ молодежью, и ненавистную Нэлли Ронову, словомъ все, все... Мнѣ казалось, что я нахожусь въ какомъ-то волшебномъ чертогѣ, призрачномъ и прекрасномъ, гдѣ легкокрылыя прозрачныя существа витаютъ въ голубомъ эфирѣ и поютъ чудесный гимнъ, сложенный изъ дивныхъ звуковъ!

Вдругъ рѣзкій смѣхъ, раздавшійся надъ моимъ ухомъ, точно ножомъ рѣзнулъ меня по сердцу.

— Пожалуйста, не проглоти насъ, Lydie, ты разинула ротъ, какъ акула.

И вмигъ, и призрачный чертогъ, и легкокрылые эльфы—все исчезло. Предо мною стояла рыжая Лили и хохотала до слезъ надъ моимъ открытымъ ртомъ и надъ моимъ растеряннымъ видомъ. Но странно, я не разсердилась въ этотъ разъ на маленькую насмѣшницу. Моя голова еще была полна звуковъ, слышанныхъ только-что. Мое сердце горѣло.

— О, какъ онъ играетъ! Какъ онъ играетъ, Лили!— произнесла я задыхаясь.

— Тебѣ нравится?—подхватилъ подбѣжавшій къ намъ Вова и посмотрѣлъ на меня сіяющими влажными глазами.—Гиллертъ (такъ звали офицера, игравшаго на роялѣ)—молодецъ! Только и Лили молодецъ тоже. Если-бъ ты только слышала, какъ она играетъ на гитарѣ и поетъ цыганскія пѣсни!

Л. А. Чарская на 10 году жизни.

Съ фотограф. Иванова, 1885 г.

— Что? Лили поетъ? Ахъ, Лили, спойте пожалуйста,—восклицали на разные голоса мужчины и дамы, окруживъ насъ.—Пожалуйста, Лили.

Въ одну минуту появилась откуда-то гитара, кто-то выставилъ на середину зала стулъ, кто-то усадилъ на него Лили, которая отнѣкивалась и ломалась, какъ взрослая. Потомъ привычнымъ жестомъ рыжая дѣвочка ударила рукою по струнамъ и струны запѣли...

Поднявъ высоко голову и сощуривъ глаза, Лили пѣла:

Ей черный хлѣбъ
Въ обѣдъ и ужинъ...

А потомъ:

Спрятался мѣсяцъ за тучку...

и еще что-то.

Всѣ апплодировали, смѣялись и кричали браво.

— Не правда-ли, великолѣпно? — спросилъ, подбѣжавъ ко мнѣ, Вова.

— Вотъ ужъ гадко-то!—самымъ искреннимъ голосомъ вырвалось у меня.

— Ахъ, какая ты дурочка, Лида, — разсердился Вова.—Лили безподобна—она поетъ, какъ настоящая цыганка. Ранскій говоритъ, что отличить даже нельзя.

— Ну, я не поздравляю настоящихъ цыганокъ, если онѣ такъ каркаютъ, какъ Лили,—расхохоталась я.

— Ахъ, скажите на милость! Да ты просто завидуешь Лилькѣ, вотъ и все!—неожиданно заключилъ Вова.

Завидую? А пожалуй, что и такъ! Вова сказалъ правду. Я ненавижу сейчасъ Лили, ненавижу за то, что всѣ ее хвалятъ, одобряютъ, восхищаются ею. Ею, а не мною, маленькой сѣроглазой дѣвочкой, съ такими длинными рѣсницами, что глаза въ нихъ, по выраженію Хорченко, заблудились какъ въ лѣсу. И мнѣ страшно хочется сдѣлать что-нибудь такое, чтобы всѣ перестали обращать вниманіе на Лили и занялись только мною.

Я думала объ одномъ: вотъ, если-бы сейчасъ высоко надъ потолкомъ протянули проволоку, и я, въ легкой юбочкѣ, осыпанной блестками, съ распущенными локонами по плечамъ, какъ та маленькая канатная плясунья, видѣнная мною однажды въ циркѣ, стала бы граціозно танцовать въ воздухѣ... О, тогда всѣ навѣрное-бы пришли въ неистовый восторгъ, апплодировали мнѣ, какъ въ циркѣ апплодировали канатной плясуньѣ, и какъ теперь апплодируютъ здѣсь Лили.

— Что съ вами? Надъ чѣмъ вы задумались, маленькая принцесса?—послышался надъ моимъ ухомъ знакомый голосъ.

Я живо обернулась. За мною стоялъ Хорченко.

— Мнѣ скучно!—протянула я унылымъ голосомъ.

— Если только скучно, то этому горю помочь можно! Пойдемте.

И быстро подхвативъ меня подъ руку, онъ повлекъ меня черезъ всю залу въ кабинетъ хозяина, гдѣ я уви-

дѣла нѣсколько человѣкъ офицеровъ, стоявшихъ въ кружокъ, въ центрѣ котораго румяный весельчакъ Ранскій отплясывалъ трепака.

— Вотъ видите, какъ у насъ весело!—шепнулъ мнѣ Хорченко и тотчасъ-же крикнулъ, обращаясь къ офицерамъ:

— Господа, стулъ принцессѣ, она хочетъ смотрѣть.

— А плясать со мною не хочетъ?—лукаво подмигнувъ мнѣ глазомъ, спросилъ Ранскій, выдѣлывая какое то удивительное па.

— Ужасно хочу!—вырвалось у меня самымъ искреннимъ образомъ и тутъ-же я добавила мысленно:—«Пускай Лилька «каркаетъ» въ залѣ, а я тутъ имъ такъ «отхвачу» трепака, что они «ахнутъ».

И, не дожидаясь вторичнаго приглашенія, подъ общіе одобрительные возгласы, я вбѣжала въ кругъ и встала въ позу.

Вмигъ откуда-то въ рукахъ Хорченко появилась гармоника и бойкій мотивъ «Ахъ, вы, сѣни, мои сѣни» понесся по комнатѣ.

То отступая, то подбѣгая ко мнѣ, Ранскій подергивалъ плечами, выворачивая ноги, мотая головою и вдругъ разомъ грянулся на полъ и пошелъ въ присядку. Точно что ударило мнѣ въ голову... Дрожь восторга пробѣжала по моимъ жиламъ и я полетѣла быстрѣе птицы, описывая круги, взмахивая кудрями, съ которыхъ давно уже упала голубенькая кокарда,

и вся ходуномъ ходя отъ охватившаго меня огня пляски.

— Ай да Лидочка! Ай да принцесса! Молодцомъ! Молодцомъ!—кричали то здѣсь, то тамъ въ тѣсно обступившемъ насъ кружкѣ зрителей.

«Ага, чья взяла, рыжая Лилька? Твое глупое каркань е или моя пляска?»—молніей промелькнула во мнѣ торжествующая мысль и, прежде чѣмъ кто-либо успѣлъ остановить меня, я, по примѣру моего партнера Ранскаго, пустилась въ присядку. Вся тонкая, ровная и ловкая, какъ мальчикъ, я отбивала дробно и мелко каблукомъ, отбрасывая ноги то влѣво, то вправо, то подскакивая на поларшина отъ земли... Этому ужъ меня не училъ «солнышко», этому я случайно выучилась отъ денщика Петра, когда онъ плясалъ какъ-то у кухоннаго крыльца въ одно изъ воскресеній.

Щеки мои горѣли, какъ жаръ, глаза блестѣли, растрепавшіеся волосы бились по плечамъ. Я слышала шумные возгласы одобренія, восторга—и вдругъ... внезапно надъ моимъ ухомъ прозвучала фраза:

— Боже мой! Да неужели же это ваша дѣвочка, Alexis?

И я увидѣла «солнышко» о-бокъ съ Нэлли Роновой на порогѣ. Никогда не забуду я выраженія лица моего папы. Мнѣ казалось, что онъ готовъ былъ провалиться отъ стыда сквозь землю. А въ глазахъ Нэлли Роновой отразился такой краснорѣчивый ужасъ, что мнѣ даже страшно стало за нее.

«Солнышко» быстро подошелъ ко мнѣ, нагнулся къ моему уху и шепнулъ сердито:

— Ты сейчасъ же отправишься домой.

«Вотъ тебѣ разъ! Послѣ такого успѣха и вдругъ...»

Я больно закусила себѣ губы, чтобы не расплакаться отъ жгучаго чувства стыда и обиды.

Когда я шла мимо Нэлли, она сказала:

— Можно-ли такъ воспитывать дѣвочку, Alexis? Это дикарка какая-то, мальчишка! Право, ее слѣдовало бы отдать въ институтъ!

— Да, да! — какъ-то особенно быстро произнесъ папа, — я отдамъ ее будущею осенью въ институтъ, только надо будетъ раньше пригласить гувернантку, чтобы ее подготовила.

«Ага! Опять гувернантка... и институтъ вдобавокъ... И все изъ-за этой непрошенной тетушки!»

Какъ я ее ненавижу...

Противная!

ГЛАВА IV.

Мои добрыя феи.—Большая неожиданность.—Катишь.

«ЧЕРНАЯ, толстая, бѣлая или худая будетъ у меня гувернантка? Маленькая, какъ карлица, или высокая, какъ жердь?» Вотъ вопросы, которые мучили меня всю дорогу отъ Царскаго Села до Петербурга, когда мы ѣхали съ тетей Лизой въ Ни-

колаевскій институтъ, гдѣ мы должны были встрѣтить новую гувернантку, которую выбралъ мнѣ «солнышко».

Она, какъ объяснила мнѣ тетя Лиза съ какою-то особенно загадочной и таинственной улыбкой, живетъ въ этомъ институтѣ. По словамъ тети она злая, строгая, старая дѣва съ длиннымъ носомъ и сердитымъ голосомъ. Я заранѣе уже рѣшила ненавидѣть ее. И всю дорогу изъ Царскаго я измышляла способы, какъ бы насолить противной гувернанткѣ, втайнѣ досадуя на «солнышко», что онъ мнѣ выбралъ такую.

Пріѣхавъ въ Петербургъ, раньше чѣмъ отправиться въ институтъ, мы заѣхали отдохнуть и закусить на Николаевскую улицу, гдѣ жили постоянно мои тети Лина и Уляша.

— Тетя Лина! Тетя Уляша!—вскричала я, лишь только Матреша, тетина прислуга, открыла намъ дверь,— вы слышали новость? У меня гувернантка будетъ и въ институтъ меня отдадутъ. Это тетя Нэлли такъ посовѣтовала, Нэлли Ронова. Вы знаете ее?

При этомъ имени всѣ мои три тети переглянулись съ какимъ-то совершенно непонятнымъ для меня выраженіемъ. Онѣ сидѣли всѣ трое тутъ въ ту минуту, когда маленькая сѣроглазая дѣвочка ураганомъ влетѣла въ ихъ уютную свѣтлую столовую. Тетя Лина, по своему обыкновенію, плела безконечное кружево на толстой, набитой пескомъ подушкѣ съ безчисленными коклюшками. Крестная, моя любимица Оля, шила что-то

у окна въ то время, какъ Юлія или, какъ я ее называла, Уляша тщательно рѣзала колбасу на тарелкѣ маленькими, претоненькими ломтиками.

Уляша занималась хозяйствомъ и весь домъ былъ у нея на рукахъ. Я ее вижу, какъ сейчасъ, очень высокую, полусѣдую, съ мистическимъ взглядомъ нѣсколько испуганныхъ черныхъ глазъ, съ безумной приверженностью ко всему таинственному. Милая Уляша! Она, сама того не замѣчая, поддерживала во мнѣ, ребенкѣ, ту же любовь ко всему сверхъестественному, которое жило въ ея душѣ. Она единственная изъ тетокъ знала исторію сѣрой женщины, являвшейся мнѣ постоянно въ трудные моменты моей жизни...

— Гувернантка?—произнесла Линуша и ея полныя щеки запрыгали отъ внутренняго смѣха.—Да мы давно знаемъ твою гувернантку!

— Она старая?—спросила я, вся сгорая отъ нетерпѣнія,—неправда-ли, Лина?

— Ужасно! — расхохоталась Линуша, — совсѣмъ ветхозавѣтная, увѣряю тебя!

— И носъ у нея крюкомъ, какъ у птицы,—добавила Оля.

— И глаза выпуклые и злющіе, какъ у совы!—присовокупила тетя Лиза.

— Оставьте! Что вы волнуете даромъ дѣвочку. Она и безъ того нервна и впечатлительна безъ мѣры,—произнесла съ укоромъ тетя Уляша.

— Пойдемъ лучше убираться въ туалетѣ, Лидюша!— предложила она мнѣ.

Ахъ, этотъ туалетъ! Чего-чего только тамъ не было! И изящныя коробочки, оклеенныя раковиной, и фарфоровые пастухъ и пастушка, и костяная ручка на палкѣ, которая употреблялась нашей прабабушкой, чтобы чесать спину, и «монашки». Послѣднія интересовали меня больше всего. «Монашками» мы съ Уляшей называли благовонные уголки, употребляемые для курева въ комнатѣ. Я ихъ очень любила, они такъ хорошо пахли. Тетя зажгла ихъ и поставила на пепельницу. Я смотрѣла, какъ медленно таяли они подъ вліяніемъ пожирающаго ихъ огонька. «Монашки» тихо пепелились и таяли у меня на глазахъ въ то время, какъ тетя Уляша говорила:

— Не огорчайся, что тебя отдадутъ въ институтъ, дѣвочка. Тамъ тебѣ не будетъ скучно. Тамъ ты будешь расти среди подругъ-сверстницъ. Это гораздо веселѣе, нежели одной. Играть будете, вмѣстѣ гулять, заниматься.

Дѣйствительно недурно, если все случится такъ, какъ говоритъ Уляша, но... вотъ одно скверно: гувернантка. Кому пріятно, спрашивается, имѣть гувернантку—старую дѣву съ крючковатымъ носомъ и совиными глазами? Я уже готова была поподробнѣе разспросить о ней тетю Уляшу, но тутъ появилась на порогѣ моя вторая тетя, Лиза, и сказала, что пора ѣхать.

Мы отправились. Отъ Николаевской улицы до набережной Фонтанки, гдѣ находился институтъ съ его чудовищемъ, я все время не переставала думать о той, которая волновала мое воображеніе. На мои разспросы, обращенные чуть-ли не въ сотый разъ къ тетѣ Лизѣ о томъ, какова гувернантка, та отвѣчала только со своей значительной таинственной улыбкой:

— Стара... желчна... рѣзка и сердита...

Когда мы подъѣхали къ большому красному зданію на Фонтанкѣ, на которомъ значилась надпись: «Николаевскій институтъ», я уже ненавидѣла невидимую гувернантку гораздо болѣе Нэлли Роновой.

— Барышни въ саду!—проговорилъ открывшій намъ дверь швейцаръ, котораго я приняла за очень важную фигуру, и навѣрное сдѣлала-бы ему реверансъ, если бы тетя Лиза не удержала меня во-время отъ этого. Онъ повелъ насъ по длиннымъ коридорамъ съ высокими окнами куда-то въ самый конецъ его, гдѣ за стеклянною дверью зеленѣли деревья и цѣлый рой крошечныхъ существъ носился, подобный бабочкамъ, по большой садовой площадкѣ. Едва я и тетя Лиза сошли по каменнымъ ступенямъ на усыпанную желтымъ пескомъ эспланаду, бѣлыя крошечныя дѣвочки окружили насъ.

— Новенькая! mesdam'очки, новенькая! — пищали онѣ тоненькимъ голоскомъ.

— Нѣтъ, не новенькая,—улыбаясь имъ, отвѣчала

тетя,—мы случайно здѣсь... А вотъ не скажете ли намъ, гдѣ находятся пепиньерки?

— На послѣдней аллеѣ! На послѣдней аллеѣ пепиньерки!—затрещали дѣвочки всѣ разомъ, оглушивъ насъ своими пронзительными голосами.

Я не могла удержаться, чтобы не спросить тетю, что это такое «пепиньерки». Она объяснила мнѣ, что это воспитанницы, уже окончившія институтъ и остающіяся въ немъ для того только, чтобы подготовиться въ учительницы.

Мы съ трудомъ пробрались черезъ толпу дѣвочекъ на большую липовую аллею, гдѣ ходили попарно и въ одиночку молодыя дѣвушки въ сѣрыхъ платьяхъ, съ книгами или съ работою.

— Зачѣмъ намъ нужно идти къ нимъ?—тихо спросила я тетю Лизу. Но она не успѣла отвѣтить мнѣ, потому что въ одну секунду мы были окружены цѣлымъ десяткомъ молоденькихъ созданій, смѣющихся и серьезныхъ, веселыхъ и меланхоличныхъ, черненькихъ, бѣлокурыхъ, свѣтлоглазыхъ и черноокихъ, словомъ—всевозможнаго вида и типа.

— Ахъ, какой славный ребенокъ! Смотрите, mesdam'очки!

— Очарованье!

— Прелесть!

— Душенокъ!

— Восхищеніе!

Такъ кричали онѣ хоромъ, набрасываясь на меня, точно въ жизни своей не видѣли маленькой дѣвочки.

— У нея поразительные глаза, mesdames!—произнесла высокая блѣдная дѣвушка съ длиннымъ лицомъ.

— Точь-въ-точь какъ у королевы Маріи-Антуанеты, судя по картинѣ...

— Нѣтъ, у Екатерины II были такіе-же, — произнесла черноглазая красавица съ восточнымъ лицомъ.

— А рѣсницы, mesdames! Рѣсницы, точно стрѣла.

— «И тѣнь отъ длинныхъ рѣсницъ упала на блѣдныя щеки юной красавицы»,—продекламировала толстенькая брюнетка съ вздернутымъ носикомъ и мечтательными глазами.

— Душенокъ! Divinité! Восторгъ, что за ребенокъ!— и снова градъ поцѣлуевъ посыпался на мою голову, щеки и губы.

Я чувствовала себя въ положеніи звѣрька, котораго разсматривали и тормошили всѣ эти милыя, но совсѣмъ чужія мнѣ, дѣвушки. Горячій румянецъ пятнами проступилъ у меня на щекахъ. Я готова была уже просить тетю Лизу уйти отсюда, какъ вдругъ нѣжный, чарующій голосъ раздался за нами:

— Ну, что вы мучаете дѣвочку, совсѣмъ затормошили бѣдняжку,—сказалъ кто-то позади насъ.

Я быстро обернулась.

Небольшая, полная дѣвушка, миловидная, съ огром-

ными тоскующими глазами и очаровательнѣйшей улыбкой стояла передо мною. Она была далеко не красавица, но что-то необъяснимо-милое было въ этомъ смугломъ личикѣ, покрытомъ еще пушкомъ юности, въ нѣжно-очерченномъ свѣжемъ ртѣ и въ плѣнительной, ласково-грустной улыбкѣ.

— Ахъ, какая прелесть!—произнесла я, глядя на смуглую дѣвушку восторженными глазами.

Всѣ разсмѣялись невольно — и сѣрыя дѣвушки, и тетя Лиза. Потомъ тетя Лиза спросила у пепиньерокъ:

— А m-lle Грейгъ можно видѣть?

— Mademoiselle Грейгъ и есть вѣрно та старая дѣва, которую мнѣ берутъ въ гувернантки?—спросила я самымъ невиннымъ тономъ, не обращаясь особенно ни къ кому.

— Нѣтъ, m-lle Грейгъ—гувернантка этихъ барышень,—едва удерживаясь отъ улыбки произнесла тетя Лиза,—а твоя будущая наставница находится въ кругу этихъ барышень... Она здѣсь среди пепиньерокъ...

Я не вѣрила своимъ ушамъ.

— Какъ!—вскричала я радостно,—у меня не будетъ злой старой дѣвы съ крючковатымъ носомъ и совиными глазами?

— Не будетъ!—лукаво улыбнулась черноглазая красавица, особенно нѣжно поглядывающая на меня,—если ты сумѣешь угадать, которая изъ насъ Катишь

Титова, твоя гувернантка, приглашенная твоимъ отцомъ въ вашъ домъ...

— А!—протянула я и смѣло тряхнула кудрями (привычка, къ которой я всегда прибѣгала въ самыя затруднительныя минуты жизни). И тотчасъ же глаза мои забѣгали по окружающимъ насъ молодымъ лицамъ.

Вотъ черноокая смуглянка, первая изъ говорившихъ со мною... Она очень красива, очень добра... но я-бы не хотѣла ея имѣть гувернанткой. Слишкомъ ужъ великолѣпна она...

Вотъ бѣлокурая дѣвушка съ мечтательными, восторженными глазами, нашедшая сходство моихъ глазъ съ глазами казненной французской королевы. То-же не то. Эта такъ и душитъ меня своими поцѣлуями. Надоѣстъ мнѣ очень скоро.

Вотъ серьезная, блѣдная, длиннолицая дѣвушка, но она такъ нервна и болѣзненна на видъ, что навѣрное не сдѣлаетъ шагу со мною по саду отъ головной боли... Вотъ рыженькая, вотъ шатенка, опять бѣлокурая... Которая же изъ нихъ?

Вдругъ глаза мои встрѣтились съ нѣжными тоскующими глазами. Очаровательная улыбка блеснула мнѣ какимъ-то сіяніемъ и утонула тотчасъ же въ удивительно глубокомъ взорѣ.

О, какъ могла я еще сомнѣваться и выбирать! Какъ могла я искать среди другихъ ту, улыбка которой покорила меня въ первую же минуту!

— Катишь—это вы!—вскричала я громко, со всего размаха кидаясь на шею милой смугляночки.

— Отгадала-таки! Какъ это ты отгадала, дѣвчушка моя ненаглядная?—прозвучалъ ласково надо мною ея чарующій голосъ, и до слезъ растроганная пепиньерка Екатерина Сергѣевна Титова крѣпко сжала меня въ своихъ объятіяхъ.

ГЛАВА V.

Кузины.—Жертва Катишь.—Страшная ночь.

ПОЗДНІЯ розы цвѣтутъ и благоухаютъ... Небо нѣжно голубѣетъ надъ сиреневой бесѣдкой, гдѣ мы сидимъ обѣ—я и Катишь...

Катишь чуть-ли не въ сотый разъ объясняетъ мнѣ сколько видовъ причастій на русскомъ языкѣ, а я смотрю осовѣвшими глазами на красивую зеленую муху, попавшуюся въ сѣти паука.

Хотя уже начало сентября, но теплынь такая, что мы цѣлый день проводимъ на воздухѣ—учимся, читаемъ и обѣдаемъ въ саду. Учусь я значительно лучше. Рѣшено, что въ серединѣ зимы, какъ только я подготовлюсь, меня отвезутъ въ Петербургъ, въ институтъ, но не въ Николаевскій, гдѣ воспитывалась Катишь, а въ Павловскій, Я это отлично знаю и ничуть не огорчена этимъ. Катишь сумѣла привить мнѣ интересъ къ той таинственной жизни, гдѣ нѣсколько сотъ дѣвочекъ

развиваются среди подругъ. И потому я заранѣе знаю, что меня полюбятъ тамъ и мнѣ будетъ хорошо. Развѣ можно не полюбить «маленькую принцессу?» Не даромъ Катишь голову потеряла съ первыхъ же дней отъ моего ума, находчивости, рѣзвости и пр. и пр. и пр.

Вотъ только насчетъ уроковъ... Все мнѣ не даются противныя спряженія и эти причастія и дѣепричастія! Но Катишь терпѣлива, какъ ангелъ, и всегда сумѣетъ увлечь меня. Зато я люблю ее ужасно, мою милую Катишь! Она такая молоденькая, миленькая, кроткая и скорѣе другъ мнѣ, нежели гувернантка. Вотъ вамъ и старая дѣва съ крючковатымъ носомъ! Теперь я знаю, что тети нарочно запугали меня, чтобы приподнести мнѣ пріятный сюрпризъ въ видѣ молоденькой и хорошенькой гувернантки. Съ Катишь я стала учиться прилежнѣе. Вотъ только сегодня мнѣ что-то не везетъ. Но я знаю отчего. Къ намъ пріѣхали кузины, бывшія институтки, Оля и Вѣра Соснины. Оля—подруга Катишь по институту. Вѣра—бывшая «Павлушка», воспитанница Павловскаго института, т. е. такая же, какою сдѣлаюсь и я. Онѣ обѣ такія милыя, жизнерадостныя, свѣжія. Онѣ весь домъ наполнили своими молодыми голосами. Съ тѣхъ поръ, какъ онѣ у насъ, стрѣлки-офицеры проводятъ у насъ цѣлые дни. Даже Хорченко отсталъ отъ меня и пересталъ меня дразнить своею невѣстой и не отходитъ отъ Вѣры, стройной, красивой, бѣлоку-

рой дѣвушки съ бойкими глазами и съ такой толстой косою, что всѣ невольно ахаютъ при видѣ ея.

Оля—та въ другомъ родѣ. Есть что-то меланхолическое въ ея томныхъ сѣрыхъ глазахъ, въ граціозныхъ, размѣренныхъ движеніяхъ. Вѣра очень хорошенькій боецъ, разбойникъ; Оля же очаровательна своей женственностью. Я ужасно ихъ люблю обѣихъ!

Вотъ онѣ ходятъ по саду обѣ. Вѣра хохочетъ и закидываетъ назадъ голову, и безъ того отягощенную ея гигантскою косою. Оля улыбается, и ея нѣжный голосокъ звенитъ по всему саду. Я знаю о чемъ онѣ говорятъ: сегодня балъ въ Бѣломъ домѣ и всѣ онѣ ѣдутъ туда и тетя Лиза, и кузины, и Катишь. «Солнышка» не будетъ. Онъ уѣхалъ въ Гатчино сдѣлать визитъ родителямъ этой противной Нэлли Роновой. Онъ пріѣдетъ завтра, а пока... О, эти противныя причастія и дѣепричастія!..

— А... га! вы еще учитесь, маленькая мученица!—заглянувъ къ намъ въ сиреневую бесѣдку, говоритъ Хорченко.—Да бросьте вы ее терзать, Екатерина Сергѣевна!—говоритъ онъ, умоляюще глядя на мою воспитательницу,—вѣдь уморите дѣвочку. Смотрите, позеленѣла вся.

— Не правда!—защищаетъ меня Вѣра,—вовсе не позеленѣла, а по-прежнему розанчикъ! Цѣлуй меня, душка.

Я чмокаю Вѣру, потомъ заодно и Катишь.

— Учиться больше не будемъ?—говорю я голосомъ, въ который вкрались всѣ семь умильно-ласковыхъ нотъ разомъ.

Противъ этихъ ласковыхъ нотъ Катишь не устоять ни за что на свѣтѣ. Грамматика захлопнута и я присоединяюсь къ веселой компаніи со своей гувернанткой.

— А вы знаете? Вчера ночью квартиру Сумарокова ограбили!—говорю я, задыхаясь отъ нетерпѣнія высказать все, что узнала сегодня утромъ и хочу разсказать всѣ подробности, которыя я успѣла узнать, но оказывается, офицеры уже знаютъ эту свѣжую новость.

— Безобразіе! — возмущается Ранскій, — произвести дерзкую кражу подъ самымъ носомъ, какъ говорится, у воинской части.

— Наша дача еще глубже въ паркѣ стоитъ... чего добраго... если...—нерѣшительно говоритъ Оля.

— Ахъ, какая ты трусиха! Вѣдь у дяди Алеши семь ружей и всѣ заряжены!—говоритъ веселая Вѣра и тотчасъ-же прибавляетъ, задорно блеснувъ глазами:— Ахъ, это ужасно интересно, воры! Я-бы хотѣла ихъ посмотрѣть...

— Ну, ужъ подобнаго мнѣнія я раздѣлить не могу,— вырвалось у меня.

Послѣ обѣда Катишь, Вѣра и Оля стали одѣваться на балъ.

Ахъ, какія онѣ хорошенькія всѣ трое! Я не могу достаточно налюбоваться на нихъ всѣхъ. Вѣра, вся въ

блѣдно-розовомъ, свѣтлая и сіяющая, настоящее воплощеніе весны. Оля—та вся голубая, точно осѣненная прекрасно-нѣжнымъ сіяніемъ весенней ночи. А моя милая Катишь, въ своемъ скромномъ, бѣломъ платьицѣ, съ гладко причесанной черной головкой—настоящая мушка въ молокѣ. На тетѣ Лизѣ черное бархатное платье, ея самое нарядное изо всѣхъ. Я сижу въ креслѣ и смотрю, какъ онѣ одѣваются, причесываются и вертятся передъ зеркаломъ, и Вѣра, и Оля, и Катишь. Сначала это очень интересно любоваться такъ на чужую радость, но вотъ неслышными шагами ко мнѣ приближается мальчикъ-капризъ и шепчетъ на ушко:

— «А тебя-то и не берутъ. Тебя оставятъ дома, какъ Золушку... А ты-бы могла ѣхать и быть такой-же хорошенькой и нарядной... Да!»

И вдругъ самымъ неожиданнымъ образомъ я сердито кричу:

— Да, да! Сами ѣдутъ... а я оставайся... Очень весело, подумаешь!

— Дѣточка, что съ тобою?—такъ и бросается ко мнѣ тетя Лиза,—вѣдь я только отвезу ихъ, введу въ залъ и сейчасъ-же обратно... Вѣдь это тутъ-же рядомъ... А ты въ это время побудешь съ Машей и Петромъ. Маша у тебя посидитъ, пока я не вернусь изъ Бѣлаго дома.

— Не хочу Машу! Я Катишь хочу! Одну Катишь! Пусть всѣ ѣдутъ, а Катишь останется со мною. Она моя!—извожусь я, бросая на тетю злые взгляды.

— Но вѣдь Катишь уже одѣта... и потомъ, неужели-же ты хочешь лишить удовольствія Катишь?—на перегонки уговариваютъ меня Вѣра и Оля.

Я кидаю косой взглядъ на Катишь. Ахъ, какая она прелесть въ ея скромномъ, бѣломъ платьицѣ! И вотъ именно потому, что она прелесть, я не хочу, чтобы она ѣхала. Вырядилась, веселиться будетъ, плясать, а обо мнѣ ей и дѣла нѣтъ!

Рѣшительно, я считала Катишь своей собственностью, которая и создана для того только, чтобы ублажать меня.

— Ну, ужъ это изъ рукъ вонъ, Лидюша!—выходитъ изъ себя Лиза.—Ты деспотъ какой-то стала!

— Ну, и оставьте меня, если я деспотъ. И уходите всѣ и никого мнѣ не надо, никого, никого!

— Конечно, уйдемъ, и не будемъ смотрѣть на тебя, капризная. Идемъ, Катишь!—говоритъ Вѣра и бросаетъ въ мою сторону сердитый взглядъ.

Я кидаюсь лицомъ въ подушку дивана и замираю такъ на нѣсколько минутъ. Потомъ, когда все затихаетъ въ комнатѣ, осторожно приподнимаю голову и прислушиваюсь. Шаги и шелестъ платьевъ утихаютъ въ отдаленіи... Вонъ хлопнула дверь... Вонъ голосъ Вѣры крикнулъ:—«Петръ, я забыла мантильку... принесите, пожалуйста»,—и шаги снова приближаются, снова. Но это не грубые солдатскіе шаги Петра. Что-то легко, стремительно несется по коридору. Я съ удивленіемъ устремляю глаза на дверь...

Ахъ! На порогѣ стоитъ Катишь и улыбается.

— Я не иду въ Бѣлый домъ, Лидюша... голова болитъ что-то... Не хочется!—говоритъ она, усиленно глядя въ сторону.

Голова болитъ!.. Я понимаю, что она говоритъ неправду...

— О, милая, милая Катишь!

И съ легкимъ крикомъ я висну у нея на шеѣ.

. . . . . .

Деревья въ паркѣ глухо шумятъ, точно жалуются на что-то. Темень такая на дворѣ, что хоть глазъ выколи. Точно что-то черное и страшное притаилось за дверью и ждетъ только случая вбѣжать, ворваться и схватить насъ. Жуткая сентябрьская ночная мгла повисла за окнами и смотритъ къ намъ убійственно-черными глазами.

— Мнѣ страшно, Катишь,—шепчу я, поджимая подъ себя ноги и глядя въ окно широко расширенными зрачками.

Катишь только-что прочла мнѣ о томъ, какъ маленькій Рене пекъ въ каминѣ каштаны, когда призракъ отца предсталъ передъ нимъ. Я знаю этотъ разсказъ отъ слова до слова и каждый разъ волнуюсь и дрожу на томъ мѣстѣ его, гдѣ появляется призракъ.

— На сегодня довольно, Лидюша!—говоритъ Катишь.—Видишь, до чего дочиталась ты. Совсѣмъ нервушка стала... А бояться нечего. Мы сейчасъ уляжемся съ тобою спать и не замѣтимъ, какъ подойдутъ наши.

— А ты не раскаиваешься, что осталась со мною?—спрашиваю я, ласкаясь къ Катишь, въ то время какъ сердце мое сжимается болью раскаянія оттого, что я лишила удовольствія моего милаго друга.

Я всегда говорю ей безъ свидѣтелей «ты». Это ея желаніе.

— Милая моя дѣвчурочка!—отвѣчаетъ Катишь,—да развѣ можетъ мнѣ пустое бальное верченіе по залу замѣнить тебя?—и она крѣпко-прекрѣпко меня цѣлуетъ.

Счастливыя и довольныя другъ другомъ мы отправляемся въ «дѣтскую».

Въ нашей уютной комнаткѣ передъ образомъ Спасителя тихо мерцаетъ лампада, и это придаетъ ей еще болѣе уютный видъ. Только въ окошко назойливо лѣзетъ та-же черная мгла.

Я быстро спускаю шторы на окнѣ, къ великому удивленію Катишь, потому что мы никогда не дѣлали этого раньше, такъ какъ окно нашей комнаты выходитъ въ самую глухую часть парка, гдѣ никто никогда не бываетъ. Потомъ я раздѣваюсь и, прежде чѣмъ Катишь успѣла остановить меня, юркнула въ ея постель.

— Катишь, позволь мнѣ остаться у тебя... Мнѣ что-то страшно сегодня! — говорю я умоляющимъ тономъ.

У нея не хватаетъ духа прогнать меня въ мою кроватку, и я устраиваюсь подлѣ нея. Лампадка чуть мерцаетъ теперь у иконы. Вотъ-вотъ она потухнетъ сей-

часъ. Что-то тяжелое душитъ меня... Смутный страхъ закрался во всѣ затаенные уголки моей души...

Воспоминаніе о ночныхъ ворахъ, забравшихся на сосѣднюю дачу, не даетъ мнѣ покоя. Я долго ворочаюсь на своемъ мѣстѣ. Катишь уже спитъ. А я думаю... думаю... думаю... о томъ думаю, чтобы скорѣй прошла эта черная мглистая осенняя ночь и чтобы наши вернулись скорѣе... Съ этой послѣдней мыслью я не замѣтила, какъ уснула тяжелымъ, кошмарнымъ сномъ...

ГЛАВА VI.

Воры.

СТРАННЫЙ шорохъ привлекъ мое вниманіе, когда я внезапно проснулась и сѣла на постели. Точно кто-то ходилъ по гостиной, мягко шлепая босыми ногами.

— Катишь, ты слышишь? — прошептала я, въ то время какъ холодныя капли пота выступили у меня на лбу.

Катишь не спала тоже и чутко прислушивалась, какъ и я.

— Кто-то ходитъ въ гостиной,—проговорила она, хватая мою руку похолодѣвшею рукою.

— Катишь! Это «они»?—проговорила я, давясь каждымъ словомъ. При этомъ я почувствовала, что волосы зашевелились у меня на головѣ.

— Это воры!—скорѣе угадала, нежели услыхала я трепещущій голосъ моей наставницы.

Шаги начали приближаться. Вотъ они раздаются уже значительно ближе... по коридору... остановились у самыхъ дверей... Не обмѣнявшись ни словомъ, мы обѣ, какъ по командѣ, откинулись на подушки, точно сговорившись притвориться спящими.

Изъ-подъ прижмуренныхъ вѣкъ я видѣла, какъ распахнулась дверь и какъ два рослые чернобородые оборванца крадущимися шагами скользнули въ комнату. У одного изъ нихъ въ рукахъ былъ большой ножъ, у другого отмычка. Вооруженный ножомъ въ два шага перешагнулъ пространство отъ двери до нашей кровати и быстро наклонился надъ нами. Слабый свѣтъ лампадки, бросавшій тѣнь на наши лица, помѣшалъ ему замѣтить необычайную блѣдность ихъ.

— Спятъ обѣ!—проговорилъ онъ хриплымъ голосомъ, и, прежде чѣмъ я успѣла опомниться, черное косматое лицо наклонилось надъ моимъ лицомъ.

Отъ этого ужаснаго лица пахнуло на меня запахомъ дешеваго табаку и водкой.

Мое сердце замерло отъ страха.

Я сознавала, что сдѣлай я малѣйшее движеніе, пройди только судорога по моимъ губамъ, и онъ зарѣжетъ меня своимъ ножомъ, этотъ разбойникъ.

— Спятъ крѣпко,—хриплымъ голосомъ разсмѣялся онъ и присоединился къ товарищу, который уже

быстро и ловко выламывалъ дверцы стоявшей въ сосѣдней комнатѣ шифоньерки.

«Слава Богу, спасены, — вихремъ пронеслось въ моихъ мысляхъ,—они не покончатъ съ нами, потому что считаютъ насъ спящими»... Но вдругъ новый ужасъ сковалъ мои члены и леденящимъ холодомъ наполнилъ сердце. Я вспомнила, что въ шифоньеркѣ лежатъ деньги, которыя мой отецъ получилъ наканунѣ. Это была огромная сумма, что-то 15 или 20 тысячъ рублей и притомъ это были не собственныя папины деньги. «Солнышко» долженъ былъ раздать ихъ на слѣдующій день подрядчикамъ по счету. Если воры доберутся до ящика въ шифоньеркѣ, то... то... конечно, поторопятся унести всѣ деньги... Бѣдный папа, какое ждетъ его огорченіе! И откуда онъ возьметъ столько денегъ, чтобы пополнить эту огромную сумму, которую онъ обязанъ былъ беречь?.. Нѣтъ, нѣтъ, нельзя допустить, чтобы воры унесли эти деньги!.. Во что-бы то ни стало надо имъ помѣшать... Но Петръ и Маша спятъ далеко, за кухней, и не услышатъ, если ихъ позвать... Да и что они могутъ сдѣлать двое, Петръ и Маша, въ сравненіи съ отчаянными вооруженными злодѣями?.. Значитъ надо поступить иначе...

Мысль быстро, быстро работала въ моей головѣ... И вдругъ смутный выходъ мелькнулъ въ ней сразу... Нужно рискнуть, нужно спасти! Только надо побороть страхъ... Надо приготовиться къ тому, что злодѣи могутъ кинуться

за мною и зарѣзать меня... Но... но... я все-таки что-нибудь должна сдѣлать, должна ради «солнышка»...

И я быстро вскакиваю съ постели, однимъ духомъ перебѣгаю въ коридоръ и дико кричу, влетая въ залу:

— Люди! сюда! Папа, проснись! Петръ! Иванъ! Андрей! Солдаты! скорѣе, скорѣе! Здѣсь воры! воры! воры!

Никого изъ солдатъ, ни изъ мужчинъ кромѣ Петра не было у насъ въ домѣ въ эту страшную ночь. Но воры, услышавъ отчаянный крикъ и подумавъ вѣроятно, что домъ полонъ народу, кинулись въ бѣгство прямо черезъ окно. До меня долетѣли и громкія проклятія, и звонъ разбитаго стекла.

Въ ту-же минуту на порогѣ залы появилась Катишь, вся блѣдная, какъ призракъ.

— Они убѣжали... все цѣло... имъ не удалось взять ничего...—успѣла я только разслышать ея трепещущій голосъ и безшумно рухнула безъ чувствъ на руки моей дорогой Катишь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I.

Красное зданіе и синія дамы.—Прощаніе.

ЯСНЫЙ мартовскій день клонился къ вечеру, когда мы всѣ четверо—я, папа, тетя Лиза и моя милая Катишь—подъѣхали въ каретѣ къ большому красному зданію на Знаменской улицѣ.

— Это и есть институтъ? — тревожно спросила я моихъ спутниковъ.

Тетя Лиза только головой кивнула въ отвѣтъ. Я замѣтила, что слезы стояли у нея на глазахъ.

На подъѣздъ выскочилъ швейцаръ въ нарядной красной ливреѣ и закивалъ, и заулыбался при видѣ папы.

— Ваше высокородіе барышню къ намъ въ институтъ привезли?—любезно освѣдомился онъ.

— Да, да, милый! Можно видѣть начальницу? — спросилъ папа.

— Пожалуйте, — почтительно отвѣтилъ швейцаръ, снимая съ меня шубку и калоши,—баронесса находятся въ пріемной. Я сейчасъ васъ проведу туда.

Мой отецъ, тетя и я послѣдовали за нимъ.

Посреди большой зеленой комнаты, съ двумя роялями у стѣнъ и портретомъ императора Павла на стѣнѣ, сидѣли за столомъ двѣ сѣдыя дамы въ синихъ платьяхъ. Одна изъ нихъ была очень высокаго роста и величественной осанки. У нея было красивое, но нѣсколько гордое лицо и большіе голубые глаза на выкатѣ. Другая была подвижная, маленькая старушка съ быстрыми бѣгающими глазами, юркая и чрезвычайно симпатичная на видъ.

— Это начальница института, баронесса Русенъ, или maman, какъ ее называютъ институтки,—быстро шепнула Катишь, наклонившись къ моему уху и указывая глазами на высокую даму. — А вотъ эта рядомъ съ ней,—прибавила она,—это инспектрисса, m-lle Ролингъ. Сдѣлай реверансъ, Лидюша.

Я повиновалась.

Высокая, величественная дама привстала со своего мѣста и протянула руку моему отцу.

— Здравствуйте, капитанъ. Привезли дѣвочку? Въ добрый часъ!—проговорила она и улыбнулась.

Улыбка удивительно мѣняла ея лицо и, озаренное ею, оно казалось обворожительнымъ.

— Ну, дѣвочка, рада ты поступить къ намъ? — трепля меня по щечкѣ, спросила начальница.

— Ахъ, нѣтъ! — вскричала я самымъ искреннимъ тономъ, съ тоскою поводя глазами вокругъ себя.

Брови баронессы нахмурились.

— Вотъ какъ! Очень жаль!.. Институтъ можетъ принести тебѣ пользу,—произнесла она холодно.

— Она еще очень мала!—произнесъ папа и голосъ у него дрогнулъ.

Мнѣ показалось, что папа былъ очень сконфуженъ моимъ поступкомъ.

— Привыкнетъ, поймётъ свою пользу и оцѣнитъ институтское воспитаніе,—прибавилъ онъ.

— Она, кажется, очень избалована у васъ,—произнесла начальница, съ снисходительной улыбкой глядя на мое, раздраженное ея словами, лицо.

— Одна дочь, что подѣлаешь, баронесса!—съ виноватымъ видомъ отвѣтилъ папа.

Мнѣ сдѣлалось досадно на него.

«Точно извиняется»,—мысленно разсуждала я, и уже совсѣмъ непріязненными глазами взглянула на начальницу. Но та точно и не замѣчаетъ моего взгляда.

— M-lle Ролингъ,—произнесла она, обращаясь къ своей помощницѣ,—потрудитесь позвать сюда m-lle Рабе. Дѣвочка поступаетъ къ ней въ классъ.

— Сію минуту, баронесса,—отвѣтила та и съ самымъ почтительнымъ поклономъ удалилась.

Баронесса Русенъ между тѣмъ стала разспрашивать тетю Лизу и Катишь по какимъ предметамъ и какъ меня подготовляли и почему не привезли раньше. Едва только успѣла тетя сообщить баронессѣ Русенъ, что я

слишкомъ впечатлительна и нервна и что надо было поэтому подлѣчить меня дома подольше, какъ дверь торопливо распахнулась и на порогѣ показалась блѣдная, чуть-чуть сутуловатая брюнетка, средняго роста, съ прищуренными глазами водянисто-зеленаго цвѣта, съ крупнымъ, насмѣшливо сложеннымъ ртомъ, горбатымъ носомъ и яркими пятнами чахоточнаго румянца на щекахъ.

Она поклонилась начальницѣ и, быстро подойдя къ тетѣ Лизѣ, сильно тряхнула ея руку, при чемъ многочисленные браслеты на ея собственной рукѣ издали звонкій, продолжительный звукъ.

— Добро пожаловать!—произнесла она улыбаясь.

Потомъ быстро нагнулась ко мнѣ, заглянула мнѣ въ лицо и сказала:

— А, здравствуй, Воронская!

Воронская!.. Точно что обухомъ ударило меня по головѣ. Въ первый разъ меня назвали такъ. До этихъ поръ никто не называлъ меня по фамиліи. Дома ко мнѣ обращались разно: кто называлъ меня «Лидюша», кто «Лидокъ», «Лидка», «Лидочка», Лидюшка», «Лидюкъ», «Леденчикъ»—но фамиліи своей я никогда не слыхала! И вдругъ—«Воронская!»

Что-то больно сжало мнѣ сердце. Я вскинула умоляющими глазами на отца. Неужели онъ не поправитъ классную даму и не прикажетъ ей называть меня иначе. Но—увы!—власть моего отца, на котораго я всегда смо-

трѣла, какъ на всемогущаго распорядителя нашего маленькаго домашняго царства, очевидно, окончательно приканчивалась въ этихъ красныхъ стѣнахъ...

Поймавъ мой тревожный взглядъ, папа только улыбнулся, а затѣмъ сказалъ:

— Ну, намъ пора, Лидюша. А ты иди, познакомься съ подругами. Это тебя развлечетъ. Я заѣду къ тебѣ завтра вечеромъ... если баронесса позволитъ,—прибавилъ онъ поспѣшно съ легкимъ поклономъ въ сторону начальницы.

И опять мнѣ стало обидно на «солнышко»: спрашиваетъ разрѣшеніе навѣстить собственную дочку!..

Баронесса между тѣмъ кивкомъ головы дала свое согласіе, а мнѣ велѣла проститься со своими.

Я вздрогнула, точно не ожидала, что можетъ наступить минута, когда придется прощаться..

Какое-то странное, непонятное, никогда раньше не испытанное чувство охватило меня...

Если-бъ я заплакала въ эту минуту, то мнѣ стало-бы легче. Но точно колючіе тиски сжали мнѣ горло, и ни одна слезинка не выкатилась изъ моихъ глазъ.

И съ «солнышкомъ» творилось что-то неладное. Лицо его замѣтно поблѣднѣло, а вѣки разомъ какъ-то вздулись и покраснѣли...

Тетя Лиза первая бросилась ко мнѣ, обвила мою голову обѣими руками, прижала ее къ груди и глухо зарыдала.

Тщетно старалась она успокоиться. Ея сдержанное рыданіе становилось все громче и громче, изъ глазъ полились слезы.

М-lle Рабе (такъ звали классную даму, которая явилась въ пріемную по приглашенію баронессы) осторожно отвела отъ меня тетю и, посадивъ въ кресло, стала утѣшать. Я въ это время молча подошла къ «солнышку».

— Христосъ съ тобой, дѣвочка!—прошепталъ онъ, перекрестивъ меня трясущейся рукою.—Храни тебя на радость твоему папкѣ!. И... и не забывай меня, Лидюша... Не забывай твоего папу, дитя!..

Послѣднія слова онъ произнесъ чуть слышно.

Съ растерзаннымъ сердцемъ упала я въ его объятія, но, по-прежнему, ни единая слезинка не омочила моего нервно подергивающагося лица. Но зато мое бѣдное, стиснутое со всѣхъ сторонъ клещами, сердце, что испытало оно?...

М-lle Рабе снова подошла къ намъ, взяла меня за руку и подвела къ баронессѣ.

Та перекрестила меня и проговорила:

— Съ Богомъ!

Я снова кинулась-было къ папѣ. Но онъ только махнулъ рукою и, поддерживая шашку, вышелъ изъ пріемной, прикрывая пальцами глаза. Тетя тихо всхлипывала въ креслѣ. Я метнулась-было къ ней, но рука m-lle Рабе удержала меня, и я была принуждена слѣдовать за нею къ дверямъ.

Катишь бросилась за нами, крича:

— А со мною-то! Со мною-то и забыла проститься, Лидюша!

Но я ужъ ничего не слышала больше. Въ ушахъ стоялъ непрерывный звонъ. Голова трещала... Мнѣ казалось, точно какая-то свинцовая глыба давитъ, душитъ меня.

ГЛАВА II.

Первая стычка.—Оля Петрушевичъ.

ДЗИНЬ! дзинь! дзинь! — прозвучалъ невидимый колокольчикъ, когда я вышла изъ пріемной начальницы въ коридоръ.

— Это звонокъ къ обѣду! — произнесла моя спутница.—Мы сейчасъ пойдемъ въ столовую, гдѣ соберется весь институтъ.

Безконечный темный коридоръ съ дюжиной газовыхъ рожковъ представился моему воображенію какой-то таинственной древней подземной гробницей.

— Это нижній коридоръ,—поясняла мнѣ m-lle Рабе.—Вонъ, сзади, лазаретъ и квартира maman. Дальше номера для музыкальныхъ упражненій, гардеробная, бѣльевая и комнаты музыкальныхъ дамъ... А вотъ и столовая,—заключила моя спутница и ввела меня въ огромную длинную комнату съ безчисленными столами, поставленными въ два ряда и образующими широкій проходъ между ними.

— Сейчасъ сюда соберутся всѣ наши,—пояснила мнѣ опять m-lle Рабе.

Не успѣла она договорить своей фразы, какъ на порогѣ столовой появилась барышня въ сѣромъ платьѣ и черномъ передникѣ, ведя за руку двухъ малюсенькихъ дѣвочекъ въ зеленыхъ платьяхъ съ бѣлыми передниками. За этими тремя фигурами замелькали другія зелено-бѣлыя фигурки, ровно выстроенныя въ рядъ, настолько ровно, что всѣ многочисленныя пары казались одной прямой зелено-бѣлой лентой. Сначала шли маленькія дѣвочки, потомъ—ростомъ побольше, дальше—еще выше и, наконецъ, самыя высокія замыкали шествіе.

— Это твой классъ,—проговорила m-lle Рабе, указывая мнѣ на дѣвочекъ седьмого класса,—а эта барышня въ сѣромъ—наша пепиньерка. Пепиньерками,—прибавила она,—мы называемъ старшихъ воспитанницъ, которыя готовятся въ наставницы и которыя у насъ наблюдаютъ за младшими институтками... Сдѣлай реверансъ пепиньеркѣ.

Я повиновалась.

Дѣвочки подошли къ столамъ и быстро разсѣялись по своимъ мѣстамъ. Ихъ было болѣе сорока и всѣ онѣ показались мнѣ на одно лицо.

Никто изъ нихъ не обратилъ на меня особаго вниманія, по крайней мѣрѣ, какъ мнѣ казалось. Что-же касается меня, то я не сводила глазъ со всѣхъ этихъ черненькихъ и бѣлокурыхъ дѣвочекъ, съ бѣлыми

фартучками и смѣшными полотняными трубочками вмѣсто рукавовъ или же съ очень коротенькими рукавами.

— Воронская! — послышался надо мною знакомый голосъ m-lle Рабе,—закрой ротъ! Ворона влетитъ! Это дурная привычка разѣвать ротъ такимъ образомъ.

Я страшно сконфузилась и взглянула на классную даму: ея глаза насмѣшливо сверкали, а крупный ротъ улыбался снисходительной усмѣшкой.

Кто-то хихикнулъ позади меня. Я быстро оглянулась. Красавица-дѣвочка съ карими глазами и бѣлокурыми, цвѣта льна, пушистыми волосами кривила свои тонкія недобрыя губки, всѣми силами стараясь удержать смѣхъ.

При видѣ насмѣшливаго лица маленькой красавицы я вспыхнула вдвое, но не отъ смущенія, нѣтъ. Злость разбирала меня: какъ могла эта маленькая и, навѣрное, глупая дѣвчонка издѣваться надо мною?

Я пристально взглянула на бѣлокурую красавицу и вдругъ замѣтила, что ротъ у нея кривится поминутно и что это у нея, очевидно, одна изъ дурныхъ привычекъ. Забывъ въ эту минуту только-что пережитую тяжелую сцену прощанья съ папой и рѣзкое замѣчаніе классной дамы, я быстро подошла почти вплотную къ все еще насмѣшливо улыбающейся дѣвочкѣ, высоко подняла голову и, дерзко глядя ей въ лицо, произнесла громко:

— Нечего надо мною смѣяться. Сами-то хороши! Криворотый херувимчикъ и больше ничего...

— Нечего надо мною смѣяться. Сами то хороши...

Дѣвочка даже въ лицѣ измѣнилась и подскочила на мѣстѣ.

М-lle Рабе подошла въ это время къ сосѣднему столу. Я находилась у крайняго, ближайшаго къ буфетной, и она не могла слышать моей фразы. Зато дѣвочки всѣ, какъ по командѣ, повернули головы въ мою сторону.

— Какъ тебѣ не стыдно задирать?—произнесла одна изъ нихъ, блѣдная, довольно плотная брюнетка съ очень симпатичнымъ серьезнымъ лицомъ.—А еще новенькая!

— Это не твое дѣло!—произнесла я запальчиво.—Вотъ она (тутъ я ткнула указательнымъ пальцемъ въ бѣлокурую красавицу) меня первая задрала, а я только отвѣтила.

— Грубо отвѣтила! Вотъ что! Плохо тебя дома воспитывали! Да!—улегшись съ локтями на столѣ, громкимъ шопотомъ говорила рослая полная дѣвочка съ лицомъ отъявленной шалуньи и вздернутымъ носомъ.—Кто тебя воспитывалъ? Вѣрно солдатъ какой-нибудь или денщикъ...

— Не смѣй говорить такъ!—не помня себя и стуча кулакомъ по столу вскричала я внѣ себя отъ злости.—Меня «солнышко» воспитывалъ. А «солнышко» не можетъ худо воспитывать. Поняли! Онъ умнѣе всѣхъ въ мірѣ...

— Кто? Кто?—такъ и покатились со смѣху дѣвочки.

— Батюшки!—кричала сидѣвшая напротивъ толстая дѣвочка съ вздернутымъ носомъ,—да она совсѣмъ порченая, душки! Что говоритъ-то! Солнышко ее воспитало! Будетъ солнце воспитывать такую глупую, такую невѣжу-дѣвчонку.

— Солнышко, не солнце!—ничего не понимая, кричала въ свою очередь я.—Солнышко—это мой папа, папа-Алеша! Ну, поняли, наконецъ?

Но тутъ хохотъ сразу усилился.

— Она отца своего по имени называетъ! Слышали вы это?—неслось съ одного конца стола на другой.

— Да это дикарка какая-то!

— Навѣрно изъ племени зулусовъ...

— Ей надо серьгу черезъ носъ продѣть...

— Какъ она смѣетъ нападать на нашу Колибреньку!..

— Зина, Зиночка, Дорина! Не обращай, душка, вниманія на нее!—бросились сразу нѣсколько дѣвочекъ къ бѣлокурой красавицѣ, которую я въ припадкѣ злости назвала криворотымъ херувимчикомъ.

Пепиньерка въ сѣромъ платьѣ и черномъ фартукѣ, услыша шумъ, быстро вскочила со своего мѣста на первомъ столѣ и подбѣжала къ тому концу, гдѣ мы сидѣли.

— Что за шумъ? что такое?

— Да вонъ новенькая обижаетъ Колибри,—бойко отвѣчала толстая дѣвочка, вздергивая кверху свой и безъ того глядѣвшій въ небо носъ.

— Дорину обижаетъ... Да неужели? Новенькая Дорину обижаетъ?!—такъ и всколыхнулась та.—А ты чего смотришь, Лида?—обратилась она къ серьезной темноглазой дѣвочкѣ.—Лучшая ученица, ей довѣряютъ столъ, а она Богъ знаетъ какъ слѣдитъ за этимъ! Стыдно вамъ, моя милая!

— M-lle Комисарова, дуся, не сердитесь. Мишка не виновата! — вскричала русая дѣвочка съ коротко остриженными волосами, которую, какъ я узнала впослѣдствіи, звали Милой Рантъ, прозвали же Стрекозой за ея веселость и шалости.—Мишенька смотрѣла, но она не могла же зажать ротъ нахальной...—и сѣрые глаза впились въ меня съ злымъ негодованіемъ.

— Такъ вотъ ты какая! — значительно протянула пепиньерка, сердито глядя на меня злыми глазами.—Не успѣла еще перезнакомиться, а уже стала обижать другихъ!.. А я-то вообразила, что ты самая милая дѣвочка на свѣтѣ!.. Изволь сейчасъ же сидѣть смирно!..—прикрикнула она на меня и топнула ногою, при чемъ маленькое птичье лицо ея сдѣлалось красное-раскрасное и глаза смѣшно округлились.

«Злючка какая!»—мысленно произнесла я, стараясь не смотрѣть на сердитое лицо пепиньерки.

Между тѣмъ столовая понемногу наполнилась безчисленнымъ количествомъ зелено-бѣлыхъ дѣвочекъ всѣхъ возрастовъ, начиная съ десяти лѣтъ и кончая девятнадцатью.

За крайними къ выходу столами усѣлись сѣрыя барышни въ черныхъ фартукахъ въ родѣ нашей пепиньерки.

Тамъ было шумно и весело. Пепиньерки держали себя вообще далеко не такъ чинно, какъ младшія, и довольно громко разговаривали между собою.

Впрочемъ, шумѣли одинаково всѣ—и большія, и маленькія, и смутный гулъ отъ трехсотъ голосовъ стоялъ подъ сводами длинной огромной комнаты. Отъ этого шума, напоминающаго собою пчелиное жужжанье, у меня голова начинала кружиться и болѣть.

Съ ближайшихъ столовъ, предназначенныхъ шестому и пятому классу, къ намъ поминутно долетали фразы:

— У седьмушекъ новенькая.

— И какая бойкая!

— Хорошенькая дѣвочка...

— Нѣтъ, дурнушка...

— Неправда—дуся! Блѣднушка только...

— Ахъ, много ты понимаешь, Македонская.

— Уродъ какой-то!

— Неправда—душка!

— Нѣтъ, уродъ!

— Сама ты уродъ!

— Прелестно!.. Я m-lle пожалуюсь.

— Ябедница, фискалка!

Эти фразы достигали моихъ ушей, и я не знала

куда дѣть глаза и отъ похвалъ, и отъ порицаній, и потому была рада-радехонька, когда одна изъ воспитанницъ V класса стала читать предъобѣденную молитву, а старшія повторили ее хоромъ и вслѣдъ затѣмъ въ столовой зазвенѣли тарелки. Дѣвушки-служанки въ полосатыхъ платьяхъ разнесли дымящіяся миски и крайняя изъ дѣвочекъ стала разливать супъ по тарелкамъ своихъ сосѣдокъ.

Я не дотронулась ни до супа, ни до второго, ни до сладкаго.

Когда подали послѣднее, подлѣ меня раздался умильный голосокъ:

— Ты навѣрное не будешь ѣсть пирожнаго, новенькая, отдай его мнѣ.

Я быстро вскинула глазами на говорившую. Это была та самая толстушка, которая смѣялась надъ тѣмъ, что меня «солнышко воспитало». Она смотрѣла теперь на меня смущенными и въ то же время просящими глазами.

Я уже протянула руку къ тарелкѣ, чтобы передать ее дѣвочкѣ вмѣстѣ съ горячей пышкой, облитой вареньемъ, какъ неожиданно чья-то рука быстро вцѣпилась мнѣ въ руку.

— Не смѣй дѣлать этого!—вскричалъ подлѣ меня звучный голосъ.

Быстро взглянувъ по тому направленію, откуда слышался этотъ голосъ, я увидѣла смуглую, тоненькую,

какъ былинка, дѣвочку, съ смѣлыми черными глазами, чуть-чуть вздернутымъ носомъ и короткой заячьей губой надъ бѣлыми, острыми, какъ у мышонка, зубами.

Ее такъ и звали «Мышкой», какъ я узнала впослѣдствіи, эту черноглазую и подвижную, какъ ртуть, быструю Олю Петрушевичъ.

— Не смѣй отдавать своей порціи этимъ дѣвчонкамъ! — произнесла она своимъ смѣлымъ, необычайно звучнымъ голоскомъ.—Гадость какая!—вся пылая румянцемъ и сверкая разгорѣвшимися глазами, вскричала она, обращаясь къ окружающимъ ее за столомъ дѣвочкамъ,—нападать, дразнить, ябедничать, а потомъ къ ней же лѣзть съ клянченьемъ «дай пирожнаго!» Срамъ! Ты классъ свой срамишь, Мендель,—прибавила она, обращаясь къ моей сосѣдкѣ, просившей у меня сладкое. Стыдись!

И она обдала такимъ негодующимъ, такимъ презрительнымъ взглядомъ толстячку, что мнѣ вчуже стало совѣстно за нее.

На минуту за столомъ воцарилось молчаніе.

Потомъ чей-то ироническій голосъ произнесъ:

— Мышка выступаетъ въ роли защитницы угнетенныхъ. Очень похвально!

Это говорила Колибри, немилосердно кривя свой хорошенькій ротъ.

— Лучше быть защитникомъ, нежели командиромъ надъ тѣми, кто не имѣетъ силы воли не подчиняться тебѣ!—гордо отвѣтила черноглазая дѣвочка.

Зина Дорина — она-же Колибри — позеленѣла отъ злости. Она немилосердно еще разъ скривила ротъ и хотѣла отвѣтить что-то, но въ эту минуту задребезжалъ колокольчикъ. Воспитанница «пятушка» прочла послѣобѣденную молитву. Старшія пропѣли ее хоромъ, и мы, быстро выстроившись въ пары, двинулись къ выходу изъ столовой.

Подлѣ меня шла черноглазая дѣвочка, пристыдившая за столомъ остальныхъ.

ГЛАВА III.

Первый вечеръ въ неволѣ.—Нѣмецкія спряженія.—Въ дортуарѣ.

ВЫСОКАЯ, безконечно высокая лѣстница. Сумрачный, длинный коридоръ, по обѣ стороны котораго тянутся классы.

Мы въ классѣ. Огромная, свѣтлая комната, съ безчисленными партами и каѳедрой по срединѣ. На стѣнѣ развѣшаны географическія карты; въ двухъ углахъ четыре классныя доски на мольбертахъ. Въ простѣнкѣ между окнами столикъ классной дамы, а у дальней стѣны огромный шкапъ, длинный и низкій, гдѣ хранятся платки, калоши и шарфы, которые воспитанницы надѣваютъ во время гулянія по институтскому саду. Въ этомъ же шкапу—также и гостинцы, и домашняя провизія, которую дѣвочкамъ приносятъ родные.

Все это я увидала сразу, когда перешагнула черезъ порогъ стеклянной двери, отдѣляющей отъ коридора седьмой классъ.

Лишь только мы вошли туда, m-lle Рабе поднялась на каѳедру и произнесла, обращаясь къ классу:

— Не шумите, дѣти. Я и m-lle Комисарова должны идти съ вечернимъ рапортомъ къ maman. Будьте умницами и готовьте ваши уроки. Кстати, объясните новенькой, что задано на завтра.

И кивнувъ намъ головой, она, въ сопровожденіи пепиньерки, вышла изъ класса.

Едва обѣ онѣ исчезли за дверью, невообразимый шумъ поднялся въ классѣ.

Меня окружили со всѣхъ сторонъ до сорока дѣвочекъ, живыхъ, шумливыхъ, бѣлокурыхъ, черненькихъ и русыхъ, хорошенькихъ и дурнушекъ, разнаго возраста и разнаго типа.

— Дикарка! Дикарка! — кричала одна изъ нихъ, — откуда явилась, изъ Австраліи или Америки?

— Оставь ее, Додошка, она укуситъ. Видишь, ужъ и зубы выставила.

— Не укуси насъ, пожалуйста, Воронская!—и русая кудрявая головка Милы Рантъ наклонилась къ самому моему лицу.

Меня неудержимо тянуло броситься на задорную дѣвчонку, выцарапать ей глаза или вцѣпиться зубами въ это бѣлое, блѣдное личико съ смѣющимися глазами.

Я силою сдержала себя, до боли стиснувъ пальцы и, нервно похрустывая ими, оглядывалась кругомъ съ безпомощнымъ видомъ затравленнаго звѣрька.

— Ай! Ай! Ай! Вотъ злючка-то...—подскочила съ другой стороны толстенькая, какъ кубышка, дѣвочка, очень маленькаго роста, по прозвищу Додошка, а по фамиліи Дуня Даурская.—Mesdam'очки, берегитесь! Она сейчасъ бросаться начнетъ. Ворона противная! Недаромъ и фамилія-то такая: Воронская. Отъ вороны происходитъ. Ротъ большой, глаза злющіе... по шерсти и кличка.

— Ворона, и правда ворона!—запищали, закричали и завизжали кругомъ меня.

— Ворона! Ворона! Дикарка! Кусака! Злючка!—кричали на тысячу ладовъ и голосовъ вокругъ меня дѣвочки. Но громче всѣхъ раздавался голосъ Колибри, которая, очевидно, возненавидѣла меня всей душой.

Крики были въ самомъ разгарѣ, когда внезапно передъ нами, какъ изъ-подъ земли, выросли двѣ дѣвочки: одна уже знакомая мнѣ Оля Петрушевичъ, другая—очень красивая, изящная, рыже-красная стройная дѣвочка, съ точенымъ носикомъ и большими карими на выкатѣ глазами. Во внѣшности ея было что-то аристократическое, начиная съ гордаго, точенаго личика и кончая крохотной ручонкой необычайной красоты, которой, судя по отточеннымъ ногтямъ, она тщательно занималась.

Рыжая дѣвочка вмѣстѣ съ Ольгою Петрушевичъ съ трудомъ протискалась въ кругъ, встала подлѣ меня и, обведя классъ презрительнымъ взглядомъ, произнесла, безупречно выговаривая слова съ чистѣйшимъ парижскимъ акцентомъ:

— Ayez donc honte, mesdemoiselles, de taquiner la petite. Il vous manque à c'est qui parait du coeur et de pitié *)!

— О! О! француженка зафранцузила!

— Ваше сіятельство, сподобили насъ грѣшныхъ!— ломаясь и кривляясь, подскочила къ ней толстушка Мендель, прозванная ея подругами Мендельшей.

— Какая пошлость! — повела плечами рыжая дѣвочка.—Съ тобой (тутъ она ткнула своимъ холенымъ изящнымъ пальчикомъ по направленію Мендель) я и разговаривать не хочу. Ты слишкомъ пуста и ничтожна. Но ты, Рантъ, и ты, Дорина, и вы, всѣ прочія, стыдитесь! Ольга, пойдемъ! — рѣзко позвала она свою подругу.

— Ваше сіятельство, великолѣпная княжна Голицына, свѣтлѣйшая графиня Остерманъ, не извольте лишать насъ вашего чудеснаго общества! Не повергните насъ во тьму кромѣшную, гдѣ будетъ плачъ и скрежетъ зубовный!—пищала кудрявая Рантъ, низко склонясь передъ рыжей дѣвочкой.

---

*) Стыдитесь, барышни, обижать маленькую. У васъ недостаетъ сердечности и состраданія.

— Француженка изъ Митавы!—закричала до сихъ поръ молчавшая Колибри.

Княжна Голицына быстро обернулась.

На ея матово-блѣдныхъ щекахъ вспыхнулъ яркій румянецъ.

— Молчи!—произнесла она внушительно и вѣско, ни на іоту не повышая, однако, своего звучнаго голоса.—Ты забыла, Дорина, кто я и кто ты! Имя моего прапрадѣда извѣстно всему міру за его заслуги передъ Россіей, а кѣмъ были твои предки—покрыто мракомъ неизвѣстности.

— Гордячка! противная! — зашипѣла Дорина ей вслѣдъ и все ея лицо перекосило отъ злости.

Княжна только плечами повела, вполнѣ игнорируя ея брань.

Петрушевичъ подошла ко мнѣ и сказала:

— Слушайте, Воронская. Помните поговорку: на всякое чиханье не наздравствуешься. Пусть себѣ бранятся и шумятъ. У насъ, въ институтѣ, на каждую новенькую нападаютъ. Это ужъ такъ заведено и повторяется постоянно. Вы лучше сядьте въ уголокъ да на завтра уроки выучите. Намъ нѣмецкіе глаголы спрягать задано. Хотите, я вамъ помогу?

Я отъ души поблагодарила милую дѣвочку и охотно погрузилась въ предложенную ею мнѣ книгу спряженій.

Но глаголы мнѣ рѣшительно не давались въ этотъ вечеръ. Усталость-ли брала свое, или масса впечатлѣній,

пережитыхъ за день, давали себя чувствовать, но то, что мнѣ казалось такимъ легкимъ и простымъ на урокахъ Катишь, совсѣмъ не шло мнѣ въ голову сегодня. Я билась, мучилась, терзалась, доходя до десятаго пота. Но проклятые глаголы выучить не удавалось. M-lle Рабе и пепиньерка давно вернулись отъ начальницы. Первая сѣла на каѳедрѣ, вторая у столика, и вмигъ и столикъ, и каѳедра были окружены дѣвочками, торопившимися отвѣтить заданный на завтра урокъ.

Уже болѣе половины класса сдало злосчастные глаголы, а я все еще сидѣла надъ ними.

Наконецъ Петрушевичъ подошла ко мнѣ, предварительно взглянувъ мимоходомъ, что я дѣлаю.

— Не идетъ?—освѣдомилась она.

— Ахъ, совсѣмъ не идетъ!—отвѣчала я чистосердечно.

Тогда она подсѣла на край моей скамейки и живо пояснила мнѣ урокъ. Черезъ минутъ двадцать я успѣшно отвѣчала заученные глаголы уже у каѳедры, не обращая ни малѣйшаго вниманія на Колибри, какъ разъ стоявшую противъ и строившую мнѣ гримасы.

Въ восемь часовъ раздался звонокъ, призывающій насъ къ молитвѣ и вечернему чаю. Снова выстроились пары, снова смуглая черноглазая дѣвочка заняла свое мѣсто подлѣ меня и мы чинно двинулись въ столовую, гдѣ насъ ждала вечерняя молитва и кружки мутнаго коричневаго, отдающаго мочалой чая, съ сухой булкой.

Послѣ чая мы поднялись по «черной» лѣстницѣ въ четвертый этажъ и вошли въ «дортуаръ», какъ называлась въ институтѣ спальня.

Это была длинная комната, въ которой спали два класса, шестой и седьмой, и въ концѣ котораго находились дверь въ комнаты классныхъ дамъ и ширмы, отгораживающія отъ насъ постели дежурныхъ пепиньерокъ. Съ другой стороны къ дортуару прилегала небольшая комната, гдѣ былъ устроенъ мѣдный жолобъ для умыванья, съ дюжиной кранов. Тутъ же стояли комоды съ выдвижными ящиками, въ которыхъ дортуарныя дѣвушки устраивали себѣ на ночь постель.

Лишь только мы поднялись въ дортуаръ, m-lle Рабе подвела меня къ крайней отъ дверей кровати, застланной жидкимъ нанковымъ одѣяломъ и сказала:

— Тутъ ты будешь спать.

Я оглянулась кругомъ. Въ головахъ у меня была постель рыжей княжны-графини. Я видѣла ея изящную фигурку подлѣ кровати, спѣшно разстегивающую платье.

Рядомъ находилась кровать очень некрасивой и крайне антипатичной рябой дѣвочки, самой старшей и самой лѣнивой изъ всего класса, какъ я узнала въ тотъ-же вечеръ отъ Петрушевичъ. Фамилія ея была Беклешова, прозвище «Бабушка», такъ какъ она была самая старая изъ седьмыхъ.

Едва я успѣла оріентироваться немного, какъ чей-то насмѣшливый голосъ произнесъ:

— Что-жъ ты стоишь, сложа ручки, а? Или ты думаешь, что тебѣ постель стлать будутъ?

И Зина Дорина, пробѣгая мимо меня въ одной нижней юбочкѣ, съ мыльницей въ одной рукѣ и зубной щеткой въ другой, насмѣшливо и дерзко улыбнулась по моему адресу.

— Стели постель!—неожиданно скомандовала она и прелестное лицо ея приняло вдругъ злое, отталкивающее выраженіе.

— Зачѣмъ?—произнесла я спокойно.—Дома мнѣ стлала постель прислуга. И теперь дѣвушка постелетъ. У папы довольно денегъ и онъ будетъ платить здѣшней прислугѣ, чтобы она служила мнѣ.

— Ты совсѣмъ глупая, я вижу, Воронская,—расхохоталась Колибри,—никто даже за деньги и не притронется къ твоей постели, можешь быть увѣрена въ этомъ...

— Ты сама глупая,—произнесла я, съ ненавистью глядя въ ея красивое лицо.

— Не смѣй меня называть такъ!—вспыхнула она.

— И ты тоже не смѣй! Тогда и я не буду. Сама глупая, а...

— Кто? я? Я глупая? Ты опять! Mesdam'очки!—плаксивымъ голосомъ обратилась она къ классу,—слышите, какъ она обижаетъ меня?

— Кто? новенькая? Да какъ ты смѣешь!—внезапно окруживъ меня со всѣхъ сторонъ, напали на меня дѣвочки.

— Ахъ, ты, ворона!

— Вотъ, постой, мы проучимъ тебя.

— Гордячка!

— Злючка!

— Вороненокъ ощипанный!

Такъ кричали онѣ, прыгая и вертясь вокругъ меня.

Онѣ успѣли уже снять съ себя форменныя платья и бѣлыя пелеринки и теперь были въ холстинковыхъ юбкахъ, кофтахъ и чепчикахъ-колпачкахъ, завязанныхъ тесемками на темени

Онѣ скакали, прыгали, приговаривая:

— Злючка этакая! Гордячка! Заиньку выдумала обижать! Вотъ еще!

Я заткнула уши, зажмурила глаза и бросилась лицомъ въ подушку, чтобы не слышать и не видѣть моихъ маленькихъ враговъ.

Къ несчастью, Петрушевичъ и Голицына были далеко на этотъ разъ и не могли защитить меня, какъ въ классѣ.

Долго-ли, коротко-ли пролежала я такъ, зарывшись съ головой въ подушку, какъ вдругъ почувствовала чье-то прикосновеніе къ моему плечу. Я дернула плечомъ, чтобы освободиться, въ полной увѣренности, что это одна изъ моихъ мучительницъ трогаетъ меня. Но въ ту же минуту строгій голосъ раздался надъ моимъ ухомъ:

— Это еще что за новости? Валяться въ платьѣ на постели! Сейчасъ же подняться! Сію минуту!

И предо мною предстало строгое лицо и насмѣшливые глаза m-lle Рабе.

Пепиньерка Комисарова стояла за ней и, покачивая головой, говорила:

— Сейчасъ видно избалованную дѣвчонку. Этакая капризница, право!..

— Дуся mademoiselle! Она и постели стлать не хочетъ!—раздался сладенькій голосъ Колибри,—она говоритъ, что ей дѣвушка стлать будетъ и что у ея папы хватитъ денегъ заплатить за это.

— Какой вздоръ!—вспыхнувъ произнесла m-lle Рабе,—сейчасъ же изволь стлать постель. Слышишь? У насъ въ институтѣ заведено, что воспитанницы сами должны стлать свою постель. Понимаешь?

Нечего дѣлать—пришлось покориться. Недовольная, надутая и сконфуженная немало, я принялась за мое новое непривычное занятіе, стараясь не встрѣчаться съ насмѣшливыми лицами моихъ враговъ.

— Ну, вотъ и отлично!—нѣсколько смягчась, произнесла m-lle Рабе,—а говоришь, что не умѣешь...

И потомъ, минуту спустя, она положила мнѣ на плечо свою, звенящую браслетами и портъ-бонерами, руку и проговорила:

— Помни, Воронская, тутъ всѣ равны и никто не смѣетъ отклоняться отъ тѣхъ обязанностей, которыя назначены для всѣхъ воспитанницъ.

Затѣмъ, отвернувшись отъ меня, она захлопала въ ладоши и закричала.

— Schlafen, Kinder, schlafen! (спать, дѣти, спать).

Всѣ сорокъ дѣвочекъ уже лежали въ своихъ постеляхъ. Отдѣленіе дортуара шестыхъ—нашихъ сосѣдокъ—послѣдовало ихъ примѣру. Дѣвушка-служанка спустила газъ въ рожкѣ. И скоро дортуаръ погрузился въ полутьму.

ГЛАВА IV.

Мечты о домѣ.—Я рѣшаюсь бѣжать.—Волшебница.

НОЧНИКЪ слабо освѣщаетъ длинную казарменнаго типа комнату съ четырьмя рядами кроватей. Всѣ давно спятъ, и наши, и шестыя. Гробовая тишина стоитъ въ дортуарѣ. Только изрѣдка слышится вырвавшійся случайно вздохъ изъ груди какой-нибудь сонной дѣвочки или невнятный бредъ прерываетъ на мгновенье жуткую, давящую тишину ночи. Въ полумракѣ дортуара чуть бѣлѣютъ бѣлыми пятнами постели и легкія тѣни скользятъ по стѣнамъ, поднимаются призраками къ потолку спальни и колеблются отъ слабаго пламени ночника. На душѣ у меня грустно и больно. Такъ грустно и больно, такая гнетущая тоска въ ней, что я рѣшительно задыхаюсь подъ ея бременемъ. Ужасная тоска. Не того я ждала отъ института!

Мнѣ казалось, что тамъ меня встрѣтятъ съ распро-

стертыми объятіями. Лида Воронская, любимица, баловница семьи и окружающихъ, Лида Воронская, маленькая принцесса, божокъ «солнышка», кумиръ тетокъ: Лизы, Оли, Лины и Уляши, Лида Воронская — прелестное, шаловливое, изнѣженное ласками и заботами дитя, которому всѣ всегда и во всѣмъ старались угодить и вдругъ такая встрѣча!

М-lle Рабе и та обошлась со мною какъ-то холодно и сурово, хотя она моей милой Катишь обѣщала заботиться обо мнѣ. А эта Комисарова, у которой такое злое птичье лицо и эти шалуньи-дѣвчонки, эта противная, несмотря на всю ея красоту, Колибри, и Мендельша, и Рантъ, и Додошка... Одна только Петрушевичъ со своей рыжей княжной заступилась. Да и то только въ классѣ, а тутъ ей и горя мало... Нѣтъ, всѣ онѣ злыя, гадкія, противныя!.. Ненавижу ихъ всѣхъ, ненавижу! Ахъ, зачѣмъ, зачѣмъ «солнышко» отдалъ меня въ институтъ? Господи! какъ хорошо, какъ чудно было съ нимъ! Милая дача въ Царскомъ Селѣ, милый нашъ садикъ... милые гиганты и прудъ! А мои рыцари, Коля и Гриша!.. А Леля, дорогая моя подружка!.. И Вова, разбойникъ Вова, котораго, несмотря на ссоры, я такъ любила! Какъ онъ ласково простился со мною...

И, вспомнивъ наше прощанье, я уткнулась въ подушку и глухо, беззвучно зарыдала.

«Папочка!—разрываясь на части, выстукивало мое истерзанное сердце, — милый мой, родной мой! «Сол-

нышко» ты! Зачѣмъ ты меня отдалъ сюда? Зачѣмъ отдалъ? Зачѣмъ? Зачѣмъ?.. Ты вѣрно не любишь меня больше, «солнышко»?.. Да, да, не любишь, не любишь!.. Иначе бы не допустилъ, чтобы такъ обижали, такъ мучили меня!»

При одной мысли о томъ, что отецъ меня не любитъ больше, сердце мое разомъ озлобилось, окаменѣло. Первый разъ въ жизни я почувствовала жгучую обиду на отца.

«Отдалъ, бросилъ, заперъ въ эту противную тюрьму— и горя ему мало! — мысленно растравляла я свое накипѣвшее сердце.—Ну, и хорошо, пусть разлюбилъ, пусть бросилъ, пусть заперъ, а я убѣгу... Къ моимъ тетечкамъ убѣгу, къ тѣмъ, которыя живутъ въ Петербургѣ, на Николаевской улицѣ... Сейчасъ убѣгу... Онѣ всѣ не спятъ навѣрное, а сидятъ въ столовой вокругъ стола. Самоваръ потухъ давно, а имъ и сонъ не идетъ на умъ! О Лидюшѣ говорятъ, вѣрно. Жалѣютъ ее... «Бѣдная Лидюша! заперли ее въ институтъ»... А я тутъ какъ тутъ, на порогѣ: — «А, вотъ и я!» Воображаю, сколько радости будетъ, счастья, слезъ! Непремѣнно убѣгу сейчасъ-же, сію минуту!»

И, недолго думая, я быстро поднимаюсь съ постели, дрожащими руками натягиваю на себя чулки, ботинки и накидываю мое собственное матросское платьице. Но найду ли я дорогу? Да, да, найду! Я хорошо ее запомнила. Только надо непремѣнно достать шубку и ка-

лоши, онѣ въ швейцарской. Во что-бы то ни стало надо проскользнуть туда и упросить краснаго швейцара, что-бы онъ отпустилъ меня. Я отдамъ ему мой браслетъ, портъ-бонеръ и цѣпочку съ креста, чтобы только выпустилъ меня. Я скажу ему, что не могу жить со злыми дѣвчонками въ этой гадкой, красной тюрьмѣ, гдѣ все такъ противно и ненавистно. Ужасно ненавистно! Да!..

Зубы у меня стучатъ; все тѣло охватываетъ нервная дрожь возбужденія; плохо застегнутыя ботинки того и гляди свалятся съ ногъ.

Я поспѣшно перебѣгаю короткое пространство отъ моей постели до дверей умывальной. Дѣвушки-служанки спокойно храпятъ въ своихъ выдвижныхъ ящикахъ-постеляхъ. Отблескъ газоваго рожка играетъ на мѣдныхъ кранахъ и они отливаютъ червоннымъ золотомъ.

Быстро мелькаютъ мои маленькія ноги мимо мѣдныхъ крановъ и спящихъ дѣвушекъ. Дверь тихо, чуть слышно скрипитъ и... я въ коридорѣ. Длинный-предлинный коридоръ, заканчивающійся огромнымъ окномъ съ одной стороны и чернымъ зіяющимъ, какъ яма, пространствомъ съ другой... Прямо передо мною дверь въ дортуаръ первыхъ (старшихъ) и стеклянная дверь на черную лѣстницу.

Я бросаюсь къ двери,—толкаю ее. Она не поддается. Снова толкаю—и снова не поддается. Увы! дверь заперта.

Тогда быстро, быстро, чтобы не терять драгоцѣннаго времени, бросаюсь я влѣво, прямо въ черное про-

странство, смутно припоминая, что тамъ находится парадная лѣстница съ ходомъ въ швейцарскую. Съ безумно вытаращенными глазами, въ одной ботинкѣ (другая упала съ ноги), несусь я прямо на лѣстницу. На верхней площадкѣ ея находится церковная паперть. Я лечу мимо и кидаюсь внизъ по отлогимъ ступенямъ, крытымъ ковромъ...

Вотъ и площадка второго этажа, именуемая «чертовой долиной», какъ я узнала впослѣдствіи. Жуткая темнота царитъ вездѣ, только газовые рожки съ верхняго коридора бросаютъ легкій отблескъ на верхнюю и среднюю площадку. А внизу, въ классномъ коридорѣ, черная, какъ сажа, страшная мгла...

Мое сердце начинаетъ тревожно сжиматься и замирать. Я начинаю бояться, что тамъ внизу я увижу знакомую «сѣрую женщину», которую я до безумія не хочу видѣть теперь. Я знаю, у меня закружится голова и захватитъ дыханіе, если я ее увижу, я упаду въ обморокъ и тогда—прощай, мой побѣгъ!

— «Нѣтъ, не надо, не надо! Господи! Не надо!» — шепчу я и дико всматриваюсь въ темноту.

Теперь, когда моя душа такъ страстно хочетъ, чтобы я не видѣла призрака, мое сердце уже выстукиваетъ съ увѣренностью, убѣжденно: «Ты ее увидишь! Сію минуту! Сейчасъ!»

Я тихо вскрикиваю, охваченная ужасомъ и отчаяніемъ, и рвусь впередъ. Вдругъ изъ темной мглы быстро выдѣляется бѣлая, воздушная фигура. Что-то

высокое, большое движется ко мнѣ, приближаясь съ замѣтной быстротою. Чуть слышные шаги шелестятъ по ковру лѣстницы. Я знаю, что это не сѣрая женщина съ ея скромной фигурой подъ капюшономъ. Это что-то величественное, но оттого еще болѣе страшное... Теперь глаза мои уже не могутъ оторваться отъ страннаго видѣнія. Ужасъ, холодный, душу леденящій ужасъ, сковалъ меня всю...

А бѣлое видѣніе приближается ко мнѣ! Видитъ, или не видитъ оно мою темную маленькую фигурку, прижавшуюся къ периламъ лѣстницы? Вѣрно видитъ, потому что идетъ прямо на меня. Волосы начинаютъ шевелиться у меня на головѣ. Теперь я ясно вижу призракъ. Онъ весь окруженъ чѣмъ-то бѣлымъ, какъ облако.

И онъ подходитъ все ближе, ближе ко мнѣ... Вотъ онъ протягиваетъ руку... Что-то теплое касается моего лица, призракъ подлѣ, рядомъ со мной... Я дико вскрикиваю и лишаюсь чувствъ...

. . . . . .

Не знаю, долго-ли длился мой обморокъ, или нѣтъ, но когда я открыла глаза, меня поразило то, что я увидала. Передо мною стояла женщина, высокая, даже черезчуръ высокая для женщины, въ бѣломъ бальномъ платьѣ съ легкимъ газовымъ шарфомъ, накинутымъ на плечи. Я лежала на деревянной скамейкѣ, на церковной паперти, и смотрѣла въ прекрасное лицо, склонившееся надо мною съ заботой и тревогой. Газовые рожки

Изъ темной мглы быстро выдѣляется бѣлая, воздушная фигура...

за стеклянной дверью дали мнѣ возможность разглядѣть его. Боже! что это за красавица! Бѣлокурая, нѣжная, съ точно выточенными чертами и благородной маленькой головкой на пышныхъ, полныхъ плечахъ. Ея бѣлое газовое платье, принятое мною за облако, красиво облегало высокую, стройную фигуру.

Я съ восторгомъ смотрѣла въ ея прелестное лицо. Мнѣ казалось, что такимъ лицомъ и такой фигурой простая смертная обладать не можетъ. И вся подавленная силой впечатлѣнія, я произнесла въ восторгѣ:

— Вы вѣрно добрая волшебница? Скажите! Да?

Она ласково, свѣтло улыбнулась.

— Я напугала тебя, крошка. Прости!—также тихо отвѣтила красавица.—Я возвращалась съ бала, который давали мои близкіе родственники... А ты, малютка, вѣрно Воронская, поступленія которой всѣ ждали послѣднее время?

— Да, я Воронская,—произнесла я, все еще не отрывая глазъ отъ ея очаровательнаго лица. — А вы, конечно, добрая волшебница? Отвѣтьте же мнѣ.

— Какъ ты попала сюда, на лѣстницу въ этотъ поздній часъ?—спросила она меня вмѣсто отвѣта.

Тогда я быстро, быстро разсказала все. И про мое поступленіе, и про первый день въ «тюрьмѣ», и про злыхъ дѣвчонокъ, и про строгую Рабе, и про злющую Комисариху, словомъ—про все, про все.

— Я хотѣла убѣжать отсюда! Да, да, убѣжать!—произнесла я, со злостью и вызовомъ взглянувъ ей въ лицо.

— Бѣдное дитя! Бѣдная взбалмошная головка!— проговорила бѣлокурая красавица и мнѣ показалось, что голосъ ея задрожалъ.—Къ счастью, Богъ послалъ меня на твоемъ пути. Хорошо, что ты еще не дошла до дверей швейцарской.

— А что?—заинтересовалась я.

— А то-бы тебѣ порядкомъ досталось, потому что швейцаръ непремѣнно отвелъ-бы тебя къ «maman».

— Ахъ! — вырвалось у меня изъ груди тяжелымъ вздохомъ,—значитъ и уйти отсюда нельзя?

— Нельзя!—эхомъ отозвалась она.

Мои нервы не выдержали и я зарыдала. Сквозь горькія всхлипыванія я передавала ей—моей бѣлокурой красавицѣ, какъ мнѣ хорошо жилось дома, и какъ меня рѣшили отдать въ институтъ, и какъ тетя плакала, узнавъ объ этомъ, и какъ тяжело мнѣ самой здѣсь, какъ не хватаетъ мнѣ моей тети Лизы, «солнышка» моего, моей крестной Оли, Катишь и всѣхъ, всѣхъ...

Она слушала меня, давая мнѣ выплакаться, и только нѣжно гладила мою взъерошенную головку.

Возбужденіе мое разомъ прошло. Нервы опустились. Сладкая истома охватила всѣ мои члены. Благодѣтельный сонъ подкрался ко мнѣ.

— Ты хочешь спать, дѣтка?—произнесли у самаго моего уха румяныя свѣжія губы, — хочешь, я отнесу тебя на постель?

— Хочу,—прошептала я, улыбаясь,—отнесите меня,

но прежде все-таки скажите: вы добрая волшебница или нѣтъ?

— Нѣтъ, нѣтъ! я не волшебница!

— А я васъ увижу еще разъ?—допытывалась я.— Я не могу, чтобы васъ не видѣть! Вы такая добрая!— и я потянулась губами къ ея щекамъ.

— Тс! тс! — лукаво улыбнувшись и погрозивъ мнѣ пальцемъ, произнесла она.—Мы увидимся и очень скоро! Ты счастлива?

— Ужасно!—сонным голосомъ произнесла я.

Въ ту-же минуту двѣ нѣжныя, но сильныя руки подняли меня на воздухъ и понесли меня куда то осторожно, какъ самую дорогую, хрупкую ношу.

ГЛАВА V.

Снова маленькія мучительницы. — Отказъ. — Волшебное превращеніе.

Dors, dors, mon enfant,
Jusqu'à l'âge de quinze ans,
Quand quinze ans seront passés
Il faudra te marier! *)

Отвратительное ощущеніе чего-то холоднаго, мокраго, противнаго, какъ лягушка, заставляетъ меня быстро вскочить съ постели и открыть глаза.

---

*) Спи, спи, мое дитя, до пятнадцати лѣтъ. Когда тебѣ будетъ пятнадцать—нужно будетъ тебя выдать замужъ. *Французская пьесенка.*

Какъ я крѣпко спала, однако! Боже мой, какъ крѣпко!

Передо мною толпа дѣвочекъ, веселыхъ, смѣющихся, шаловливыхъ.

Впереди всѣхъ Менделыша съ огромной кружкой въ рукахъ. На кружкѣ золочеными буквами выписано: «На память изъ Гапсаля», а изъ кружки льется холодная струя воды, льется прямо мнѣ на шею и на плечо. «Стрекоза», она же и Маруся Рантъ, стоитъ подлѣ и приговариваетъ тоненькимъ-претоненькимъ голоскомъ слова изъ неизвѣстной мнѣ французской пѣсенки.

— Какъ вы смѣете? Кто вамъ позволилъ! — исполненная негодованія, накидываюсь я на дѣвочекъ.

— Ахъ! ты еще бранишься! Mesdam'очки! Вотъ неблагодарная! Она еще бранится! Мы разбудили, она звонка не слыхала, по добротѣ услужили, а она... Да послѣ того тебя проучить слѣдовало-бы хорошенько!

И ненавистное мнѣ лицо Колибри и ея кривящійся ротъ предстали передо мною.

— Проучить! Проучить хорошенько! — слышится со всѣхъ сторонъ.

— А вотъ что мы сдѣлаемъ! Такъ какъ она злится за то, что ей не дали спать и разбудили, то мы ей и не дадимъ подняться. Хватайте, mesdam'очки, ея вещи и унесите подальше, пускай остается въ постели въ одной сорочкѣ до второго звонка.

И прежде, чѣмъ я успѣла предпринять что-либо,

толстушка Додо хватаетъ мои чулки и несется съ ними по дортуару, а за нею Стрекоза летитъ съ моею нижнею юбкою, размахивая ею во всѣ стороны. Слѣдомъ за ними, дикими скачками, скачетъ тяжеловѣсная Мендельша съ моимъ матросскимъ костюмомъ въ рукахъ. И, наконецъ, неуклюжая рябая Беклешова, схвативъ въ каждую руку по моей ботинкѣ, тоже улепетываетъ во всѣ лопатки отъ моей постели. Дорина ничего не несетъ: она стоитъ на пустомъ табуретѣ, на которомъ до этой минуты лежало мое аккуратно сложенное бѣлье, и смотритъ на меня... Ужасно смотритъ! Ея черные глаза такъ и пронзаютъ меня иглами насквозь... О-о! какъ я ненавижу эти черные глаза, этотъ горящій насмѣшкою взглядъ, все это лицо криворотой красавицы! Бррр, какъ ненавижу!..

Но мнѣ некогда предаваться охватившему меня порыву ненависти: надо спасать свои вещи, обязательно спасать.

И въ одной рубашонкѣ, съ растрепанными волосами, босая, растерзанная, я несусь со всѣхъ ногъ за толстенькой Додошкой, у которой первая и важнѣйшая принадлежность моего туалета—чулки.

Мои ноги быстры, какъ у оленя. Недаромъ Гриша и Копа едва поспѣвали за мной. Въ двѣ минуты я настигаю Додошку, всю красную и запыхавшуюся отъ бѣга, и хватаю ее за плечи.

— Ай, ай, ай! — продолжительно и звонко визжитъ дѣвочка и присѣдаетъ къ землѣ.

На половинѣ шестыхъ переполохъ и суматоха.

— У седьмушекъ рѣжутъ кого-то!—слышится тамъ.

Должно быть, я страшна, растерзанная, съ всклокоченными волосами, съ дикими блуждающими глазами, когда дрожащимъ отъ волненія голосомъ говорю Додо, помертвѣвшей отъ страха:

— Если ты не отдашь мнѣ чулки, дрянная дѣвчонка, то... то... то я откушу тебѣ твой противный носъ.

Додошка оглашаетъ дортуаръ новымъ визгомъ — и мои злополучные чулки летятъ мнѣ прямо въ лицо.

Въ ту же минуту я слышу голосъ за моими плечами:

— И тебѣ не стыдно!.. Въ одной рубашкѣ... босая! Маршъ одѣваться сейчасъ! Что «шестерки» подумаютъ о насъ? Хорошенькая новенькая у седьмыхъ!

Я быстро оглядываюсь. Передо мною стоитъ Петрушевичъ, обнявшись съ княжной. Петрушевичъ мнѣ не стыдно нисколько. Смутнымъ инстинктомъ я угадываю, что она совсѣмъ, какъ я: и въ одной рубашонкѣ побѣжитъ, босая, и носъ откуситъ въ случаѣ надобности... Но вонъ та высокая, статная, рыже-красная дѣвочка съ холодными глазами на-выкатѣ и такими выхоленными руками, той я стыжусь. Она, по своему характеру и привычкамъ, какая-то «чужая» всѣмъ этимъ шаловливымъ, отчаяннымъ, но простенькимъ дѣвочкамъ. Чужая и мнѣ. И, кинувъ косой взглядъ на мои босыя ноги, я невольно краснѣю и потупляю глаза.

Оля Петрушевичъ, Мышка или «Петруша», какъ ее всѣ называютъ, словно угадываетъ мои мысли.

— Сейчасъ же отдайте Воронской ея одежду!—кричитъ она звонкимъ голосомъ.—Сію же минуту отдайте!

И — странное дѣло! — эта смуглая, худенькая дѣвочка съ черными искрящимися глазами и звонкимъ голосомъ дѣлаетъ больше, гораздо больше, нежели я моей глупой угрозой откусить носъ. По крайней мѣрѣ, со всѣхъ сторонъ появляются сконфуженныя дѣтскія лица и вмигъ у моихъ ногъ и мои ботинки, и платье, и бѣлье.

— Одѣвайся скорѣе!—кричитъ смуглая Оля,—я помогу тебѣ.

Мнѣ остается только повиноваться. Въ одну минуту я уже въ умывальной. Тамъ у мѣдныхъ крановъ моются двѣ дѣвочки: одна черненькая, «Мишка», которую я уже знаю, другая очень блѣдная, высокая, полная дѣвочка съ усталымъ, грустнымъ лицомъ.

— Я увѣрена, что меня не спроситъ французъ сегодня!—говоритъ высокая дѣвочка,—онъ меня въ прошлый разъ спрашивалъ.

— А все-таки выучить не мѣшало, Лида.

— Выучу, пожалуй... Съ тобой развѣ можно не выучить, Мишенька! — и полная, блѣдная дѣвочка ласково улыбнулась Мишкѣ.

— Это Лидія Лоранова,—шепнула мнѣ Петруша.—онѣ подруги съ Лизой Маркевичъ и поклялись «дружиться» до самаго выпуска.

— Ахъ, какъ это хорошо! — вырвалось у меня невольно.

— Что хорошо?—удивилась Оля.

— Да быть дружной съ кѣмъ-нибудь, — произнесла я,—заступаться другъ за друга, вмѣстѣ учиться...

И вдругъ новая мысль поразила меня. Я быстро обернулась къ стоявшей за мною Петрушевичъ.

— Знаешь что,—внезапно перейдя на «ты», проговорила я, — давай будемъ также подругами. Ты лучше ихъ всѣхъ здѣсь и я тебя люблю!

Она покраснѣла, потомъ опустила глаза.

— Видишь-ли, Воронская, — произнесла она, — ты сама мнѣ очень нравишься. Знаешь, ты не такая какъ другія: въ тебѣ есть что-то, чего нѣтъ во всѣхъ ихъ: ты смѣлая какая-то, храбрая, даже отчаянная. Мнѣ это нравится и... и... я бы охотно стала твоей подругой, а только...

— Что только?—начиная уже «закипать», выкрикнула я.

— Надо узнать, позволитъ-ли Варя...

— Кто? какая Варя?—удивилась я.

— Да Голицына-Остерманъ. Мы съ ней съ самаго поступленія подруги... Только она вѣдь рѣдко въ классѣ бываетъ: то больна, то дома. Она изъ-за слабаго здоровья всегда дома живетъ. Такъ я думаю, что она позволитъ...

— Убирайся ты съ твоей Варей! — вскричала я въ

бѣшенствѣ, — мнѣ не надо такой дружбы, въ которой еще у кого-то позволенія приходится спрашивать. Дружись со своей Варенькой и отстань отъ меня!

И, быстро схвативъ свою мыльницу и зубную щетку, я кинулась въ дортуаръ, но сразу остановилась.

— Ахъ!—вырвалось у меня невольно крикомъ восторга, неожиданности и изумленія.

На порогѣ дортуара стояла моя ночная красавица, женщина въ бѣломъ, видѣнная мною ночью. Такъ это не было ни сномъ, ни грезой, все происшедшее со мною вчера?..

Я смотрѣла, широко раскрывъ глаза, вся дрожа отъ волненія. Она была теперь въ синемъ платьѣ, и едва-ли еще не лучше казалась въ немъ, нежели въ своемъ бальномъ туалетѣ. Синій бархатъ воротника особенно оттѣнялъ снѣжную бѣлизну и нѣжный румянецъ ея прелестнаго лица. Она стояла, протягивала мнѣ руки и улыбалась.

— Здравствуй, здравствуй, милая моя бѣглянка! — произнесли съ чарующей улыбкой хорошо знакомыя мнѣ свѣжія румяныя губы.

— Ахъ, кто это? — вырвалось помимо воли у меня изъ груди.

— Это Маріонилла Маріусовна Вульфъ, наша классная дама,—отвѣтили мнѣ сорокъ голосовъ за-разъ.

Я тихо вскрикнула и бросилась на шею къ моей ночной волшебницѣ...

ГЛАВА VI.

Пріемъ. — Седьмушки устраиваютъ «бенефисъ». — Я заслуживаю уваженіе Петруши и аристократки.

НЕУЖЕЛИ это наша Лидюша? Дѣвочка, что они сдѣлали съ тобой!

Это говоритъ Катишь и ея пухлое личико собирается въ плаксивую гримасу. Тетя Лиза молчитъ, но и по ея доброму исхудавшему лицу я вижу, какъ она настрадалась за все послѣднее время.

Онѣ пришли повидать меня въ обычный день «пріема» и сидятъ теперь обѣ въ большой институтской пріемной, рядомъ съ родственниками и родственницами другихъ институтокъ, пріѣхавшими провѣдать своихъ дочерей, племянницъ или сестеръ.

Я стою передъ ними смѣшная, какъ карлица, въ длинномъ камлотовомъ зеленомъ платьѣ, топорщущемся вокругъ меня. Бѣлая пелеринка съѣхала на бокъ. Манжи, то-есть рукавчики-трубочки изъ полотна, такъ длинны, что въ нихъ совершенно исчезаютъ дѣтскія ручонки съ запятненными чернилами пальцами. Я поминутно тревожно оглядываюсь во всѣ стороны и присѣдаю передъ проходящими «синявками» и «старыми дѣвами» (какъ я, по примѣру моихъ новыхъ товарокъ по институту, уже привыкла называть классныхъ дамъ и пепиньерокъ).

Въ одну минуту я повѣряю тетѣ и Катишь, что m-lle Рабе—«придира», а m-lle Вульфъ—«дуся» и та-

кая красавица, что ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать. И что Колибри ужасный «командиръ» и всѣ ея боятся въ классѣ, что Зернская, батюшкина дочка, у насъ первая ученица, что Лоранову прозвали «королевой», хотя она совсѣмъ не похожа на королеву и что Петруша мнѣ больше всего нравится, хотя она смотритъ въ глаза своей противной «аристократкѣ».

Тетя и Катишь слушаютъ меня и счастливо улыбаются. Имъ кажется, что снова вернулась къ нимъ прежняя Лидюша и что эта смѣшная, неуклюжая дѣвочка въ зеленомъ камлотовомъ платьѣ принадлежитъ имъ снова вся, съ головы до ногъ.

— А я тебѣ радость привезла!—говоритъ тетя.

— Какую?

— Угадай!

— Кизилевое варенье принесла, мое любимое?

— Это само собой: и кизилевое, и морошку. Только то, что я хочу сказать, лучше чѣмъ варенье.

— Ну, тогда тянушки отъ Кочкурова?..

— Лучше, нежели и тянушки!—смѣется Катишь.

— Ну, тогда... тогда... я ужъ рѣшительно не понимаю...—и я развожу руками, окончательно сбитая съ толку.

— Я привезла тебѣ извѣстіе, что мы всѣ поѣдемъ въ Царское Село провести тамъ Пасху,—говоритъ тетя Лиза и глаза ея смѣются.—Что ты скажешь на это?

— Ахъ!—вскрикиваю я, подскакиваю и висну у нея на шеѣ.

Дежурная на пріемѣ дама, старая, сморщенная m-lle Ефросьева, «собственность» третьихъ, посылаетъ ко мнѣ пепиньерку сказать, что если я позволю себѣ визжать такимъ образомъ, она отправитъ меня въ классъ.

Я конфужусь, но не надолго.

Ѣхать въ Царское Село, видѣть родныя мѣста, друзей, Колю Черскаго, моего рыцаря, и всѣхъ остальныхъ, быть тамъ, куда я не надѣялась уже попасть (такъ какъ «солнышко» получилъ новое назначеніе и долженъ былъ, не-сегодня-завтра, переѣхать въ другой городъ),—Господи, это-ли не счастье!

— А папа-Алеша тоже будетъ съ нами?—спрашиваю я и разомъ смолкаю: тотъ, о которомъ мелькнула у меня безпокойная мысль, стоитъ на порогѣ зала, чудный, красивый, изящный. Вокругъ него суетятся дежурныя воспитанницы. Я знаю, что всѣ онѣ поголовно «обожаютъ» его, несмотря на то, что я всего лишь недѣлю въ институтѣ и онъ только два раза успѣлъ навѣстить меня.

«Солнышко» улыбается своей очаровательной улыбкой. Я съ гордымъ торжествомъ оглядываю сосѣднія скамьи, на которыхъ сидятъ во время пріема дѣвочки съ ихъ посѣтителями—родственниками и родными.

«Нѣтъ, скажите по совѣсти, найдется-ли здѣсь другой такой же красивый отецъ?»—допытываетъ мой торжествующій взглядъ, и я, сломя голову, несусь къ нему на встрѣчу.

Онъ цѣлуетъ меня крѣпко-крѣпко и идетъ со мною къ нашей скамейкѣ.

Съ тетей Лизой они здороваются холодно, едва пожимая руку другъ другу. Меня мучитъ вопросъ: что съ ними случилось? Почему они поссорились? Что такое произошло между ними?

Часъ пріема промчался, какъ сонъ. Звонокъ дребезжитъ въ коридорѣ... Посѣтители спѣшно прощаются и уходятъ. Я бѣгу вприпрыжку за папой до самыхъ коридорныхъ дверей.

— Что за ужасная манера! Скачетъ, какъ коза!..— шипитъ Колибри, успѣвшая проститься съ своимъ братомъ-кадетомъ и спѣшно прошмыгнувшая мимо насъ.

«Солнышко» не слышитъ ея воркотни, но я слышу и бросаю ей сердитый взглядъ.

Впрочемъ, я и не думаю сегодня злиться на Дорину. Радость, сообщенная тетей, такъ велика, что она охватила всю меня съ головою.

Какъ въ туманѣ цѣлую я «солнышко», тетю и Катишь и тороплюсь въ классъ. Сегодня четвергъ и ровно въ два часа начнутся опять уроки.

Едва я появляюсь въ классѣ, какъ меня поражаетъ шумъ и суматоха, господствующая въ немъ. Стрекоза сидитъ на каѳедрѣ, машетъ линейкой и кричитъ:

— Это свинство! Это безобразіе! Гадость! Онъ не смѣетъ дѣлать этого! Ходячая аптека, карболка противная!

— Горчичникъ французскій! Мятная эссенція! Касторовое масло! — раздается голосъ Мендельши, и въ одну минуту она уже стоитъ рядомъ на каѳедрѣ со Стрекозой.

— Травить его! Травить за это!—то тамъ, то здѣсь слышались раздраженные голоса.

— Травить Миддерлиха! Бенефисъ ему хорошій закатить, бенефисъ съ подношеніемъ!

— Да, да, бенефисъ! Бенефисъ, непремѣнно!

— Что такое? Что случилось?—спросила я, поймавъ за рукавъ пробѣгавшую мимо меня высокую темноглазую Клеонову.

Со дня моего поступленія въ институтъ прошла недѣля. За эту недѣлю дѣвочки успѣли привыкнуть ко мнѣ, и только развѣ одна Дорина и ея приверженцы, въ родѣ Додошки, Мендель, Беклешовой, Лодыгиной, которыхъ ловкая, хитрая дѣвочка сумѣла подчинить себѣ, относились ко мнѣ съ предубѣжденіемъ. Я уже перестала быть для остальныхъ «новостью» и моя особа не представляла такого интереса, какъ было раньше. Да и потомъ у новенькой, которую такъ хотѣли «затравить», оказался бойкій язычокъ и умѣнье отпарировать удары, и поэтому дальнѣйшія нападки на нее показались не безопасными для дѣвочекъ.

— Видишь-ли, Вороненокъ, — объяснила мнѣ веселая, жизнерадостная хохотушка Стрекоза, — учитель географіи Миддерлихъ не придетъ отъ 3-хъ до 4-хъ

въ свой часъ, а явится въ первый пустой часъ, въ который намъ Маріонилочка читать хотѣла «Ледяной домъ». У него, видишь-ли, съ инспекторомъ дѣло какое-то выискалось и онъ другого времени не нашелъ!.. Ужасная дрянь этотъ Миддерлихъ. Да пусть не радуется: мы ему такой сегодня подкатимъ «бенефисъ»...

— Что?—не поняла я выраженія.

— А вотъ увидишь! Ты еще не знаешь, что такое «бенефисъ». Но ты сама, собственными глазами увидишь... Скандалъ выйдетъ большой... «Шестерки» насъ выучили... Онѣ своему Тормеру такой же «подкатили».

Догадываясь, что учителю географіи предполагается устроить какую-то гадость, я не могла удержаться, чтобы не спросить:

— Въ чемъ же виноватъ Миддерлихъ и почему Маріонилочка не можетъ читать отъ 3-хъ до 4-хъ? Не все-ли равно?

— Ахъ, ты ничего не понимаешь, Воронская... Отъ трехъ до четырехъ m-lle должна къ maman идти съ дневнымъ отчетомъ и ей не до того будетъ. Такъ у насъ и пропадетъ сегодня ея чтеніе. И все изъ-за нашего Навуходоносора, т. е. Миддерлиха! И потомъ, вообще надо же его посадить на мѣсто... Несправедливый онъ, извергъ, злющій!.. На что Лимоша Зернская—первая ученица, и ее не пощадилъ въ послѣдній разъ: шестерку поставилъ... А за что? За то, что про Карпаты забыла. Очень нужно помнить Карпаты! Самъ онъ Карпаты—

Навуходоносоръ противный!.. Вотъ увидишь, что за славную штучку мы съ нимъ выкинемъ!..

Она еще хотѣла сказать что-то, но въ эту минуту дверь класса широко распахнулась и самъ «Навуходоносоръ» появился на порогѣ, а вмѣстѣ съ нимъ появился острый и противный запахъ карболки, неразлучный съ особою нашего учителя географіи: у него, какъ я уже успѣла узнать, болѣли ноги и онъ лѣчилъ ихъ какою-то мазью съ запахомъ карболки.

Это былъ полный высокій человѣкъ, коротко обстриженный подъ гребенку, съ сизымъ носомъ, испещреннымъ синими жилками и прозваннымъ въ институтѣ за это «Великой системой рѣкъ и озеръ».

Прежде чѣмъ географъ вошелъ на каѳедру, онъ своими маленькими мышиными глазками оглядѣлъ испытующе весь классъ.

— Что у насъ задано на сегодня?—обратился онъ къ дежурной, Лидіи Лорановой.

Та отвѣтила.

— Г-жа Мендель! неугодно-ли вамъ перечислить какія рѣки протекаютъ на сѣверѣ Россіи, — произнесъ скрипящій, непріятный голосъ географа.

Оля Мендель бойко вскочила со своего мѣста и подошла къ доскѣ съ натянутой на ней картой, находившейся какъ разъ противъ стула учителя, на которомъ Навуходоносоръ усѣлся со всѣми предосторожностями.

— Обь, Енисей, Лена, Амуръ... — начала дѣвочка,

смѣло водя по картѣ линейкой и вдругъ остановилась сразу. — Нѣтъ, я не могу, прошептала— она, быстро выхвативъ платокъ изъ кармана и прикладывая его къ губамъ, — я не могу больше... Меня тошнитъ... Здѣсь ужасно пахнетъ карболкой... Точно въ больницѣ...

И шалунья съ гримасой изъ-подъ кончика платка скосила глаза на географа.

Учитель сначала поблѣднѣлъ, потомъ покраснѣлъ и притомъ такъ сильно, что его лиловый носъ принялъ разомъ фіолетовый оттѣнокъ.

— Садитесь, пожалуйста,—произнесъ онъ, отпуская на мѣсто Мендель и не зная что еще сказать отъ смущенія. Очевидно, онъ разомъ понялъ злую выходку.

Мендель, фыркая и давясь въ платокъ, проскользнула къ своей партѣ.

Черезъ минуту на ея мѣстѣ у каѳедры стояла Стрекоза, вызванная за нею немного пришедшимъ въ себя учителемъ.

Она только-что успѣла выйти на середину класса, какъ внезапно замахала рукой и закричала:

— Ахъ! Карболка!.. Невозможно пахнетъ карболкой!.. Вы не знаете отчего это?—и она отпрянула назадъ къ своему мѣсту, прежде чѣмъ Навуходоносоръ отпустилъ ее.

Съ послѣднимъ происходило нѣчто невѣроятное. Онъ поминутно мѣнялся въ лицѣ, то краснѣя, то блѣднѣя.

Комисарова, дежурившая вмѣсто m-lle Рабе въ нашемъ классѣ, сидѣла какъ на горячихъ угольяхъ, рѣшительно недоумѣвая въ чемъ дѣло.

— М-lle Дорина! Не сможете-ли вы мнѣ отвѣтить урока?—уже не прежнимъ обычно рѣзкимъ, а заискивающимъ тономъ обратился Навуходоносоръ къ Колибри. Очевидно, выходка дѣвочекъ не мало смущала его.

Колибри встала, сдѣлала нѣсколько шаговъ по направленію къ каѳедрѣ, и подойдя къ учителю, неожиданно закрыла лицо руками, сильно пошатнулась и уже готова была грохнуться на полъ, но подоспѣвшая Комисарова подхватила свою любимицу и почти чуть-ли не на рукахъ вынесла ее изъ класса.

— Что съ г-жею Дориной? — недоумѣвающе обратился къ намъ учитель.

Тогда Додошка стремительно поднялась со своего мѣста и звучно проговорила, глядя въ самые глаза Миддерлиха дерзкими, вызывающими глазами:

— Нѣтъ ничего удивительнаго, что Дориной дурно. Здѣсь невозможно пахнетъ карболкой. Кто-то, очевидно, принесъ сюда банку съ карболкой или, можетъ быть, нарочно сдѣлалъ себѣ примочку изъ нея... У насъ у всѣхъ кружится голова, поэтому мы не можемъ сидѣть въ классѣ. Я сама еле сижу.

Миддерлихъ понялъ, что все сказанное относилось къ нему, остро взглянулъ на дерзкую дѣвочку, вспыхнулъ и завертѣлся на стулѣ. Потомъ быстро вскочилъ съ каѳедры и съ измѣнившимся лицомъ кинулся къ двери.

— Ходячая аптека!.. Карболовая примочка!.. Касторовое масло!..—понеслось за нимъ вдогонку.

Дѣвочки еще хотѣли крикнуть что-то, но въ эту минуту дверь снова раскрылась и инспекторъ классовъ Тимаевъ появился на порогѣ въ сопровожденіи злосчастнаго Навуходоносора, на лицѣ котораго не осталось и слѣда смущенія.

— М-lle Мендель, Рантъ и Даурская, извольте подойти къ каѳедрѣ и перечислить рѣки Россіи,—произнесъ повелительнымъ тономъ Тимаевъ, и обычно ласковое и привѣтливое лицо его разомъ приняло строгое выраженіе.

Тимаева въ институтѣ всѣ побаивались. Онъ, какъ говорили, «сумѣлъ внушить къ себѣ и уваженіе, и страхъ», и никто во всемъ институтѣ не рѣшался ему противорѣчить или дѣлать какія-либо непріятности.

Названныя дѣвочки поэтому покорно встали и вышли на середину класса.

Конечно, никого изъ нихъ теперь уже не тошнило и никому не сдѣлалось дурно. Точно запахъ карболки испарился безслѣдно изъ класса седьмушекъ и на вопросы онѣ отвѣчали какъ ни въ чемъ не бывало.

Миддерлихъ торжествовалъ и оттого, что «травля» не удалась, и оттого, что дѣвочки отвѣчали изъ рукъ вонъ плохо, и онъ могъ отомстить имъ, понаставивъ по крупной единицѣ каждой изъ нихъ.

Какъ только урокъ кончился и оба—и инспекторъ, и учитель—вышли изъ класса, я, сама не знаю какъ, очутилась на каѳедрѣ, плохо сознавая то, что хочу сказать или сдѣлать сію минуту.

— А по-моему, то, что вы сдѣлали, это гадость невѣроятная!—вскричала я, стуча по столу каѳедры и обводя разгорѣвшимися глазами весь классъ.

— Что? Что гадость? Что съ тобой, Воронская! Что ты говоришь?!—встрепенулись онѣ.—Кто сдѣлалъ гадость? Что такое?

— Вы гадость сдѣлали! Вы, вы! — продолжала я, стуча и волнуясь.

— Воронская! Какъ ты смѣешь браниться! Ты съ ума сошла!—накинулись онѣ на меня со всѣхъ сторонъ.

Но я уже ничего не помнила и не понимала.

— Нѣтъ! Не я сошла съ ума, а вы, вы всѣ! — запальчиво съ новымъ и новымъ приливомъ негодованія закипала я.—Развѣ это честно? Развѣ порядочно? Разъ задумали травлю, худо-ли, хорошо-ли, но ведите до конца. А то инспектора испугались! Исподтишка только свои штучки продѣлывать умѣете, а той смѣлости нѣтъ, чтобы открыто при всѣхъ дѣйствовать, на-чистоту! Стыдитесь! Вѣдь это малодушіе, трусость, гадость!

— Воронская! Дрянь! Мальчишка! Какъ ты смѣешь ругаться, противная!—полетѣло мнѣ въ отвѣтъ.

— Да, да, да! Смѣю! Смѣю! Смѣю!—подхватила я съ какимъ-то новымъ приливомъ негодованія. — Смѣю! Во-первыхъ, вся эта исторія — нечистая, противная, грязная! Прежде всего вѣдь онъ больной — Миддерлихъ, и смѣяться надъ болѣзнью — гадость! Пусть я дрянь и мальчишка, но я вамъ говорю, что сама ни-

когда-бы не сдѣлала ничего подобнаго. Подлость это— да, да, да!

Мои глаза такъ и бѣгали по толпѣ окружившихъ каѳедру дѣвочекъ. Мое лицо и щеки пылали, уши горѣли и вся я тряслась отъ гнѣва, жалости и негодованія.

— Воронская, гадкая, скверная, фискалка!—слышала я чей-то взбѣшенный голосъ и мгновенно что-то тяжелое пролетѣло мимо меня и ударилось въ стѣну.

Я презрительно повела плечомъ, не стараясь даже взглянуть на того, кто пустилъ въ меня книгой. Я только обводила глазами толпу всѣхъ этихъ дѣвочекъ, взволнованныхъ, взбѣшенныхъ и возбужденныхъ не менѣе меня. Оскорбленія, щедро брошенныя имъ по ихъ адресу, не прошли даромъ.

— Воронская! Негодная! Противная! Сорви-голова! Дикарка! Мальчишка! — кричали вокругъ меня изступленные голоса.

И вдругъ весь этотъ шумъ и гамъ покрылся здоровымъ, трезвымъ и рѣзкимъ окрикомъ:

— Молчать! Сію минуту молчать! Галдятъ, точно мальчишки! Безобразіе!

Чернокудрая смуглая дѣвочка вбѣжала ко мнѣ на каѳедру и стала рядомъ со мною

— Воронская, дай мнѣ пожать твою руку! — взволнованно путаясь и волнуясь вскричала она.—Ты права. Чѣмъ онъ, бѣдный Миддерлихъ, виноватъ, что заболѣлъ и долженъ, несмотря на свою болѣзнь, несмотря

на свои обернутыя карболовыми компрессами ноги, являться въ классъ, чтобы не потерять заработка? Да, ты права, Лидочка! Слышишь, Воронская? Ты лучше ихъ всѣхъ, потому что заступилась за него. И я, и Варя рѣшили сказать тебѣ это. Ты самая благородная, самая лучшая изъ нихъ.

И она съ презрѣніемъ метнула взглядомъ на разомъ присмирѣвшую толпу дѣвочекъ.

— Позволь мнѣ и Варѣ быть твоими друзьями, Воронская... Я нарочно, въ присутствіи всего класса, прошу у тебя твоей дружбы, которой могу только гордиться. Да! да!

— Ахъ!—вырвалось у меня радостнымъ звукомъ и я широко раскрыла объятія.

Петруша со свойственной ей живостью кинулась въ нихъ. Вслѣдъ затѣмъ подбѣжала и блѣдная Варечка, и я расцѣловалась съ нею.

А въ это время къ намъ уже подошли Лиза Маркевичъ, грустная темноглазая Лида Лоранова, Катя Вальтеръ, Зернская и многія другія. Только кружокъ Колибри, состоявшій изъ нея самой, Стрекозы, Мендель, Додошки, да «бабушка» Беклешова со злобою шипѣли мнѣ вслѣдъ:

— Проповѣдница какая! Вотъ еще!.. Командирша! Дикарка!

Но я не обращала вниманія на этотъ злостный шопотъ.

— Оставь ихъ, душка! — шептала мнѣ на-ухо моя новая подруга Петруша. — Онѣ, какъ шавки на слона, полаютъ-полаютъ и перестанутъ! А я тебя очень, очень люблю,—прибавила она неожиданно,—и Варенька тоже...

И мы опять крѣпко расцѣловались.

Валентина Дмитріевна ЛЮДИНА

ГЛАВА VII.

Я съѣдаю завтракъ француза.—Астраханка.—На судѣ.—Истерика.

Дни летѣли за днями и я понемногу привыкла къ моей «тюремной» жизни въ институтѣ. «Солнышко» навѣщалъ меня почти ежедневно въ маленькой зеленой пріемной, гдѣ мы могли сидѣть съ нимъ обнявшись по «домашнему» и говорить обо всемъ, не опасаясь проницательно-насмѣшливыхъ глазъ класснаго начальства. Два раза въ недѣлю приходили ко мнѣ тетя Лиза съ Олей, а иногда и Линуша съ Катишь. Я ихъ познакомила съ моими обѣими подругами. Петруша имъ ужасно понравилась. Горячая, несдержанная, увлекающаяся дѣвочка съ ея добрымъ сердцемъ и необычайной ласковостью не могла не нравиться кому-бы то ни было. Зато «аристократка» Варя не сумѣла стяжать общихъ симпатій. Линушѣ и Катишь она показалась черезчуръ вычурной; тетя Оля замѣтила, что смѣшно маленькой дѣвочкѣ такъ заниматься своей внѣшностью, полировать ногти и прочее, и прочее. Тольк

тетя Лиза сумѣла оцѣнить по заслугамъ эту гордую, скрытную, чрезвычайно щепетильную въ дѣлахъ чести и порядочности дѣвочку. Она была очень горда, очень сдержанна, вышколена и никогда не выражала своихъ чувствъ. Ея мать, холодная, важная и гордая аристократка, не умѣла ласкать дочь, и маленькая Варя росла, не имѣя понятія о материнской ласкѣ. Мнѣ она показалась слишкомъ холодной, да и я какъ-то чуждалась ее. Зато съ Петрушей мы сошлись такъ, что я врядъ-ли полюбила ее меньше Лели Скоробогачъ и Коли Черскаго.

Была суббота, одна изъ тѣхъ томительныхъ постныхъ субботъ, когда по всему институту носился запахъ жареной корюшки на постномъ маслѣ и варенаго саго съ краснымъ виномъ. Я не могла ѣсть постнаго. Меня не пріучили къ постной пищѣ дома, и поэтому неудивительно, что подъ ложечкой у меня сосало отъ голода и въ желудкѣ была довольно краснорѣчивая воркотня.

— Я ѣсть хочу! — произнесла я тихонько моей сосѣдкѣ по партѣ Вальтеръ.

Катя Вальтеръ, миловидная шатенка изъ «парфетокъ», т.-е. лучшихъ ученицъ, сдѣлала въ мою сторону сердитые глаза, потому что какъ разъ въ эту минуту учитель французскаго языка, m-r Вале, объяснялъ съ великимъ стараніемъ на французскомъ діалектѣ, что Франція была-бы великою державой, если-бы...

Но мнѣ не пришлось услышать, почему Франція «была-бы великой», такъ какъ m-r Вале, замѣтивъ

мои безконечно разсѣянные глаза, вызвалъ меня къ доскѣ и велѣлъ повторить, что онъ сказалъ намъ только-что.

Но повторить я не могла, такъ какъ не слышала ни слова изъ сказаннаго, занятая мыслью о томъ, что мнѣ придется просидѣть весь день голодною.

— Très innatentive, m-lle! — разсердился французъ не на шутку,—vous aurez un zéro. Tenez! *)

— Monsieur Valé, — произнесла я жалобнымъ голосомъ,—je n'en suis fautive: j'ai faim **).

Доброе лицо француза, которому онъ только-что придалъ строгое, сердитое выраженіе, задрожало отъ смѣха.

Дѣвочки дружно фыркнули. Комисарова даже на стулѣ подскочила отъ неожиданности.

— Воронская, не срамись! — прошипѣла Дорина со своей скамейки.

— Ничего не срамлюсь! — сверкнувъ въ ея сторону взоромъ, крикнула я запальчиво, — срамъ падать притворно въ обморокъ, а ѣсть хотѣть нисколько не срамъ.

И потомъ, глядя въ самые глаза француза уже веселымъ, смѣющимся взглядомъ, я произнесла съ какимъ-то особенно лихимъ задоромъ:

— Я ужасно хочу ѣсть, m-eur Вале, у-жа-с-но! Я въ постные дни постоянно голодна, потому что, вы

*) Очень не внимательны, м-ль. Я вамъ ставлю нуль.

**) Я совсѣмъ не виновата. Я голодна.

сами понимаете, что корюшкой, салакушкой и печеной картошкой насытиться нельзя.

Комисарова, замѣнявшая въ этотъ урокъ m-lle Рабе, вся позеленѣла отъ злости. Дѣвочки переглядывались и тихо шушукались. Вале, понявшій все отъ слова до слова (онъ отлично говорилъ по-русски), хохоталъ, трясясь на стулѣ.

За нимъ засмѣялись и дѣвочки, дружно, весело, всѣмъ классомъ.

— Охъ! Охъ! — стоналъ онъ между взрывами хохота,—on les tient bien en maigre, les pauvrettes! *)— И потомъ быстро опустилъ руку въ карманъ и, вытащивъ изъ него маленькій свертокъ, передалъ его мнѣ со словами: — C'est mon propre dejeuner, que j'ai apporté pour moi, tenez)**!

Безъ малѣйшей тѣни смущенія я подошла къ каѳедрѣ, взяла свертокъ у француза и, вернувшись на мѣсто, быстро развернула его. Въ сверткѣ оказалось два бутерброда съ ветчиной и печеное яблоко. Я спокойно разсмотрѣла ихъ и принялась ѣсть. «Парфетка» Вальтеръ, моя сосѣдка, брезгливо косясь на меня, отодвинулась на самый уголъ скамейки и смотрѣла на меня оттуда округленными отъ ужаса глазами. Но я, нимало не смущаясь ея взглядомъ, неторопливо съѣла оба бутерброда и яблоко слѣдомъ за ними. Потомъ аккуратно

*) Ихъ держатъ впроголодь, этихъ бѣдняжекъ.

**) Это мой собственный завтракъ, который я принесъ для себя.

сложила пропитанную жиромъ бумажку и, вставъ съ моего мѣста, сдѣлала низкій реверансъ французу, подкрѣпивъ его значительнымъ «mercі».

Вале, улыбаясь, закивалъ мнѣ головою и произнесъ, обращаясь ко всѣму классу:

— Pas mal appetit du tout! *),—и снова засмѣялся.

Дѣвочки вторили ему, глядя на меня теперь—однѣ снисходительно, насмѣшливо, другія поощрительно и шутливо. Но когда кончился урокъ, Комисарова подскочила ко мнѣ взволнованная, сердитая и стала трясти меня за плечи, приговаривая:

— Дрянная дѣвчонка! Осрамила классъ! Осрамила! Какъ у тебя языкъ повернулся выклянчивать завтракъ у учителя! Позоръ! Надо совсѣмъ быть безъ стыда, чтобы такъ дѣлать! Это запишется на скрижали институтскоі исторіи, да! И тебѣ это не стыдно, Воронская?— спросила она въ заключеніе.

— Ничуть!—отвѣчала я, спокойно глядя на озлившуюся пепиньерку,—вотъ если-бы я два завтрака съѣла, то это было-бы позорно, а то я къ «казенной» салакушкѣ и не притронусь. Можете ее отдать вашеі любимицѣ Дориной.

— Дерзкая! Дерзкая! Молчать, молчать сію минуту!.. Ты будешь наказана!..—топая ногами, закричала пепиньерка и, схвативъ меня за руку, потащила впередъ

*) Не дурной совсѣмъ аппетитъ.

и поставила передъ первою парою (классъ выстроился, чтобы идти къ завтраку).

Обыкновенно передъ первою парою ставили какую-нибудь провинившуюся ученицу, — «на позоръ», какъ говорили въ институтѣ, — и называли ее «факельщикомъ». Наказанная такимъ образомъ шла всегда, закрывъ лицо руками, вся въ слезахъ. Но я и не думала плакать.

Я видѣла торжествующую улыбку Колибри и ея любимицы Додошки, я видѣла испуганное личико моей милой Петруши и укоризненныя покачиванія головы аристократки Вари, но съ меня все лилось сегодня, какъ съ гуся вода. Знакомое мнѣ шаловливое настроеніе овладѣло мною. Исторія съ французскимъ завтракомъ представилась мнѣ такой комичной, что я чуть не громко фыркала, идя въ столовую впереди класса.

— Mesdam'очки, смотрите-ка: опять «факельщикъ» у седьмыхъ!—кричали наши враги «шестерки» при видѣ меня, важно выступавшей съ гордо поднятой головою.

— Говорятъ, Воронская у Вале завтракъ изъ кармана выудила, оттого и въ «факельщики» попала,— слышала я предположенія старшихъ воспитанницъ

Мнѣ было смѣшно, ужасно смѣшно.

— Вовсе не выудила, — совершенно позабывшись, крикнула я въ отвѣтъ.—Онъ самъ далъ. Ветчины далъ! Вынулъ изъ кармана и далъ! Цѣлый окорокъ!

— Наказанныя не разговариваютъ!—прошипѣла за моими плечами пепиньерка.

Но до «шестыхъ» долетѣла моя фраза и привела ихъ всѣхъ въ дикій восторгъ.

— Ха, ха, ха!—неистовствовали онѣ, — цѣлый окорокъ изъ кармана! Только Воронская можетъ выдумать что-либо подобное! Молодецъ, Воронская! Прелесть! Душка, Воронская, я буду «обожать» тебя!—неслось за нами вдогонку.

— Мальчишка! Кадетъ! Разбойникъ! — шипѣла позади меня Комисарова.

«Ладно, ладно, ругайся! — мысленно говорила я, — а все-таки меня уже многія здѣсь любятъ, а тебя никто! Никто! Никто! Дорина развѣ, да и то потому, что подлизывается, а искренно ни одна душа не полюбитъ никогда, ни за что»...

Однако бутербродъ француза очевидно не былъ достаточной пищей для голодной дѣвочки, и очень скоро я почувствовала это. Къ часу дня у меня снова поднялась воркотня въ желудкѣ и адски засосало подъ ложечкой.

Недолго думая, я отправилась наверхъ къ дортуарной дѣвушкѣ Матрешѣ, которой щедро перепадало отъ «солнышка» на чай. Она мнѣ и постель стлала «подъ шумокъ» за «два цѣлковыхъ» въ мѣсяцъ, и чернаго хлѣба таскала въ карманѣ въ «голодные» дни. Увидя меня на порогѣ умывальной, Матреша сразу догадалась за чѣмъ я пришла, живо запустила руку въ карманъ и извлекла оттуда огромный ломоть чернаго хлѣба, густо посыпанный солью.

— Вотъ вамъ свѣженькаго, мамзель Воронская, кушайте на здоровье!—привѣтливо улыбаясь проговорила она, протягивая краюшку.

— Ахъ, хлѣбъ, Матреша! Ну-у! Только хлѣбъ?..— разочарованно протянула я,—мнѣ-бы солененькаго чего-нибудь!

— Ишь вы какая прихотница! — засмѣялась Матреша,—что выдумали. Ну, ладно, принесу вамъ солененькаго. Говорите что?

— У меня только восемь копѣекъ въ карманѣ,— произнесла я съ грустью, — на это многаго не купишь.

— Да, ужъ свѣжей икры не получите. А вотъ астраханку развѣ!

— Что это такое, Матреша, астраханка?

— Это селедка копченая, — пояснила она. — Въ мелочной лавкѣ продается. Страсть вкусна!

— Въ родѣ сига? — спросила я, и напоминаніе о моемъ любимомъ копченомъ сигѣ заставило меня облизнуться.

— Ну, сигъ не сигъ, а похоже! Да вотъ сами увидите. Давайте деньги, я сбѣгаю въ лавочку...

И принявъ отъ меня мѣдные гроши, Матреша схватила на-ходу платокъ и стрѣлой вылетѣла изъ дортуара, крикнувъ мнѣ мимоходомъ, чтобы я ее подождала.

Спустя нѣсколько минутъ она уже снова была въ дортуарѣ.

— Вотъ нате-ка-сь скорѣе,—вся запыхавшаяся отъ

бѣга, проговорила она, протягивая мнѣ что-то большое, обернутое жирной бумагой,—меня надзирательница кличетъ.

И въ одну минуту она исчезла за дверью. Я быстро развернула бумагу. На меня пахнуло страннымъ, невкуснымъ запахомъ. Но голодъ взялъ свое. Я со всѣхъ сторонъ осматривала большую коричневую рыбу, очутившуюся въ моихъ рукахъ, и отломивъ кусочекъ отъ хвоста, сунула послѣдній въ ротъ.

«Бррр! запахъ не важенъ, а на вкусъ еще хуже! Гадость порядочная!»—рѣшила я, и вдругъ неожиданная мысль мелькнула въ моей головѣ: она сырая, эта madame астраханка! Ее вѣроятно еще спечь надо. Печеная она, во всякомъ случаѣ, должна быть вкуснѣе».

И вмигъ подхвативъ завернутую въ бумагу астраханку, я подбѣжала къ печкѣ, которая уже не топилась, а только тлѣла красноватыми, поминутно тухнувшими углями, и сунула туда мою астраханку вмѣстѣ съ бумагой.

Едва я успѣла отойти отъ печки, какъ страшное зловоніе наполнило все кругомъ, — и дортуаръ, и умывальню. Казалось, въ печкѣ лежала не селедка-астраханка, а трупъ покойника, который начиналъ разлагаться. Страхъ охватилъ меня. Я металась по комнатѣ, не зная что предпринять, за что схватиться. Въ ту минуту, когда я бѣгала изъ угла въ уголъ, отъ печки къ двери, отъ двери къ кровати, на порогѣ неожиданно появилась миніатюрная фигурка Колибри.

— Воронская! Что ты дѣлаешь здѣсь одна? — подозрительно оглядывая комнату своими красивыми карими, но глубоко антипатичными мнѣ глазами, произнесла она.

— Не твое дѣло!—крикнула я грубо.

Колибри разомъ измѣнилась въ лицѣ и, поводя носомъ, испуганнымъ голосомъ вскричала:

— Воронская! Что это? Что это за ужасный запахъ? Что ты надѣлала здѣсь? Ты что-то спалила въ печкѣ! Воронская, говори же! Говори! кого ты сожгла тамъ?

— Никого! Не выдумывай, пожалуйста! — внушительно проговорила я.

Но она уже не слушала, что я говорила. Съ дикимъ, неистовымъ крикомъ понеслась она по дортуару, выскочила въ умывальню, оттуда въ коридоръ, и черезъ минуту я слышала, какъ она кричала на лѣстницѣ:

— M-lle! M-lle! Идите сюда! Скорѣе идите сюда! Воронская кого-то сожгла въ печкѣ.

Я замерла отъ ужаса.

Черезъ минуту, другую — двѣ «пятыя» заглянули къ намъ въ дортуаръ и, зажимая носы отъ царившаго теперь въ немъ невыносимаго смрада, спросили:

— Воронская, душка! Кого ты сожгла въ печкѣ?

Я только-что собралась отвѣтить имъ, что мнѣ подвернулся самъ чортъ и что я его сунула за печную заслонку, какъ въ дортуаръ вошла m-lle Рабе въ сопутствіи Комисаровой и съ цѣлой свитой нашихъ седь-

мушекъ позади. Всѣ онѣ старательно зажимали носы носовыми платками и смотрѣли на печку.

Бросивъ на меня глазами, полными ужаса, краснорѣчиво-свирѣпый взглядъ, m-lle Рабе величественно приблизилась къ мѣсту моего преступленія, собственноручно открыла печную дверцу и осторожно щипцами вытащила оттуда злополучную астраханку, успѣвшую обуглиться и сморщиться въ достаточной мѣрѣ.

— Ахъ, какой ужасъ! Змѣя! — вскричала Додошка и закрыла лицо руками.

— Даурская, не юродствуй! — прикрикнула на нее «аристократка», ничуть не стѣсняясь присутствіемъ начальства.

Между тѣмъ m-lle Рабе подошла ко мнѣ, держа злосчастный, полусгорѣвшій трупъ селедки и, потрясая имъ въ воздухѣ, проговорила:

— Что это такое? И откуда ты достала эту гадость?

Я тотчасъ-же охотно отвѣтила любопытно уставившимся на меня дѣвочкамъ на первый вопросъ, что это просто «такая рыба, похуже сига и получше селедки», по мѣсту своего рожденія называемая «астраханкою», и что я достала ее...

Тутъ я запнулась.

Не могла же я выдать дортуарную Матрешу.

Я молчала.

— Откуда она у тебя?—еще разъ произнесла классная дама.

— Надѣюсь, астраханка не прислала къ тебѣ?—съ ехидной улыбочкой вставила свое слово Комиссарова.

«Господи, до чего она неостроумная! — подумала я, несмотря на жуткую минуту, — я бы куда лучше сострила!»

— Изволь отвѣчать!—прикрикнула m-lle Рабе,—откуда у тебя эта гадость?

Я молчала.

— Ты не отвѣтишь?

Новое молчаніе.

— Въ послѣдній разъ спрашиваю тебя, Воронская, откуда ты получила эту селедку? Отвѣтишь-ли ты мнѣ?

Я молчу. Зеленые насмѣшливые глаза Рабе впиваются въ меня острымъ, испытующимъ взглядомъ. Мнѣ становится жутко отъ этого пристальнаго взгляда сердитыхъ глазъ. Мнѣ кажется, что онѣ плывутъ по воздуху ко мнѣ, эти зеленыя яркія точки. Мнѣ становится мучительно тяжело подъ ихъ взглядомъ, мучительно и невыносимо. Я чувствовала, какъ жилы на моемъ лбу надулись и какъ капли пота выступили на немъ. Я похолодѣла вся съ головы до ногъ. Зеленые глаза точно ворвались мнѣ въ душу, точно завладѣли ею.

До крови закусивъ себѣ губы, чтобы какъ-нибудь помимо воли не сорвалось съ нихъ имя Матреши, я схватилась за голову и, дико вытаращивъ собственные глаза, пронзительно и нервно закричала:

— Не смотрите на меня такъ! Скальпируйте меня,

колесуйте меня, сдерите съ меня живой кожу, я не скажу вамъ ничего! Ей-Богу, не скажу! Клянусь, не скажу! Честное слово! Честное слово! Честное слово!

Я чувствовала, что при послѣднихъ словахъ лицо мое подергивалось судорогой, а глаза мои начинаютъ блуждать, какъ это случалось иногда со мною въ минуты сильнаго волненія.

— Это еще что за кликушество? — строго прикрикнула на меня моя мучительница. — Сейчасъ перестать! Сію минуту! Слышишь?

И ея пальцы больно впились мнѣ въ плечо.

— А теперь маршъ въ дортуаръ, — и она толкнула меня по направленію моей кровати.

Но тутъ случилось нѣчто неожиданное. Въ своемъ припадкѣ гнѣва m-lle Рабе такъ взмахнула астраханкой, что хвостъ у злополучной рыбы остался у нея, въ то время какъ туловище отлетѣло въ уголъ.

Не знаю, смѣшно-ли мнѣ показалось это, или просто натянутые нервы не выдержали, но я засмѣялась на весь дортуаръ. Черезъ минуту смѣхъ перешелъ въ дикій хохотъ, хохотъ въ рыданье. Я хохотала безъ удержу, въ то время какъ крупныя слезы потоками катились по моимъ щекамъ.

— Никто не принесъ! Никто не далъ! Сама взяла, сама принесла!—кричала я между всхлипываніями.

— Съ ней истерика!—воскликнула Комисарова.—Надо ей скорѣе дать воды!..

— Съ Воронской истерика! Воронской дурно!—кричали дѣвочки, метаясь во всѣ стороны.

Всѣ, очевидно, испугались моего припадка, и m-lle Рабе, и Комисарова, и дѣвочки. По крайней мѣрѣ никто уже не кричалъ на меня. Напротивъ, кто-то подавалъ мнѣ воду, кто-то расшнуровывалъ платье, кто-то нѣжно похлопывалъ по плечу. Лицо Комисарихи приняло ласковое, заискивающее выраженіе, когда она наклонилась ко мнѣ со словами:

— Ну, ну, будетъ, Лида Воронская. Поплакала и будетъ!

Лида! А? Каково? Вотъ когда я дождалась, что меня назвали Лидой...

ГЛАВА VII.

Предательница.—Нападеніе.

На другое утро я проснулась здоровая, бодрая, со смутнымъ воспоминаніемъ чего-то непріятнаго, что случилось и чего поправить уже нельзя.

Я не помню хорошо, чѣмъ кончилась моя истерика, потому все еще что, когда меня, всхлипывающую, перенесли въ дортуаръ, я уснула вскорѣ и спала весь день и всю ночь. Такая продолжительная спячка, очевидно, напугала-таки порядкомъ весь институтъ. Сквозь сонъ смутно помню, какъ ко мнѣ подходила и наклонялась

Рабе, какъ тихимъ шопотомъ спрашивала свою помощницу, не просыпалась ли я еще, и какъ Комисариха, добровольно вызвавшаяся дежурить у моей постели, взволнованно отвѣчала: — «Нѣтъ». Потомъ, когда онѣ обѣ ушли, я почувствовала, какъ чьи-то горячія губы прикоснулись къ моему потному лбу, и услыхала сиплый голосокъ смуглой Оли, которая шопотомъ говорила, обращаясь къ стоявшей рядомъ Голицыной:

— Она очнется, Варя, какъ ты думаешь, очнется?— И тотчасъ-же она добавляла съ какимъ-то страстнымъ отчаяніемъ:

— Какая она чудная, особенная, необыкновенная, эта Воронская! И никто ея здѣсь не понимаетъ и не пойметъ! Никто, никто!

На это голосъ рыженькой «аристократки» отвѣчалъ невозмутимо:

— Пожалуйста, не увлекайся, Ольга. Эта Воронская— самая обыкновенная, заурядная, сильно избалованная дѣвочка и все!

— Если ты будешь говорить такъ, я перестану любить тебя, Голицына! — вырвалось горячо изъ груди моей доброй маленькой заступницы Вари. — Слышишь, Петруша, раз-люб-лю!

Съ какимъ наслажденіемъ поцѣловала-бы я смуглое личико моей милой заступницы! Но я могла только слышать, но не двигаться. Мой ротъ былъ точно скованъ. Все тѣло какъ будто умерло...

Я проснулась только поутру, проспавъ около восемнадцати часовъ къ-ряду. Проснулась, встряхнулась и почувствовала себя сильной и здоровой, какъ никогда.

Первое лицо, которое я увидѣла, была моя ненаглядная Петруша. Радостно сіяющіе черные глазенки такъ и заблестѣли мнѣ навстрѣчу, едва я открыла глаза.

Молча, безъ объясненій и словъ, я обняла милую дѣвочку...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА I.

Стихи.—Первая заутреня.—Тріумфъ.

СВѢТЛО, радостно и торжественно звучатъ, перекликаясь, безчисленные колокола. Они отзываются въ сердцѣ дѣвочки, пытливо вглядывающейся въ ночныя сумерки апрѣльской ночи.

Эта дѣвочка—я. Я не могу спать. Катишь уложила меня на тетиной постели, а сама растянулась на низенькомъ диванчикѣ. Она спитъ. Ея пухлое, моложавое личико такъ спокойно. А мнѣ не хочется спать. Совсѣмъ, совсѣмъ не хочется. Жизнь такъ и бьетъ ключомъ въ каждой фибрѣ моего существа. Недѣлю дома, въ Царскомъ! цѣлую недѣлю! Господи! Мое сердце то бьется сильно сильно, то замираетъ до боли сладко, до боли радостно. Мнѣ кажется, что я не вынесу, задохнусь отъ прилива страннаго и непонятнаго мнѣ самой восторга. Что то до того огромное, до того свѣтлое вливается волной въ меня подъ этотъ звонъ колоколовъ, въ эту пасхальную полночь! А впереди еще лучшее, еще болѣе радостное

ждетъ меня. Сегодня я иду съ тетей и Катишь въ первый разъ къ заутренѣ. Я столько лѣтъ ждала этого дня. Къ первой заутренѣ, понимаете-ли вы это? Столько лѣтъ ждать и наконецъ... дождаться.

Теперь я большая. Я институтка, меня уже не гонятъ спать, какъ маленькую.

Тетя Лиза заглянула въ комнату на минутку.

— Ты не спишь, Лидюша?

Отъ нея пахнетъ свѣжимъ испеченнымъ тѣстомъ и шафраномъ, и пальцы у нея совсѣмъ красные, точно въ крови. Знаю отчего, знаю.

— Ты яйца красила?—восклицаю я, и, не дождавшись отвѣта, прибавляю:

— Ахъ, Лиза, есть-ли кто-либо такой же, какъ я, счастливецъ на землѣ?

Она улыбается и кладетъ мнѣ руку на голову. Въ глазахъ ея что-то таинственное и ободряющее.

— Мы не знаемъ, что ждетъ насъ въ будущемъ и... и... надо молиться,—говоритъ она какъ-то загадочно и цѣлуетъ меня.

Мнѣ становится разомъ страшно!.. Мнѣ кажется, что она хочетъ сказать что-то и не договариваетъ.

Видя испугъ, живо отразившійся въ моихъ глазахъ, тетя быстро охватываетъ меня обѣими руками за голову, прижимаетъ ее къ груди и шепчетъ:

— Господь съ тобой, дѣтка, будь счастлива, моя родная!

Въ это время Маша появляется неожиданно на порогѣ и, обращаясь къ тетѣ, таинственно говоритъ:

— Барышня, пожалуйте! Время тюлевую бабу изъ печи вынимать.

И обѣ—и она и тетя — исчезаютъ за дверью.

Я снова одна. Катишь попрежнему храпитъ на диванѣ. Въ окна смотритъ голубоватая полумгла и звѣзды, звѣзды, безъ конца, безъ счета...

«Онѣ свѣтятъ, эти звѣзды сейчасъ и ему, моему дорогому «солнышку»!—мелькаетъ въ головѣ моей быстрая, какъ зарница, мысль.—Онъ ѣдетъ теперь, смотритъ въ окно поѣзда и думаетъ, глядя на звѣзды: «и Лидюша тоже смотритъ»...

Христосъ Воскресе, дорогой! Звѣзды, золотыя, милыя, передайте ему это!.. — И вдругъ неожиданно я поднимаю голову и прислушиваюсь...

Кто это говоритъ подлѣ? Что за странные звуки носятся и поютъ вокругъ меня?.. Что за удивительныя слова слышу я въ пространствѣ вмѣстѣ съ какимъ-то властнымъ голосомъ, приказывающимъ мнѣ произнести ихъ громко?.. Я невольно подчиняюсь этому голосу и прямо изъ моего сердца, или откуда-то еще глубже, плавно, чуть слышно, льются, какъ струйки ручейка, какъ пѣсня жаворонка, звучныя, стройныя строфы:

«Звѣзды, вы, дѣти небесъ,
Пойте свой гимнъ свѣтозарный,
Пойте: «Спаситель Воскресъ!»
Ангелъ сказалъ лучезарный.

Слышишь ты дивный привѣтъ,
Ты, одинокій, родимый...
Здѣсь тебя около нѣтъ...
Въ сердцѣ моемъ ты, любимый...
Ты далеко... ты въ пути...
Все же я вижу родного...
Солнышко! Въ дѣтской груди
Много восторга святого.
Солнышко! сердце поетъ,
Папу Алешу зоветъ...
О, пріѣзжай, ненаглядный!»

Я стою, вся точно заколдованная... Теперь мнѣ понятно только, что слова эти никѣмъ не сказаны, никѣмъ не произнесены, а выросли просто изъ меня, изъ моей груди. Я сочинила ихъ... Я сама!

Шумъ и звонъ наполняютъ мой слухъ, мою мысль, мою голову. Все поетъ, ликуетъ въ моей душѣ. Я сочинила стихи, я, Лидюша Воронская! Я — поэтесса!

— Лиза! Тетя Лиза! — кричу я неистово, — слушай, слушай, что я выдумала! Скорѣй, скорѣй! И Маша... всѣ слушайте, всѣ!

И я пулей влетаю въ кухню, бросаюсь къ тетѣ, отскакиваю отъ нея, потому что въ рукахъ у нея кастрюля съ горячей глазурью и, отлетѣвъ на пять шаговъ, попадаю руками во что-то теплое, мягкое, волнообразное и душистое.

— Барышня! Бабу! Бабу помяли... тюлевую! Ахъ, ты, Господи!

И румяное лицо Маши съ полнымъ трагизмомъ отчаянія предстаетъ предо мною.

Бабу помяла — экая важность! Что такое баба въ сравненіи съ тѣмъ, что я... поэтесса!..

* * *

Колокола гудятъ протяжно, звонко и непрерывно по всему городу. Всюду разставлены плошки, зажжена иллюминація. Стрѣлковая церковь освѣщена тысячью огней. Мы храбро шагаемъ черезъ улицу, на которой послѣдки мартовскаго снѣга еще оставили лужи и неровности. Тетя крѣпко держитъ меня за руку. Катишь идетъ рядомъ. У меня такое сіяющее лицо, точно для меня одной этотъ праздникъ, эти плошки, эта иллюминація.

«Вотъ если бы «солнышко» появился сейчасъ внезапно, вотъ было-бы отлично! — мечтаю я. — А то жди еще три дня. Зато, когда пріѣдетъ, я ему сюрпризъ сейчасъ-же поднесу: такъ вотъ и такъ, цѣлуй свою Лидюшу — она поэтесса!» — И я мысленно повторяю тутъ-же слова моего неожиданнаго стихотворенія:

Звѣзды, вы, дѣти небесъ... и т. д.

Мы пришли какъ разъ во-время. Крестный ходъ только-что обошелъ вокругъ церкви, и священникъ громко и звучно провозгласилъ трижды:

«Христосъ Воскресе! Христосъ Воскресе! Христосъ Воскресе!»

И хоръ грянулъ торжественнымъ, радостнымъ пѣ-

снопѣніемъ. Меня точно оглушило, ослѣпило и отуманило въ первую минуту. Залитая огнями церковь, нарядные туалеты батальонныхъ дамъ, парадные мундиры стрѣлковъ,—какое великолѣпіе!

Но лучше всего и всѣхъ — это радостное, торжественное, полное глубокаго смысла, пѣніе, голубоватый дымокъ, вьющійся изъ кадильницъ, дивныя слова «Христосъ Воскресъ»...

— Неужели это Лидочка? Какъ выросла, похорошѣла! Христосъ Воскресе, дитя мое!—слышится за мною.

Я оглядываюсь. Передъ нами madame Весмандъ и ея мужъ, весь залитый орденами, а рядомъ... Неужели это лукаво улыбающееся, румяное, жизнерадостное лицо, эта красивая голова и гибкая, стройная фигура въ ловко сшитомъ мундирѣ, мой Вова, мой рыцарь, мой прекрасный принцъ? А та нарядная дѣвочка съ рыжими волосами, которая стоитъ за нимъ, неужели это Лили?!

— Лидочка Воронская! Моя невѣста! — слышу я веселый окликъ и вижу широкое хохлацкое лицо Хорченко, съ его бородавкой на лѣвой щекѣ.

— Христосъ Воскресе! Елизавета Дмитріевна, можно похристосоваться съ Лидочкой?

Это говоритъ онъ, Хорченко. А рядомъ съ нимъ стоитъ Ранскій и блѣдный, томный, красивый Гиллертъ.

— Ну, христосуйся-же, Лидюша! — тихо шепчетъ мнѣ Катишь и легонько подталкиваетъ меня впередъ.

— А ты будешь?—спрашиваю я и лукаво прищуриваю одинъ глазъ.

Офицеры улыбаются. Вова хохочетъ. Лицо Катишь дѣлается краснымъ, какъ кумачъ.

— Что касается меня, то я терпѣть не могу лизаться,—говорю я задорно.

— Грѣхъ не христосоваться! Не по-христіански!—говоритъ Хорченко и протягиваетъ мнѣ губы. Я равнодушно подставляю ему щеки, одну, другую, и тотчасъ же вытираю ихъ платкомъ, какъ-бы уничтожая этимъ самый слѣдъ поцѣлуя.

Когда мы вышли изъ церкви (обѣдню стоять мы не могли, такъ какъ тетя Лиза очень устала за страстную недѣлю, съ ея приготовленіями къ Пасхѣ), Вова протиснулся ко мнѣ.

— А со мной ты и не хотѣла похристосоваться, Лида,—сказалъ онъ съ укоромъ.

— Цѣловаться съ тобой! Ты съ ума сошелъ! — съ искреннимъ негодованіемъ восклицаю я.

— Но вѣдь ты же цѣловалась съ этимъ противнымъ Хорченко.

— Слушай, Вова! — говорю я самымъ серьезнымъ тономъ,—неужели ты такая баба, что... что любишь лизаться? Терпѣть этого не могу! И не понимаю даже, что въ этомъ за радость. Вотъ дикіе или китайцы—тѣ остроумнѣе придумали: носъ объ носъ потрутъ — вотъ тебѣ и поцѣлуй...

— А все-таки ты должна похристосоваться со мною! Я такъ долго не видѣлъ тебя,—не унимается Вова.

— Ну, если такъ...—я поднимаюсь на цыпочки, потому что Вова куда выше меня, и чмокаю его прямо въ носъ, и оба мы заливаемся хохотомъ.

Обратный путь отъ церкви куда веселѣе. Тетю уговорили идти разговляться къ Весмандъ, и я по привычкѣ чуть не завизжала отъ восторга, когда она согласилась.

За большимъ столомъ усѣлись около пятидесяти человѣкъ. Вова, Лили, Катишь, Хорченко и Ранскій заняли тотъ конецъ, гдѣ стоялъ залитый чѣмъ-то бѣлымъ отварной поросенокъ съ краснымъ яйцомъ во рту, и Хорченко пресерьезно увѣрялъ Катишь, что видъ этого поросенка чрезвычайно напоминаетъ ему одну мистическую картину о переселеніи душъ въ животныхъ.

— Вотъ и вы когда-нибудь скушаете меня за пасхальнымъ столомъ,—говоритъ онъ всѣмъ намъ, напуская на себя крайне меланхолическій видъ.

— Ну, ужъ нѣтъ,—кричу я чуть не на весь столъ, потому что мой сосѣдъ Ранскій успѣлъ налить мнѣ рюмку наливки, которую я и выпила залпомъ, какъ настоящій лихой гусаръ, — ну, нѣтъ, не придется, — особенно звонко несется мой голосъ подъ вліяніемъ злополучной наливки, — потому что, когда ваша душа переселится, я стану старая-престарая, и поросенокъ мнѣ будетъ не по зубамъ.

— Браво! Лидочка! Браво! За ваше здоровье!—весело подхватилъ Ранскій и чокнулся со мною.

— Лида, а помните, какъ вы трепака плясали?—лукаво улыбается рыжая Лили.

На минуту я конфужусь при этомъ невыгодномъ для меня воспоминаніи, но только на минуту. Вслѣдъ за этимъ я встряхиваю моими локонами, мастерски подвитыми къ заутренѣ тетей Лизой, и говорю:

— Ну, такъ что-жъ, что плясала! Тогда я меньше была и глупѣе. Теперь плясать не буду... Теперь я...

— Что теперь?—насмѣшливо сощурилась на меня Лили.

— Стихи теперь я сочиняю, вотъ что!—неожиданно, помимо воли, вырвалось изъ моей груди.

Ахъ! ненавистный языкъ! Выкинулъ же ты со мной подобную штуку!

— Стихи? Вы—стихи? Лидочка Воронская стихи пишетъ! — умышленно басящимъ голосомъ загудѣлъ Хорченко.—Прочтите намъ, прочтите намъ! Непремѣнно прочтите! Вова, проси хорошенько твоего друга!—накинулся онъ на маленькаго пажика.

— Воображаю эти стихи!—сквозь зубы процѣдила Лили.—Вѣрно нѣчто въ родѣ того какъ:

Тихо все было. Тихо кругомъ
Рано и поздно. Ночью и днемъ,
Рано и поздно, ночью и днемъ,
Ѣмъ я ватрушки да съ творогомъ...

— Ха, ха, ха!—расхохоталась она, довольная своей остротой.

— И вовсе не такое... А стихотвореніе настоящее!—неожиданно обозлилась я,—и если вы такъ говорите...—тутъ я повернула къ ней дерзкое, вызывающее лицо,—то завидуете мнѣ. Да, да, завидуете!—подтвердила я со злостью.

— Какъ можно завидовать тому, чего не знаешь!—пожала она плечами и тотчасъ же добавила съ ноткой презрѣнія въ голосѣ:

— Могу себѣ представить это стихотвореніе, воображаю...

— Прочти его, Лида! Прочти непремѣнно!—попросилъ Володя, очевидно обиженный за своего друга на кузину.

— Да, да, прочтите, Лидочка, непремѣнно! Мы ждемъ!

Не знаю, что сдѣлалось со мною. Но если-бы не задорное поведеніе Лили, я-бы и не подумала прочесть своего произведенія. Но тутъ какое-то странное желаніе «показать себя» овладѣло мною. Я поднялась со своего мѣста и, вся красная отъ смущенія, но съ высоко и гордо поднятой головою, звонко отчеканила:

Звѣзды, стихотвореніе Лидіи Воронской.
Посвящено «солнышку».
Звѣзды, вы, дѣти небесъ, и пр., и пр.

Не успѣла я докончить послѣднюю фразу, какъ

m-me Весмандъ быстро поднялась со своего мѣста, съ шумомъ отодвинувъ стулъ, почти бѣгомъ подбѣжала ко мнѣ, схватила мою голову и, покрывъ въ одну секунду все мое лицо поцѣлуями, прошептала растроганнымъ голосомъ:

— Дѣвочка моя, прелестно! Очаровательно! Такая крошка! Непостижимо!.. Елизавета Дмитріевна, — обратилась она вслѣдъ затѣмъ къ тетѣ,—поздравляю васъ: у васъ не племянница, а сокровище!

Бурный взрывъ апплодисментовъ покрылъ слова генеральши.

Громче всѣхъ апплодировалъ Хорченко.

— Ай да Лидочка, ай да принцесса! Чудо что за дѣвочка! Ай да моя невѣста! Талантъ!

У меня горѣли уши, пылали щеки, а сердце билось такъ, точно выскочить хотѣло изъ груди. Тетя Лиза, умиленная и счастливая, ловила мой взглядъ, Катишь тоже. Я кивала имъ и улыбалась.

Потомъ я быстро повернулась въ сторону Лили, поблѣднѣвшей, какъ мнѣ казалось, отъ зависти, и проговорила насмѣшливо:

— Вотъ вамъ и ватрушка съ творогомъ! Не ожидали?..

Послѣ розговѣнья тетя стала торопиться домой. Возбужденіе, мой тріумфъ, шумное общество—все это сдѣлало свое дѣло. Глаза мои смыкались. Гиллертъ и Хорченко любезно вызвались проводить насъ. Они сложили

крестъ-на-крестъ руки, посадили меня на нихъ, какъ на кресло, и понесли домой.

Дикія грезы окутывали меня сквозь дремоту: мнѣ казалось, что двое вѣрныхъ рыцарей-вассаловъ мчатъ владѣтельную принцессу черезъ горы, дебри и лѣса, спасаясь отъ погони. Дѣйствительность перестала существовать для меня...

Прислуга приняла меня съ рукъ моихъ кавалеровъ и отнесла прямо въ мою комнату.

Сквозь сонъ я слышала, какъ нѣжныя руки тети разстегивали мои крючки, развязывали тесемки, потомъ, какъ кто-то долгимъ поцѣлуемъ приникъ къ моимъ губамъ, и голосъ Катишь прошепталъ чуть слышно:

— Бѣдная наша дѣвочка! Такая таинственная, такая чудная, непосредственная и живая! Не радостную долю уготовала ей судьба!

— Тс! а что, если она не спитъ? — прошептала взволнованно тетя Лиза.

— Да она спитъ какъ мертвая! — повысила голосъ Катишь, — бѣдная дѣвочка! Если-бъ ты такъ проспала подольше!

Я смутно поняла сквозь сонъ, что онѣ меня отчего-то жалѣютъ обѣ... Но отчего? Я не рѣшалась и не умѣла понять. Не все-ли равно, что ждетъ меня когда-нибудь позднѣе? Если сама я—талантлива, умна и мила, какое мнѣ дѣло до всего остального? И тутъ

ужъ я окончательно подчинилась охватившему меня крѣпкому и здоровому сну.

ГЛАВА II.

Ужасное открытіе. — Мое отчаяніе.

СОЛНЦЕ стояло уже высоко, когда я проснулась. Смутное воспоминаніе о чемъ-то радостномъ и до-нельзя пріятномъ сразу толкнулось мнѣ въ голову, лишь только я открыла глаза.

Что было вчера?

Ахъ, да! Стихи! Успѣхъ! Тріумфъ! Апплодисменты! Какъ жаль, что «солнышко» не присутствовалъ тамъ! Должно быть пріятно сознавать себя отцомъ поэтессы!

И я быстро вспрыгнула съ постели и подбѣжала къ туалету. Вотъ такъ поэтесса! Въ зеркалѣ отразилась смѣшная заспанная рожица, всклокоченная голова, большіе темные глаза и потѣшная миніатюрная фигурка въ одной ночной сорочкѣ.

Я начала было пристально разсматривать свое изображеніе, будучи увѣренной найти въ немъ какую-нибудь характерную черту будущей знаменитости, и вдругъ какой-то большой пакетъ, тщательно завернутый въ бумагу и лежавшій на стулѣ, около моей кровати, привлекъ мое вниманіе. Въ два прыжка я была уже подлѣ и трепещущими руками срывала тонкую оберточную бумагу...

Ахъ! Этого я ожидала меньше всего.

Огромная французская кукла въ костюмѣ институтки стояла передо мною въ зеленомъ камлотовомъ платьѣ, въ манжахъ, бѣломъ фартукѣ и пелеринкѣ.

Я ненавидѣла куколъ, но кукла-институтка мнѣ ужасно пришлась кстати. У насъ, седьмушекъ, была мода на куколъ-институтокъ: у всѣхъ было по куклѣ, и у Стрекозы, и у Миши, и у Лорановой, и даже у гордой Голицыной. Мнѣ давно хотѣлось имѣть такую же. А тетя Оля, милая баловница, точно угадала мое желаніе и, вѣрно, сама сшила и платье, и передникъ моей институткѣ.

Я поцѣловала наскоро куклу и перебѣжала къ маленькому столику, сплошь уставленному подарками... Великолѣпный бюваръ отъ «солнышка», чудный зонтикъ отъ тети Лизы, «Всадникъ безъ головы» отъ Катишь, десятифунтовая изящная бомбоньерка съ конфетами, съ надписью *„милой Лидочкѣ отъ стрѣлковъ“*, другая бомбоньерка отъ офицеровъ-товарищей отца и, наконецъ, изящная тросточка, на которой четко вырѣзана надпись: *„Другу Лидѣ отъ товарища“*. Ахъ, Вовка, Вовка, зналъ, чѣмъ угодить! Я схватила тросточку въ зубы, книгу, бюваръ, конфеты—подъ-мышки, куклу и зонтикъ—въ руки, и двинулась было къ двери... Но тутъ вспомнила, что я не одѣта, бухнула все это на постель, расхохоталась, и стала въ дикой пляскѣ кружиться по комнатѣ...

«Нѣтъ,—думала я,—рѣшительно, я самый счастливый человѣкъ въ мірѣ! И любятъ меня всѣ, и стихи писать могу и... и... и...»

Тутъ я стремительно начала мыться, причесываться, одѣваться, и все это разомъ вмѣстѣ, давясь отъ необузданнаго, молодого, безпричиннаго, радостнаго смѣха.

Наконецъ я готова. Быстро скольжу я изъ спальни въ коридоръ, оттуда въ гостиную, и только у порога столовой задерживаю шагъ. Появиться развѣ неожиданно и сдѣлать сюрпризъ Катишь и тетѣ Лизѣ? Онѣ и не думаютъ, что я встала...

Вдругъ чужой голосъ привлекъ мое вниманіе.

— Несчастный ребенокъ,—говорилъ кто-то за дверью въ столовой,—какъ-то она перенесетъ это!

Какой несчастный ребенокъ? Что онъ долженъ перенести? Мое любопытство возбуждено до крайности. Никогда въ жизни не подслушивала я, считая это подлостью, но тутъ...

Въ дверную щелку видно тетю Лизу, Катишь и какую-то чужую даму въ шляпкѣ, очевидно гостью, которую я еще не видѣла никогда. Всѣ трое сидятъ у пасхальнаго стола.

— Жаль! ужасно жаль дѣвочку,—говоритъ дама.—О, она навѣрное приметъ это очень къ сердцу... Вѣдь хотя она и молоденькая еще, все же пойметъ... Мнѣ сейчасъ разсказывали, что она у командира стихи свои читала. Даровитая дѣвочка...

Ахъ! «даровитая», «стихи читала», — значитъ, про меня это, про меня! И сердце мое замерло въ ожиданіи чего-то. Что-то ужасное, кажется мнѣ, услышу я сейчасъ. Господи! Господи!.. Дыханіе перехватывается у меня въ груди... Голова холодѣетъ, и руки, и ноги тоже. Зубы начинаютъ дробно стучать... Вотъ, вотъ, сейчасъ, сію минуту случится что-то... И ужасъ, сплошной холодный ужасъ охватываетъ меня всю съ головы до ногъ.

— Я всѣми силами старалась ради Лидюши удержать Алексѣя отъ этого шага,— съ усиліемъ различаю я голосъ тети. — Я вѣдь предвидѣла, какъ это должно сильно подѣйствовать на бѣдную дѣвочку. Но все напрасно. Мы съ Алексѣемъ ссорились, пререкались, говорили даже грубости другъ другу... Ничего не помогло. Алексѣй женился. У Лидюши мачиха...

«Женился! Мачиха! «Солнышко» женился, женился, женился! Мачиха, мачиха, мачиха!»

Точно дождь забарабанилъ по крышѣ. Точно поѣздъ, стуча колесами, пробѣжалъ гдѣ-то близко, близко отъ меня. И въ воображаемомъ шумѣ колесъ, и въ свистѣ дождя, и кругомъ меня, и подо мной, и надъ моей головой слышалось на всѣ лады, дробно, назойливо, ясно, до боли ясно:

«Женился... мачиха... мачиха... мачиха... Женился»...

Мнѣ хотѣлось удариться объ полъ и зарычать, какъ рычатъ звѣри. Хотѣлось кататься по землѣ, рвать на себѣ волосы, кусаться... Хотѣлось побѣжать куда-то да-

леко, далеко, безъ оглядки, безъ цѣли, чтобы только бѣжать, бѣжать... Но я не бросилась на полъ, не побѣжала. Что-то огромное, страшное бурнымъ ураганомъ подхватило меня, заставило застонать отъ боли. И вдругъ разомъ внезапная тишина воцарилась въ моей душѣ... Я подняла глаза къ небу и, несмотря на то, что было утро, прошептала:

— Звѣзды! Вы, дѣти небесъ! Зачѣмъ вы не спасли меня, Лиду?

И какое-то холодное тупое равнодушіе охватило всю, всю мою душу...

Медленно, осторожно отворила я дверь столовой и вошла. Три женщины, сидѣвшія у стола, тихо ахнули.

— Ты больна, Лидюша! Что съ тобою?—съ ужасомъ вскричала тетя Лиза, взглянувъ на меня.

Должно быть хорошо я выглядѣла въ ту минуту!

Но я не отвѣтила ни слова на ея вопросъ, подошла къ ней вплотную, стиснула ея руку, и сквозь крѣпко сжатыя зубы проговорила какимъ-то чужимъ, не своимъ голосомъ:

— Я все слышала... Я все знаю... Ахъ, Лиза, милая тетя Лиза! За что? За что?.. Онъ «солнышко» мое... онъ — мой папа Алеша, мой дорогой, и вдругъ... «мачиха!». Онъ женился!... Хорошо-же онъ меня любитъ, хорошо, если онъ не пожалѣлъ меня и рѣшилъ дать мнѣ «мачиху!»

Слезы разомъ подступили мнѣ къ горлу и тотчасъ же отхлынули назадъ, во внутрь меня, въ самую глубь моего сердца.

Жгучая, страстная злоба и что-то еще острое, острое, непонятное тогда еще для меня, десятилѣтней дѣвочки, невидимыми иглами вонзились мнѣ въ душу.

— Лиза, тетя Лиза,—вскричала я, какъ безумная,— ты должна мнѣ сказать ея имя!

И я вся дрожала съ головы до ногъ.

Тетя вскинула растерянными глазами на Катишь, Катишь на тетю. Чужая дама суетилась подлѣ меня, предлагая воды, спирту.

Но я отстранила ея руку и снова подняла на тетю Лизу свои широко раскрытые глаза. И вѣрно во взглядѣ десятилѣтней дѣвочки было что-то не дѣтски властное въ ту минуту, потому что голубые, добрые глаза Лизы метнулись въ сторону и скрылись подъ опущенными рѣсницами. Когда она снова подняла ихъ, я ясно услышала, какъ она сказала:

— Ее зовутъ Нэлли Ронова.

И обвивъ мою шею руками, Лиза глухо зарыдала навзрыдъ.

ГЛАВА III.

Безумное рѣшеніе.—Неожиданный утѣшитель.

Я ЛЕЖУ подъ моимъ любимымъ голубымъ одѣяльцемъ.

Одѣяло выстегано тетей Олей, кружева на простынѣ сплетены Линушей, мѣтки на бѣльѣ вышиты

Уляшей. Туфельки, миніатюрныя кавказскія туфельки, стоящія на полу у постели—подарокъ Лизы. Все, куда ни кинешь взглядъ, полно любви, нѣжности, заботы. Онѣ умѣли побаловать маленькую принцессу! И теперь... теперь...

«Звѣзды! Вы, дѣти небесъ», вы видите, что сдѣлали со мною!

И прежнее безуміе отчаянія овладѣваетъ мною...

Завтра пріѣдетъ онъ — «солнышко»! Тетя просила меня не говорить ему, что я все знаю. Ей будетъ непріятно тогда, бѣдной тетѣ! Не надо поэтому показывать вида, что все знаешь... Но какъ скрыть, когда въ сердцѣ что-то оборвалось со звономъ и трепетомъ, какъ струна на гитарѣ?

Звѣзды моей души, вы, дѣти небесъ! Понимаете-ли вы, что это значитъ?!.. Я сама ничего не понимаю. Я не понимаю съ того самаго часа, какъ узнала роковую новость. Это было только вчера, а мнѣ кажется, что уже прошли недѣли, мѣсяцы, годы...

Въ моемъ мозгу сверлитъ неустанно: «У тебя теперь мачиха! Твой отецъ вторично женился... Ему было мало твоей дѣтской любви... Между тобою и нимъ, твоимъ «солнышкомъ», будетъ теперь чужая женщина, которую онъ сдѣлалъ своею женою... Она, эта чужая женщина, должна замѣнить ту, которая лежитъ теперь давно въ гробу и которой ты даже не знала, но къ которой ты, тѣмъ не менѣе, питаешь какое-то странное,

неопредѣленное, неясное, но врожденное, сильное чувство — чувство любви къ родной матери»...

Я рѣдко, почти никогда не вспоминала покойную маму. Я никогда не думала о томъ, какой она была, какъ она выглядѣла. Но теперь мнѣ точно казалось, что она стоитъ тутъ, рядомъ со мною, грустная-грустная, и, обнимая мою голову, говоритъ:

— Да, Лидюша, теперь у тебя будетъ другая мать... будетъ мачиха... Ты у твоего «солнышка» больше не одна... Я понимаю твое горе, понимаю, какъ это тебѣ должно быть обидно... Ты думала, что *онъ* можетъ и долженъ любить только тебя одну, и вдругъ...

И я вскакивала на кровати, билась головою о подушки и повторяла безконечное число разъ:

— Ахъ, Господи! Господи!.. За что Ты меня такъ наказываешь?..

Тетя Лиза долго уговаривала меня, утѣшала. Добрая, милая тетя Лиза всей душой понимала мое горе.

Однако, она не могла утѣшить меня.

«Солнышко», мое «солнышко» рѣшился дать мачиху своей Лидюшѣ! Рѣшился жениться! О!

И передо мною выплылъ ненавистный образъ той, которую «солнышко» сдѣлалъ своею женою: сѣрые близорукіе глаза, неровные, но бѣлые, какъ пѣна, зубы, черные, гладко причесанные съ проборомъ волосы, такіе гладкіе, точно ихъ все время мазали помадой, и худенькая фигурка со впалою грудью...

— Нѣтъ! Невозможно! Я не хочу, чтобы она была моей мачихой!.. Не хочу!.. Умру лучше!.. Да, да, умру, умру!.. Не хочу!.. Не хочу!..—щелкая зубами, вся дрожа и трясясь, кричу я, грозя кулаками моему невидимому видѣнью.—Да, да, умру!.. Непремѣнно умру, во что-бы то ни стало!..

И, не помня себя, я вскакиваю съ постели, накидываю на себя юбочку, платье и босая вылетаю изъ моей комнаты въ коридоръ, оттуда черезъ кухню на черное крыльцо и въ садъ.

Планъ ясенъ и простъ: я хочу умереть. Для этого, какъ я рѣшила, надо только побѣгать хорошенько по сырой, апрѣльской землѣ, еще холодной и застывшей, и схватить горячку, воспаленіе легкихъ, чахотку, тифъ...

Это будетъ моя месть. Месть «солнышку» за то, что онъ любилъ меня слишкомъ мало, за то, что промѣнялъ на какую-то Нэлли Ронову! Покажу же я имъ всѣмъ эту Нэлли Ронову, да!..

И я несусь, какъ угорѣлая, по саду, по холодной, какъ ледъ, дорожкѣ, голыми пятками, чуть касаясь земли.

Въ головѣ въ это время роятся картины.

Я умираю... «Солнышко» и тетя въ трепетѣ окружаютъ мою постель. «Солнышко» рыдаетъ. «Я погубилъ тебя, моя бѣдная дѣвочка, прости, прости! У тебя не будетъ мачихи, ни за что не будетъ!»

И онъ рветъ на себѣ волосы. Но я все-таки умираю... Умерла... Меня кладутъ въ гробъ, непремѣнно

въ бѣлый, въ бѣломъ подвѣнечномъ платьѣ. Вѣдь я «невѣста Христа». Варя Кленова говорила, что всѣ, умирающія дѣвушками—Христовы невѣсты...

Стрѣлки — Хорченко, Гиллертъ, Ранскій и другіе несутъ мой гробъ. А стрѣлковыя дамы, т.-е. жены офицеровъ стрѣлковаго баталіона, наши сосѣдки, всѣ хорошо знавшія меня, плачутъ и говорятъ: — «Такая юная! Такая миленькая, такая талантливая, и умерла! Изъ-за Нэлли Роновой умерла!»... «Да, да, изъ-за нея! Изъ-за нея!» — кричу я, задыхаясь, и несусь впередъ, какъ стрѣла, между голыми, обнаженными кустами смородины и сирени.

Апрѣльская ночь дышитъ мнѣ въ лицо своимъ студенымъ дыханьемъ. Сѣрый полумракъ бѣлой полуночи скользитъ неслышно, какъ призракъ, окутывая прозрачнымъ покровомъ и домъ, и садъ. Тамъ, въ этомъ домѣ, спятъ Лиза и Катишь. Онѣ не вѣдаютъ и не чуютъ, что придумала ихъ взбалмошная «принцесса», ихъ «божокъ»...

А «божокъ» все несется и несется по полянѣ, стуча зубами отъ холода и волненія, злорадно торжествуя свою побѣду... Умру! Теперь уже непремѣнно умру!

Въ углу сада лежитъ огромная куча еще не растаявшаго снѣга. Въ одну минуту я подлѣ. Вбѣжать на этотъ снѣгъ, провалиться въ него по поясъ и остаться въ немъ до утра съ голыми ногами, и — смерть обезпечена, да!

— Кто ты?—говорю я дрожащимъ голосомъ...

Я быстро отбѣгаю вбокъ, дѣлаю разбѣгъ, поднимаю голову и... останавливаюсь какъ вкопанная.

Около снѣжной кучи стоитъ хорошо знакомая мнѣ сѣрая фигура женщины. Я знаю ее. Черные глаза, сверкающіе изъ-подъ капюшона, тоже хорошо знакомы мнѣ. Она является ко мнѣ во второй разъ въ моей жизни: тогда, передъ отъѣздомъ папы на войну, и теперь, передъ моей смертью. Какая-то странная тайна невидимыми узами связываетъ меня съ нею. Кто она— я не знаю. Но что-то свѣтлое и жуткое заразъ испытываю я въ присутствіи сѣрой женщины.

— «Кто ты?»—говорю я дрожащимъ голосомъ.

Она молчитъ, только изъ-подъ капюшона сверкаютъ ея глаза, черные и глубокіе, какъ пропасть.

— «Слушай, кто ты? Ты должна мнѣ сказать, кто ты. Ты всегда появляешься ко мнѣ, когда случается что-нибудь большое! Ты точно охраняешь меня, значитъ любишь! Скажи мнѣ, кто ты и сдѣлай такъ, чтобы я умерла!» И выкрикнувъ съ какимъ-то страстнымъ отчаяніемъ мою фразу, я жду ея отвѣта.

Она тихо качаетъ головою.

— «Ты не умрешь! Ты не умрешь, дитя! Ты должна жить»,—слышится мнѣ тихій, тихій, какъ шелестъ вѣтра, голосъ.

— «Вздоръ!—кричу я изступленно.—Мнѣ тяжело, невыносимо!»

И я со всего разбѣга бросаюсь въ сугробъ.

Ощущеніе холода разомъ протрезвляетъ меня.

Въ ту же минуту кто-то сильный подхватываетъ меня на руки и несетъ куда-то. Сѣрая женщина исчезаетъ, сливаясь съ прозрачными сумерками апрѣльской ночи.

— Лида! Милая, возможно-ли такъ безумствовать!— слышится мнѣ.

Я быстро открываю глаза. Теперь я лежу на садовой скамейкѣ. Высокій, стройный мальчикъ съ блѣднымъ лицомъ стоитъ предо мною.

— Коля! — кричу я неистово, — какъ ты очутился здѣсь, Коля?—и я бросаюсь на шею моего товарища и друга.

— Очень просто, — говоритъ Коля, — вѣдь мы еще не уѣхали съ дачи и живемъ здѣсь. Я видѣлъ тебя у заутрени.

— Почему-же ты не подошелъ ко мнѣ?

— О, ты была слишкомъ великолѣпна. Точно принцесса среди своихъ рыцарей и дамъ...

И онъ тихо улыбается.

— А вотъ какимъ образомъ попала ты босая въ садъ? Объясни, пожалуйста.

— Ахъ, не принцесса я, Коля, принцессы не могутъ быть такъ несчастны, какъ я! — и я судорожно зарыдала, прижавшись къ его груди.

Онъ далъ мнѣ выплакаться, не перебивая моего отчаяннаго порыва горя.

Рыдая и всхлипывая, я разсказала ему все, все: и про «измѣну» «солнышка», и про мачиху, и про мое желаніе умереть.

— Глупая, бѣдная, маленькая дѣвочка! — произнесъ онъ, тихо покачивая головою, — и тебѣ не стыдно? Ну, подумай только, что станется съ твоимъ отцомъ, если ты въ самомъ дѣлѣ заболѣешь и умрешь?

— Ему все равно. Онъ женился на Нэлли Роновой и ему нѣтъ до меня никакого дѣла, — угрюмо глядя мимо Колиныхъ глазъ, говорю я.

— Лида! Лида! Ну, можно ли говорить такъ! — шепчетъ онъ въ испугѣ.

— Умру! умру!—твержу я съ отчаяніемъ, — умру, на зло имъ всѣмъ умру, нарочно! Я самый несчастный человѣкъ въ мірѣ и мнѣ надо умереть!

— Молчи! — вдругъ сердито крикнулъ Коля, — не смѣй такъ говорить!

Я не узнала всегда покорнаго и тихаго голоса моего «рыцаря», такъ онъ выросъ и окрѣпъ въ эту минуту.

— Молчи и слушай! — прибавилъ онъ серьезно и повелительно.

Его лицо блѣднымъ пятномъ свѣтлѣло на фонѣ сѣрыхъ сумерекъ апрѣльской ночи. Глаза блестѣли. Онъ выпрямился и точно выросъ въ эту минуту.

— Слушай, я тебѣ скажу тайну, которую не знаетъ ни одна душа. Эта тайна откроетъ тебѣ, что бываетъ горе и больше твоего... Слушай. Живетъ на свѣтѣ

мальчикъ. Живетъ въ бѣдной маленькой комнаткѣ съ грубымъ, черствымъ и дикимъ человѣкомъ. Человѣкъ этотъ вѣчно золъ, вѣчно желченъ и каждый вечеръ скрывается изъ дому, а когда приходитъ, то отъ него пахнетъ водкой и онъ едва-едва держится на ногахъ. При видѣ мальчика, когда тотъ сидитъ за работой, онъ кидается, какъ дикій звѣрь, на него, отнимаетъ книгу, рветъ ее въ клочья, а мальчика бьетъ, жестоко бьетъ, приговаривая: «Книги до добра не доводятъ. Не читать и не учиться надо, а работать, работать, работать, да!» И когда избитый, израненный мальчикъ теряетъ сознаніе, жестокій человѣкъ оставляетъ его въ покоѣ. И мальчикъ все-таки учится, урывками, тайкомъ, а въ промежутки отъ уроковъ переплетаетъ книги, клеитъ коробочки на продажу и отдаетъ весь заработокъ жестокому человѣку. И все-таки колотушки и побои такъ и сыплятся на него... Ну и пусть бьетъ, пусть увѣчитъ! Мальчикъ всетаки не броситъ ученья никогда! — пылко заключилъ свой разсказъ Коля.

Лицо его поблѣднѣло еще больше. Глаза ярко сверкали на чудно преобразившемся теперь, почти прекрасномъ лицѣ.

— Коля! Милый! Неужели?..—прошептала я, боясь повѣрить тому, что только-что услыхала.

— Смотри! Вотъ! Вотъ слѣды жестокаго человѣка на рукѣ мальчика!—вскричалъ Коля и быстро отвернулъ рукавъ курточки.

На бѣломъ нѣжномъ тѣлѣ этого полу-юноши, полуребенка были частыя синія пятна отъ кисти до плеча. Это былъ сплошной синякъ, слѣдъ безпощадныхъ побоевъ.

— Коля! Бѣдный Коля! — вскричала я, — бѣдный мученикъ!

И прежде чѣмъ онъ успѣлъ отдернуть руку, я быстро прильнула губами къ больному мѣсту.

— Вотъ видишь, Лида, я же терплю! — произнесъ онъ тихо, но значительно. — Терпи и ты! Такъ велитъ судьба!

— Не судьба, а сѣрая женщина! — прошептала я чуть слышно.

— Кто?

Но я не отвѣтила. Чѣмъ-то чудовищнымъ показалось мнѣ выдать мою тайну о ней.

«Если я скажу о моей таинственной сѣрой женщинѣ, она, пожалуй, не будетъ охранять меня больше»,— мелькнуло у меня въ мысляхъ. И тотчасъ-же я прибавила вслухъ:

— Ты ужасно страдаешь, Коля, но... но ты все-таки счастливѣе меня.

— Почему?—спросилъ онъ, удивленный.

— Ты не видѣлъ лучшей жизни!—проговорила я,— а мнѣ... мнѣ... нельзя же быть «принцессой» для того только, чтобы стать Золушкой въ концѣ концовъ... А я буду Золушкой, у мачихи буду... Всѣ мачихи злыя... гадкія и мучаютъ падчерицъ...

— Въ сказкахъ,—поправилъ меня Коля. — Стыдись же вѣрить сказкамъ. Ты уже большая!

— Ахъ! И ты противъ меня! Значитъ ты меня не любишь, не любишь...—вскричала я, вскакивая со скамейки, на которой до сихъ поръ смирно лежала, слушая Колю. — Ты защищаешь ее... и не жалѣешь меня!— твердила я, задыхаясь.—Уйди отъ меня, уйди!

— Нѣтъ, я не уйду отъ тебя. Я долженъ отвести тебя домой. Смотри, ты босая и вся дрожишь. Дай, я тебя отнесу,—предложилъ онъ.

Я устала волноваться. Нервы мои упали. Наступило какое-то оцѣпенѣніе. Адскій холодъ, который я не чувствовала раньше, пронизывалъ меня насквозь. Мои голыя ноги теперь стали синія, какъ у мертвеца. И вся я дрожала, какъ въ лихорадкѣ. Коля былъ выше меня на цѣлую голову и, несмотря на кажущуюся хрупкость, очень сильный мальчикъ для своихъ четырнадцати лѣтъ. Онъ легко поднялъ меня со скамейки и понесъ.

У крыльца онъ спустилъ меня на землю, обнявъ за шею, и проговорилъ торопливо:

— Надо подчиняться... Нельзя быть принцессой, только принцессой всю жизнь... Мнѣ кажется, это только бываетъ въ сказкахъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, я не хочу подчиняться!—закричала я громко и, задыхаясь отъ слезъ, вырвала свою руку изъ руки Коли и скользнула въ дверь, незамѣченная никѣмъ.

ГЛАВА IV.

Встрѣча.—Я заболѣваю.

НА другой день, въ четыре часа, «солнышко» вернулся.

Я сидѣла въ своей комнатѣ и машинально одѣвала свою новую куклу-институтку, когда въ передней раздался громкій и властный звонокъ. *Его* звонокъ! Что-то разомъ замерло во мнѣ и упало. Сердце перестало биться во мнѣ совсѣмъ, совсѣмъ.

Я слышала, какъ онъ спросилъ тетю: «У себя Лидюша?» и какъ тетя отвѣтила: «Въ дѣтской. Не хотите-ли кофе съ дороги?»

«Хотите», а не «хочешь!»

Теперь тайна ихъ натянутыхъ отношеній, ихъ ссоры, перестала быть для меня тайной. Я все понимаю, все! Тетя оберегала меня, охраняла отъ мачихи, а онъ сердился на нее за это, и они поссорились. Я смутно сознаю все это сейчасъ. Смутно оттого, что вся моя мысль стремится къ одному — только бы не броситься къ нему на шею, когда онъ войдетъ. Двѣ недѣли, что я его не видала, кажутся мнѣ вѣчностью, и легко позабыть все ради одного его поцѣлуя, одной ласки! Ахъ, «солнышко! солнышко!» Что ты сдѣлалъ со мной!

И я замираю. Въ гостиной слышатся шаги... Вотъ они ближе, ближе... теперь въ коридорѣ, теперь у самой двери... Сейчасъ онъ войдетъ. Господи, Боже мой, помоги мнѣ!

Вотъ онъ. Кожаная дорожная тужурка, милое, чуть помятое отъ безсонницы въ вагонѣ, лицо, небритый подбородокъ.

О, милый ты мой, милый папа! Все во мнѣ рванулось къ нему навстрѣчу. Кукла отброшена далеко въ уголъ.

— Лидюша! Дѣвочка моя! Радость моя!—ласково вырывается изъ его груди, и онъ широко раскрываетъ объятія.

«Солнышко»! — готово сорваться съ моихъ губъ, но вдругъ кто-то ясно и твердо говоритъ во мнѣ, въ самой глубинѣ сильно бьющагося сердца: «у него есть жена Нэлли Ронова; онъ далъ тебѣ мачиху!» И я останавливаюсь, кусаю губы, и гляжу упорно въ дорогіе, славные, сѣрые глаза, которые недоумѣвающе мигаютъ мнѣ длинными рѣсницами.

— Здравствуй, папа,—говорю я казенную фразу, медленно подхожу къ нему и подставляю свое лицо подъ его губы.

Градъ частыхъ, горячихъ поцѣлуевъ сыплется на мои щеки, лобъ, глаза и волосы.

— Милая моя большая дѣвочка! Милая! Милая моя!— шепчетъ онъ радостный и счастливый въ то время, какъ я стою, холодная и костяная, какъ изваяніе, съ потупленными глазами, не отвѣчая на его горячія ласки. Онъ, наконецъ, замѣчаетъ мое странное состояніе.

— Что съ тобой? Здорова-ли ты? — говоритъ онъ, и въ одну минуту его большая мягкая рука щупаетъ мой лобъ и щеки.

— У тебя жаръ, малютка! Ты нездорова!

Силы небесныя, темныя и свѣтлыя! Что я пережила въ эту минуту!

И все-таки я не кинулась къ нему, не бросилась на шею, не покрыла безчисленными поцѣлуями его робко улыбающагося мнѣ навстрѣчу лица, а какимъ-то деревяннымъ, чужимъ голосомъ отвѣтила на его, полный страха и тревоги, вопросъ:

— Не безпокойся, папа, я здорова!

Но онъ и теперь не замѣтилъ моего состоянія, моего тупого, недобраго, блестящаго взгляда.

— Лидюша, дѣточка моя,—произнесъ онъ радостно вздрагивающимъ голосомъ, — говорятъ, ты стихи для меня сочинила. Хорченко встрѣтился мнѣ на вокзалѣ и сказалъ. Прочти мнѣ ихъ скорѣе, Лидюша, твоему папѣ, прочти сейчасъ!

«Звѣзды, вы, дѣти небесъ» — чуть было не вырвалось изъ моей груди, помимо воли. Но я только крѣпче стиснула губы и, прижавъ руку къ моему сильно бьющемуся сердцу, процѣдила сквозь зубы:

— Не знаю... Не помню... Забыла... Вотъ и все!

Это «вотъ и все» открыло ему глаза сразу.

Въ словахъ «вотъ и все» задорно и дерзко вылилась вся душа взбалмошной, горячей, избалованной натуры. Отецъ быстро вперилъ въ меня пронзительный взглядъ. Глаза наши встрѣтились. Мои — злобно торжествующіе, его—печальные, грустные и добрые, добрые безъ конца.

Мы смотрѣли такъ другъ на друга минуту, другую, третью...

И вдругъ добрые нѣжные глаза моего «солнышка» опустились подъ пристальнымъ взглядомъ гордой маленькой дѣвочки. Когда же онъ поднялъ ихъ снова, я поняла, что онъ понялъ все,—понялъ тяжелую драму, свершавшуюся въ моей душѣ, и мою тоску, и мое горе.

Онъ порывисто обнялъ меня

— Лидюша! Дѣтка моя! Родная моя! — шепнулъ онъ мнѣ тихо и значительно, и глубоко заглянулъ мнѣ въ глаза.

И тутъ случилось то, чего я сама не ожидала. Я вывернулась изъ-подъ его руки и, съ равнодушнымъ видомъ отойдя отъ него на шагъ, на два, сказала:

— Меня Коля Черскій играть ждетъ въ саду, я пойду, папа!

И я быстро выбѣжала изъ комнаты.

. . . . . .

Зачѣмъ, зачѣмъ я сдѣлала это тогда?

Къ несчастью, раскаяніе приходитъ къ намъ гораздо позднѣе, чѣмъ это слѣдовало бы...

Всѣ послѣдующіе дни прошли для меня одной сплошной пыткой. Я рѣдко видѣла папу. А когда встрѣчала, то онъ все куда-то торопился. Такимъ образомъ намъ не было возможности перекинуться словомъ до моего отъѣзда въ институтъ.

Въ воскресенье на Ѳоминой тетя Лиза должна была

отвезти меня опять въ мою «тюрьму», т. е. въ институтъ. Все утро воскресенья я была какая-то бѣшеная: то бѣгала взапуски съ Колей Черскимъ и Вовой, пришедшими проститься со мною, то сидѣла задумчиво, блѣдная, съ широко-раскрытыми, какъ-бы застывшими глазами.

Папа долженъ былъ придти къ завтраку, и я взволнованно ждала этого часа.

За полчаса до завтрака я сбѣгала въ садъ, гдѣ меня ждали Коля и Вова.

— Помни, Лида, не все дѣлается такъ, какъ хочется, — проговорилъ юный Черскій, — надо умѣть покоряться.

— Ну, ты и покоряйся! — со злымъ хохотомъ проговорила я,—а я не хочу и не буду!

— Лидочка, — въ свою очередь произнесъ Вова, — не горюй, пожалуйста. Потерпи немного. Когда я выросту, я пріѣду за тобою, увезу тебя отъ мачихи (онъ уже зналъ, что у меня мачиха) и похищу тебя, какъ богатырь Бова похитилъ сказочную принцессу. Хорошо?

— Хорошо! — отвѣчала я и, наскоро простившись съ ними, помчалась къ дому. Мой слухъ уловилъ знакомые шаги и бряцаніе шпоръ. Я не ошиблась, это былъ папа.

Скучно и натянуто прошелъ завтракъ. «Солнышко» точно умышленно избѣгалъ разговаривать со мною. Во время завтрака почти никто изъ насъ не притронулся

къ ѣдѣ. Когда всѣ встали изъ-за стола, вошелъ денщикъ и доложилъ, что лошади поданы. Я быстро побѣжала одѣваться, а когда вернулась, «солнышко» стоялъ у окна и, барабаня пальцами по стеклу, смотрѣлъ на улицу.

— Прощай, папа!—сказала я спокойно, въ то время какъ сердце мое рвалось на части.

— Прощай, Лидюша!

Онъ наклонился ко мнѣ, перекрестилъ и поцѣловалъ. Я повернулась и пошла къ двери. Мнѣ казалось, что потолокъ рухнетъ надо мною и задавитъ меня своею тяжестью. Но ничего подобнаго не случилось. Мы вышли на крыльцо, тетя Лиза, я и Катишь. Лошадь стояла у подъѣзда. «Сейчасъ, сейчасъ онъ догонитъ меня, бросится ко мнѣ, поцѣлуетъ, унесетъ обратно домой, и мы будемъ счастливы, счастливы, счастливы!» — кричало и стонало все внутри меня. Но онъ не догналъ, не вернулся. Я даже не видѣла его фигуры въ окнѣ, когда мы отъѣзжали. Тогда я поняла, что все кончено, поняла, что я потеряла его...

Всю дорогу изъ Царскаго до Петербурга я упорно молчала и смотрѣла въ окно вагона, приводя въ настоящее отчаяніе бѣдную тетю Лизу.

Въ Петербургѣ мы заѣхали къ тетямъ, передъ тѣмъ какъ ѣхать въ «тюрьму».

— Что такое? Почему ты такъ блѣдна, Лидюша?— спрашивали онѣ съ тревогой, вглядываясь въ мое дѣйствительно измѣнившееся лицо.

— Оставьте ее, дѣвочка все знаетъ, — сказала чуть слышно тетя Лиза.

Тогда Уляша быстро обняла меня и повела къ себѣ.

— Пойди ко мнѣ, я покажу тебѣ монашекъ. Ты ихъ такъ любишь... и все, все, что хочешь, покажу тебѣ въ моемъ туалетѣ!—проговорила она.

Въ другой разъ я бы пришла въ неистовый восторгъ отъ предложенія доброй тети Уляши, но не сегодня... Не сегодня только! Однако, я пошла за нею. Она вынула изъ своего туалета все, что, по ея мнѣнію, могло интересовать меня: и роговую коробочку, и старинный вѣеръ и, наконецъ, черныхъ, какъ уголь, монашекъ, и зажгла ихъ. И тотчасъ же пріятное благовоніе разлилось по комнатѣ. Монашки курились, сизый дымокъ отдѣлялся отъ нихъ и вился къ потолку, все выше и выше. Я смотрѣла на синій дымокъ, дышала пряным ъ ароматичнымъ куреньемъ и голова у меня кружилась, кружилась безъ конца, а тяжелая истома постепенно разливалась по всему тѣлу. И вдругъ, точно тяжелымъ молотомъ, ударило мнѣ прямо въ голову: и туалетъ, и монашки, и сама Уляша — все закружилось, замелькало передъ моими глазами. И точно потолокъ спустился ко мнѣ и придавилъ мнѣ голову. Я хотѣла оттолкнуть его отъ себя, но силъ не хватило и, сильно пошатнувшись изъ стороны въ сторону, я грохнулась безъ чувствъ на полъ. Послѣднее мелькнувшее у меня сознаніе былъ отчаянный крикъ тети Оли, вбѣжавшей въ

комнату въ эту самую минуту. И больше ужъ я ничего не помню, ровно ничего...

. . . . . .

Господи! Какая пытка! Бѣлый коршунъ поминутно подлетаетъ ко мнѣ, кружится надо мною и грозитъ выклевать мнѣ глаза... Его крылья почти касаются моего лица... Но ужаснѣе всего — мнѣ показалось, что это не коршунъ, а... мачиха. Мачиха! Вы понимаете этотъ ужасъ?.. Сѣрая женщина, спаси меня!.. Но она точно не слышитъ. Она проходитъ мимо моей постели, величавая, молчаливая, и только ея черные глаза сверкаютъ подъ капюшономъ, низко сдвинутымъ на лобъ... А вонъ жестокій дядя бѣднаго Коли. Онъ его бьетъ, бьетъ, бьетъ. Господи! Да помогите же, онъ его убьетъ до смерти!.. Коля, милый... бѣгу къ тебѣ... бѣгу... Только... снимите этотъ камень съ моей груди, онъ меня давитъ, давитъ!

Я срываюсь съ мѣста и бѣгу куда-то... Въ то же время что-то холодное, холодное стягиваетъ мнѣ голову. Ни Коли, ни его изверга дяди, ни коршуна нѣтъ... Надо мною склоняется чье-то, какъ смерть блѣдное, лицо, все залитое слезами.

«Это «солнышко»! — мелькаетъ въ моей странно отяжелѣвшей головѣ вялая мысль.

«Это «солнышко»!—и я блаженно улыбаюсь...

Только на вторую недѣлю я пришла въ себя. Я очень больна. У меня оказался тифъ на почвѣ жесто-

чайшей простуды. Бѣготня ночью босыми ногами по саду не прошла даромъ и дала себя чувствовать Я была при смерти. Но молодая натура,—какъ говорилъ потомъ докторъ, — побѣдила смерть. Я стала поправляться...

Первое, что я увидѣла, когда ко мнѣ вернулось сознаніе,—это лицо «солнышка». Но, Боже мой, какое лицо! Исхудалое, блѣдное, унылое... Бѣдное «солнышко»¡ Бѣдный папа!

Всѣ четыре тети стоятъ рядомъ съ отцомъ, точно добрыя феи вокругъ маленькой, любимой, взбалмошной принцессы...

Ноги у меня до того слабы, что я не могу пошевелить ими, а между тѣмъ мнѣ хочется къ окошку, куда ласково и робко заглядываетъ золотое весеннее солнце. Но не только этого хочется мнѣ. Я бы съ удовольствіемъ съѣла мороженаго или... апельсинъ... Вкусный, сочный апельсинъ и непремѣнно «королекъ».

— Хочу королекъ, хочу мороженаго! — тяну я слабымъ, до смѣшного измѣнившимся голосомъ.

Тутъ мои четыре добрыя феи начинаютъ всячески ублажать меня, отвлекать мою мысль отъ злополучнаго апельсина, а «солнышко» цѣлуетъ меня безъ счета, безъ конца.

Но я реву съ горя, не получая апельсина, хотя мнѣ его вовсе не хочется уже, а хочется клюквы, сочной, свѣжей, засахаренной клюквы, которая продается въ фунтовыхъ коробкахъ. Но и клюквы мнѣ

нельзя. И я реву снова. Болѣзнь дѣлаетъ меня раздражительной и капризной.

Зато я могу вдоволь любоваться цвѣтами, которые «солнышко» привозитъ мнѣ каждое утро. Но цвѣты не клюква, какъ это они не могутъ понять!..

Я поправляюсь медленно, ужасно медленно. И съ каждой новой драхмой вливающагося въ меня здоровья во мнѣ появляется безумная потребность жить, жить, жить... О, какъ я была глупа въ ту ночь, когда бѣгала по саду, мечтая о смерти!..

Когда я поднялась съ постели, слабая до жалости, исхудавшая, вытянувшаяся за болѣзнь, то первымъ дѣломъ я потребовала, чтобы меня подвели къ зеркалу.

Господи! Я-ли это? Этотъ высокій, худенькій, стройный мальчикъ съ коротко остриженной головою, съ огромными глазами, занимающими добрую треть его желто-блѣднаго лица, этотъ худенькій мальчикъ, неужели это я—Лидія Воронская?

— О, какая дурнушка! — сокрушенно произнесли запекшіяся отъ жара губы худенькаго мальчика, и я бросилась на грудь одной изъ тетокъ, какъ-бы ища у нея защиты отъ того маленькаго урода, который выглянулъ на меня изъ стекла...

ГЛАВА V.

Принцесса покидаетъ четырехъ добрыхъ волшебницъ.

— ЧТО, Лидюша встала?—услышала я, послѣ моего выздоровленія, знакомый голосъ въ одно теплое апрѣльское утро, когда, сидя подлѣ Линуши, перебирала коклюшки для плетенья кружевъ.

— Встала... давно! — донесся изъ прихожей голосъ тети Оли.

Затѣмъ она значительно тише прибавила:

— Неужели-же сегодня, Алексѣй?

— Что сегодня? что будетъ сегодня?—такъ и встрепенулась я и стремительно взглянула на Лину.

Она была очень взволнована, моя младшая тетка, и старательно избѣгала моихъ глазъ. Вдругъ въ комнату вошла тетя Лиза. Она была блѣдна тою особенною блѣдностью, которая свойственна мертвецамъ.

— Лиза! Милая! Что опять? Что случилось? — дико вскрикнула я, бросаясь къ ней и смутно угадывая инстинктомъ что-то ужасное, огромное и страшное, какъ смерть, что притаилось и ждетъ меня за дверью.

— Лидюша, успокойся, дѣвочка моя, Господь съ тобою!—чуть слышно прошептала Лина, — не волнуйся, тебѣ вредно, родная. Будь умницей... слушай... тебѣ придется уѣхать отъ насъ... Папа твой отправляется въ Шлиссельбургъ, онъ тамъ получилъ назначеніе на

службу и уже переселился туда. Онъ беретъ тебя къ себѣ и къ новой мамѣ... Ты должна ѣхать съ нимъ...

— Ѣхать? Когда?—спросила я.

— Сегодня, сейчасъ,—отвѣтила тетя.

— Сейчасъ!—упавшимъ голосомъ прошептала я, и вдругъ все разомъ выяснилось и просвѣтлѣло у меня въ сердцѣ и въ мысляхъ.

«Должна уѣхать отъ нихъ, отъ милыхъ близкихъ родныхъ, къ ней, къ Нэлли Роновой, къ чужой, ненавистной далекой, которая, однако, имѣетъ уже право, чтобъ ее называли «моей мамой»...

Что-то волчкомъ завертѣлось въ моей больной, ослабѣвшей послѣ тифозной горячки, головѣ... И, задохнувшись отъ жгучаго наплыва отчаянія, я закричала пронзительно и дико:

— Къ мачихѣ!.. Не хочу... не могу къ мачихѣ!.. «Солнышко», не бери меня!.. Милый, не отнимай меня! Оставь у тетей, ради Бога, оставь... «Солнышко»! ради всего дорогого. Не хочу къ мачихѣ, не хочу, не могу!

Я хотѣла добавить еще что-то и запнулась. Онъ стоялъ на порогѣ съ нахмуренными бровями, съ блѣднымъ и невообразимо грустнымъ лицомъ. Губы его замѣтно подергивались, когда онъ произнесъ тихо, но внятно, всѣми силами стараясь казаться спокойнымъ:

— Хорошо... какъ хочешь... оставайся. Богъ съ тобою! Не хочешь къ папѣ ѣхать, не надо... Господь тебѣ судья, дѣвочка... Прощай, Лидюша... Насильно я

тебя тащить не буду... Мало-же ты, однако, папу любишь, если, если...

Тутъ онъ быстро повернулся и пошелъ.

Что-то разомъ захлопнулось въ моемъ сердцѣ. Сейчасъ онъ уйдетъ, тяжелая входная дверь стукнетъ за нимъ, и я его не увижу, быть можетъ, никогда, никогда не увижу больше. Боже мой! Что за пытка! Что за мука!

Я оглянулась на тетокъ. Онѣ всѣ стояли вокругъ тети Лизы, которая, въ полубезчувственномъ состояніи, сидѣла на креслѣ. Ея руки были протянуты ко мнѣ, по лицу текли слезы. Она смотрѣла на меня полнымъ скорбнаго отчаянія взглядомъ и точно прощалась со мною. А отъ двери столовой, тихо звеня шпорами, удалялась высокая фигура того, кого я любила больше жизни.

«Сейчасъ онъ уйдетъ и я его никогда, пожалуй, не увижу, и умру безъ него, умру съ тоски и горя, безъ ласки «солнышка»! Безъ его заботы и любви. О-о! Это выше моихъ силъ! Это невозможно!»—И помимо воли изъ груди моей вырвался крикъ:

— Папа! Постой! Постой, папа! Я ѣду съ тобою!

И тотчасъ же другой стонъ, другой крикъ послышался за моей спиною.

Это тетя Лиза лишилась чувствъ...

Что было потомъ—я смутно помню.

Чьи-то дрожащія руки одѣвали меня, чьи-то горячія губы осыпали поцѣлуями мое лицо, лобъ, щеки...

Папа взялъ меня на руки, всю укутанную платками и косынками, слабенькую, хрупкую, легонькую, какъ пятилѣтній ребенокъ, вслѣдствіе пережитой болѣзни.

Въ дверяхъ онъ замедлился немного, пожалъ руку провожавшей насъ Линуши и сказалъ съ чувствомъ:

— Благодарю васъ за участіе, Лина. Вы видите, всѣ здѣсь смотрятъ на меня, какъ на изверга... Только вы... вы...

Она что-то отвѣтила, но такъ тихо, что нельзя было разслышать. Потомъ папа бережно, какъ драгоцѣнную ношу, снесъ меня съ лѣстницы. У дверей стояла карета. Дворникъ предупредительно распахнулъ дверцу... «Солнышко» осторожно посадилъ меня въ карету. Дверца захлопнулась, лошади тронулись. Я выглянула изъ окна: тетя Оля, моя милая, родная, крестная, махала платкомъ. По ея взволнованному лицу слезы текли градомъ. Я хотѣла крикнуть ей что-то, но голосъ не повиновался мнѣ, языкъ не слушался.

Я только все смотрѣла и смотрѣла на дорогое лицо, въ то время какъ душа моя стыла въ какомъ-то ледяномъ отчаяніи.

Минута... еще минута... и окно съ силуэтомъ тети исчезло. Толчокъ... одинъ... другой... третій, и карета выѣхала за ворота. Я откинулась назадъ и закрыла лицо руками...

Бѣдная Лида! Бѣдная принцесса!

ГЛАВА VI.

Дорога.—Мачиха.

МНѢ казалось, что я умираю. Дѣйствительно трудно было назвать жизнью то состояніе, въ которомъ я находилась, когда карета выѣхала за ворота.

Ѣхали мы ужасно долго. И каждый поворотъ колесъ нашего экипажа отзывался у меня на сердцѣ больно, больно.

Наконецъ мы доѣхали до Шлиссельбургской пристани, гдѣ стоялъ пароходъ, на которомъ мы должны были совершить нашъ путь. Карета остановилась. Папа вышелъ и помогъ выйти мнѣ изъ экипажа.

Я увидѣла Неву, гордую, величавую, только что освободившуюся отъ ея зимняго савана. Кусочки льда, плывшіе изъ Ладоги, бѣлыми чайками мелькали то здѣсь, то тамъ.

Стоявшій у пристани пароходъ свистѣлъ, и черный дымъ траурнымъ облакомъ вился изъ его трубы.

По шаткимъ мосткамъ мы пришли на палубу, оттуда въ каюту.

— Если хочешь отдохнуть—ложись, я разбужу тебя передъ Шлиссельбургомъ, — проговорилъ «солнышко», заботливо заглянувъ мнѣ въ лицо.

Я не хотѣла спать, но и говорить мнѣ не хотѣлось.

Съ той минуты, какъ я выбрала его и покинула тетей, глухая тоска по нимъ жгла мое сердце.

— Хорошо, я буду спать!—проговорила я не своимъ, а какимъ-то деревяннымъ голосомъ, глухо и равнодушно, и растянулась на диванѣ каюты, лицомъ къ стѣнѣ. Онъ перекрестилъ меня и вышелъ на верхнюю палубу.

Я осталась одна.

— О, зачѣмъ я не умерла?—сверлила меня докучная мысль.—Зачѣмъ я не умерла тогда въ тифозной горячкѣ? Было бы лучше, во сто кратъ лучше, лежать теперь въ могилкѣ, нежели ѣхать къ мачихѣ.

Почему-то и теперь, какъ во время болѣзни, я представляла ее не иной, какъ бѣлымъ коршуномъ, выклевывающимъ мнѣ глаза...

Я крѣпко стиснула носовой платокъ зубами, чтобы не разрыдаться навзрыдъ. Въ одну минуту въ воображеніи моемъ предстали, точно живыя, свѣтлыя картины: нашъ домикъ въ Царскомъ, кусты смородины, смѣющаяся рожица Вовы, не по годамъ серьезное лицо Коли и она, моя милая, вторая мама, моя Лиза, вѣчно озабоченная, вѣчно хлопотливая, вѣчно ласковая со мной...

. . . . . .

— Вставай, Лидюша! Пріѣхали!

Неужели я спала? Какъ я могла спать, глупая дѣвочка? Но я спала все-таки безъ малаго четыре часа, потому что пароходъ стоитъ уже у пристани Шлиссельбурга. Папа беретъ меня за руку и мы идемъ. Вмигъ насъ окружаютъ какія-то странныя бородатыя лица. Оборванные люди рвутъ пакеты изъ рукъ отца.

— Это шлиссельбургскіе ссыльные,—говоритъ папа.— Ихъ здѣсь много. Не бойся, пожалуйста. Это самый миролюбивый народъ.

Но я ничего не боюсь. Если-бы мнѣ теперь сказали, что вотъ этотъ, свирѣпаго вида, бородачъ бросится сейчасъ на меня съ ножомъ, и то-бы я не испугалась. Нервы притупились отъ пережитаго волненья, и ничто уже больше не волнуетъ меня.

Вотъ и домъ, въ которомъ поселился папа.

— Мы живемъ близко отъ пристани, — поясняетъ папа.

Мы входимъ на дворъ. Узкіе мостки ведутъ къ крыльцу. Папа звонитъ у подъѣзда.

Лакей, въ бѣломъ жилетѣ, широко распахнувъ дверь, ловко подхватываетъ на руки шинель отца и быстро раскутываетъ меня отъ моихъ безчисленныхъ платковъ и косынокъ.

— Нэлли! Это ты? Я привезъ Лидюшу! — кричитъ папа въ открытую дверь.

Что-то высокое, тоненькое появляется на порогѣ.

— Лидя! ты? Очень рада!

Кто это «Лидя»? Неужели я?

Но меня зовутъ Лидюшей родные, а чужіе—Лидочкой. А то «Лидя»! Ага, понимаю! Мачиха изволила перекрестить меня.

Я молча, съ потупленными глазами, стою передъ ней.

— Здравствуй, дѣвочка, будемъ друзьями! — слы-

шится ея голосъ надъ моимъ ухомъ и, быстро нагнувшись, она цѣлуетъ меня въ лобъ.

Я съ тоскою смотрю на большую, свѣтлую комнату, на огромное дерево черемухи, виднѣющееся въ окнѣ, и на бѣлый лобъ моей мачихи, на которомъ точно вырисованы двѣ узкія полоски бровей. Смотрю и думаю:

«Такъ вотъ ты какая, ради которой моимъ счастьемъ пожертвовалъ «солнышко»!

И мое сердце рвется отъ тоски...

ГЛАВА VII.

Первыя невзгоды.—Вражда.—М-lle Тандре.—Мозоли.—Большой Джонъ.

«ОНА» сказала сегодня, когда мы сидѣли за утреннимъ чаемъ, что смѣшно называть такой большой дѣвочкѣ отца «папой-Алешей» и на «ты», и что сама она всегда говорила «вы» своимъ родителямъ, и при этомъ посмотрѣла на меня своими сощуренными глазами, вооруженными лорнетомъ.

Когда пришелъ «солнышко» къ чаю, я нарочно изъ злости сказала ему:

— Здравствуйте, папа! Какъ вы провели эту ночь? Хорошо-ли спали?

Я умышленно подчеркивала эти злосчастныя «те» и «и» окончаній, въ то время какъ сердце у меня дрожало отъ злости.

И что-же? По лицу «солнышка» промелькнула довольная улыбка.

— А-а! дѣвочка цивилизуется! Ты хорошая воспитательница, Нэлли!—сказалъ онъ и съ галантнымъ видомъ поцѣловалъ руку мачихи.

Мачихѣ, очевидно, понравилось замѣчаніе папы, потому что тутъ-же я узнала изъ ея устъ многое такое, что по ея мнѣнію было дурно, а по-моему считалось вполнѣ естественнымъ и прекраснымъ.

Такъ я узнала, что цѣловать прямо въ губы нельзя—это неприлично; заговаривать первой со старшими за столомъ тоже нельзя, выходить изъ-за стола до окончанія обѣда — тоже нельзя и многое, многое другое...

Удивительное, однако, дѣло! Она никогда не повышала голоса во время своихъ замѣчаній, а когда я дѣлала что-либо несоотвѣтствующее ея убѣжденіямъ, она только вскидывала своими сѣрыми глазами, вооруженными лорнетомъ, и чуть прищуривалась сквозь стекла очковъ. Но на меня ея взглядъ дѣйствовалъ сильнѣе всякихъ замѣчаній.

Такъ какъ въ городскомъ шлиссельбургскомъ домѣ нужно было произвести ремонтъ, то намъ пришлось переѣхать вскорѣ на дачу. «Солнышко» (теперь «рара») нанялъ очаровательную дачу, въ трехъ верстахъ отъ города Шлиссельбурга, на берегу Невы, съ такимъ огромнымъ садомъ, что въ немъ можно было заблудиться.

Тамъ была одна аллея—чудо что такое! Точно кры-

тый ходъ въ римскія катакомбы. Въ концѣ аллеи мое любимое мѣстечко: кусты жимолости разрослись тамъ такъ роскошно, что въ чащѣ ихъ чувствуешь себя совершенно изолированной отъ цѣлаго міра. Въ тѣни ихъ такъ сладко мечтается о тѣхъ, кого я потеряла, можетъ быть, на-вѣки... Вотъ я сижу тамъ... Стрекозы носятся у ногъ моихъ. Надъ головой порхаютъ пестрыя бабочки... Ромашка стыдливо прячется въ травѣ... Все точь-въ-точь какъ въ моей рощѣ, въ Царскомъ Селѣ. Только здѣсь нѣтъ моихъ вѣрныхъ рыцарей, моей свиты. Гдѣ-то они? Думаютъ-ли они, какъ тяжело живется бѣдной, одинокой, маленькой принцессѣ? Вспоминаютъ-ли они о ней?..

Я готова уже предаться самому мрачному размышленію, какъ неожиданно стукъ извозчичьей пролетки привлекаетъ мое вниманіе. Когда кто ѣдетъ по шоссе изъ города, то на нашей дачѣ слышно уже издали. Я люблю прислушиваться къ этимъ звукамъ и воображать, что это ѣдетъ прекрасный принцъ освободить свою томящуюся въ заточеніи принцессу, забывая, что прекрасные принцы не ѣздятъ на извозчичьихъ пролеткахъ...

Черезъ четверть часа пролетка съ грохотомъ въѣзжаетъ въ дубовую аллею, ведущую къ крыльцу нашей дачи, и останавливается передъ нимъ. Я любопытно вытягиваю шею... Вотъ такъ прекрасный принцъ! Нечего сказать!.. Изъ пролетки вылѣзаетъ маленькое, худое, какъ скелетъ, существо, со впалыми щеками, огромнымъ

ртомъ и какимъ-то необычайно меланхолическимъ носомъ, въ допотопной шляпѣ и старой мантильѣ. За этимъ страннымъ уродомъ слѣдуютъ корзины, корзины и картонки, картонки безъ конца. «Что бы это могло значить?—недоумѣваю я.—Что за гостья пожаловала къ намъ на дачу?» Но мнѣ недолго приходится размышлять на эту тему.

— Lydie, où êtes vous? Lydie! Lydie! Lydie! *)

Это голосъ мачихи. Я его узнаю изъ тысячи.

И что за ненавистное имя «Lydie» и это «вы» на французскомъ языкѣ!

Откликнуться или нѣтъ? Поневолѣ надо откликнуться.

Вонъ мелькаетъ въ дубовой аллеѣ высокая фигура въ холстинковомъ платьѣ, изъ котораго какъ-то необыкновенно прилично выходитъ черная, гладко прилизанная головка подъ англійскаго покроя шляпой, а рядомъ ковыляетъ странное маленькое существо съ безобразнымъ лицомъ и меланхолическимъ носомъ.

Я знаю, что мнѣ не укрыться нигдѣ, потому что зоркіе, хотя и крайне близорукіе, глаза мачихи отыщутъ меня всюду, даже на днѣ морскомъ.

— Lydie! Où êtes vous! Repondez donc! **)—слышится подъ самымъ моимъ ухомъ, и, сконфуженная, я вылѣзаю изъ кустовъ.

---

*) Лидія, гдѣ ты?

**) Лидія, гдѣ ты? Отвѣть же!

— La voilà votre élève, m-lle!—произноситъ очень любезнымъ тономъ мачиха,—jusqu'au mois d'Août au moins vous aurez la bonté de veiller la petite! *)

Какъ? Это, значитъ, моя гувернантка? Эта кикимора съ меланхолическимъ носомъ?

Господи! Видѣла-ли я что-либо отвратительнѣе этой смѣшной, жалкой фигуры!

— Bonjour, mademoiselle. J'espère bien que vous m'en traiterez un bon ami **)... обращается ко мнѣ «кикимора» (какъ я разомъ окрестила мою гувернантку).

Господи! Да неужели же всѣ француженки «зеймкаютъ» такъ противно? И зачѣмъ меня не предупреждали что у меня будетъ гувернантка? Нечего сказать, пріятный сюрпризъ приготовила мнѣ мачиха!

Я присѣдаю съ самымъ демонстративнымъ видомъ передъ гувернанткой и вдругъ взглядъ мой падаетъ на ея ноги... Господи! Что это такое? Силы небесныя, свѣтлыя и темныя!.. Вотъ такъ сапоги! Тамъ, гдѣ у людей на ступнѣ полагается имѣть кости, на этомъ самомъ мѣстѣ у бѣдной «кикиморы» дырки, величиною съ грецкій орѣхъ. Сапогъ новешенекъ, а на костяхъ дырки, сквозь которыя какъ въ окошко смотритъ бѣлый чулокъ. M-lle Лаура Тандре (фамилія урода съ

---

*) Вотъ ваша воспитанница! До мѣсяца августа, по крайней мѣрѣ, вы будете столь добры воспитывать эту маленькую...

**) Съ добрымъ утромъ, m-lle. Надѣюсь, что мы будемъ хорошими друзьями.

прорѣзанными сапогами) замѣчаетъ мой удивленный взглядъ, направленный на ея ноги, и подбираетъ ихъ подъ прикрытіе юбки.

— Ахъ! Это у меня вслѣдствіе мозолей...—говоритъ она застѣнчиво.

Мозоли! Вотъ такъ прелесть! У меня въ жизни моей не было мозолей, и я считаю ихъ чѣмъ-то... весьма, весьма неприличнымъ. И вдругъ я на первыхъ же порахъ узнаю, что у бѣдной Лауры Тандре мозоли!.. Примемъ къ свѣдѣнію!

— О! это должно быть непріятно!—говоритъ мачиха по-французски, и я вижу, какъ она силится изобразить состраданіе на своемъ румяномъ лицѣ, — но вы здѣсь поправитесь, m-lle, будете носить легкую дачную обувь... Потомъ, вы такая худенькая, не надо-ли вамъ пить молоко?

— Oh, oui, bien, oui, chère madame! *)—закивала головой кикимора, и на ея меланхолическомъ лицѣ при одномъ напоминаніи о молокѣ появилось сіяющее выраженіе.

— Mais je prefère lait frais trait, chère madame! **)—прибавляетъ она.

— Отлично! — говоритъ мачиха и потомъ, обратившись ко мнѣ, добавляетъ: — Lydie, ты будешь водить

*) О, да! да! дорогая мадамъ!

**) Да, но я предпочитаю парное молоко.

ежедневно m-lle въ селеніе Рыбацкое—оно, ты знаешь, здѣсь близехонько—къ коровницѣ Марьюшкѣ пить парное молоко въ 8 часовъ вечера. Слышишь?

Вотъ такъ удовольствіе!.. Мало того, что придется тащиться по скучному пыльному шоссе, вмѣсто того чтобы гулять по нашему трехдесятинному, большому, какъ роща, саду, —я должна буду еще жертвовать тѣми чудесными часами, которые я провожу всегда на берегу Невы, любуясь, какъ мѣдно-красный дискъ солнца медленно погружается въ свѣтлыя воды!

Я такъ люблю этотъ часъ заката всей душой, — и вотъ, не угодно ли? Сопутствовать кикиморѣ ради ея глупой прихоти пить парное молоко! Ну, и угощу же я ее парнымъ молокомъ, долго будетъ помнить!..

Къ обѣду пріѣхалъ папа и съ такимъ изумленіемъ взглянулъ на мою «кикимору», что я чуть не фыркнула за столомъ.

Ровно въ $7^1/_2$ часовъ мы отправились въ Рыбацкое. «Кикимора» едва-едва поспѣвала за мною въ своихъ продырявленныхъ сапогахъ.

По дорогѣ я самымъ безжалостнымъ образомъ разсказывала ей, какая у меня была раньше красавица гувернантка, что она никогда не пила парного молока, и что у нея было прелестное имя Катишь.

— Она была высока и стройна, какъ тополь,—говорила я, увлекаясь.—Въ глазахъ ея отражалось небо, волосы были черные, какъ ночь, и длинные, какъ вѣч-

ность, а ножки малюсенькія, и носила она такую изящную обувь, что онѣ казались игрушечками!

И говоря это, я дерзко взглядывала на дырявые сапоги моей спутницы, приводя ее этимъ въ неописанное смущеніе.

— Судя по вашему разсказу, ваша гувернантка была дѣйствительно красива,—произнесла она безъ малѣйшей тѣни злобы или раздраженія.

— Катишь была красавица! — проговорила я тономъ, не допускающимъ возраженія, и ускорила шаги. М-lle Тандре поспѣшила за мною.

Уже послѣ перваго разговора я замѣтила, что эта бѣдная француженка была добродушна и безвредна, какъ Божья коровка, и мнѣ было это крайне досадно. Будь она зла, я-бы не замедлила вступить съ нею въ открытую вражду, а теперь—приходилось смириться и ждать.

Коровница Марьюшка, жившая на самомъ краю Рыбацкаго и поставлявшая молоко къ намъ на дачу, сидѣла у ногъ рыжей Буренки и доила ее. Когда мы вошли въ ея хлѣвъ, она тотчасъ же наполнила молокомъ огромную жестяную кружку и передала ее «кикиморѣ». Та, съ непонятнымъ для меня удовольствіемъ (терпѣть не могу парного молока), въ одну минуту осушила кружку. Марьюшка снова наполнила, и Тандре снова выпила кружку до дна.

Я начинала уже приходить въ неописанное изумле-

ніе и широко раскрытыми глазами смотрѣла, какъ эта худенькая, слабая на видъ женщина опорожняла кружку за кружкой. Пѣнящаяся бѣлая влага, доходившая до самыхъ краевъ огромной посудины, содержавшей въ себѣ около бутылки, исчезала въ одно мгновеніе ока въ огромномъ рту скелетообразной француженки. Наконецъ, опрокинувъ пятую по счету кружку въ горло, она какъ-то пріостановилась разомъ и, глядя на меня осовѣвшими глазами, произнесла:

— Il faut que je me repose un peu! *)

Какъ! Только отдохнуть и опять?

Не думаетъ-ли она, однако, выпить заразъ цѣлую корову?

Вѣроятно и Марьюшка боялась того-же. По крайней мѣрѣ, въ ея краснорѣчивыхъ взглядахъ на меня выражался испугъ, почти ужасъ. Я быстро зажала ротъ руками, чтобы не расхохотаться, и со всѣхъ ногъ кинулась изъ хлѣва въ крошечный садикъ, прилегавшій къ избѣ коровницы и... невольно остановилась въ изумленіи. За небольшимъ деревяннымъ столикомъ, на которомъ стояла кринка молока, черный ломоть хлѣба и стаканъ, сидѣлъ очень высокій худощавый молодой человѣкъ, съ черными усиками подъ капризно изогнутымъ ртомъ и съ пронзительными, свѣтлыми глазами, напоминающими глаза ястреба. Его соломенная шляпа

*) Мнѣ необходимо немного отдохнуть!

лежала подлѣ на скамейкѣ, рядомъ съ тросточкой, и каштановые волосы, ничѣмъ не стѣсненные, красиво вились на его очень маленькой изящной головкѣ.

Увидя меня, онъ приподнялся немного и съ самымъ серьезнымъ видомъ отвѣсилъ мнѣ почтительный поклонъ.

Я, не стѣсняясь, сразу спросила:

— Кто вы?

— Кто я?—отвѣтилъ онъ вопросомъ же, и мнѣ показалось что-то странное въ его выговорѣ буквы о. Природные русскіе такъ не говорятъ. Онъ вообще какъ будто подыскивалъ каждый разъ буквы, передъ тѣмъ какъ ихъ произнести и сказалъ не «кто я», а скорѣе «ктоу іа».

— Кто я?—повторилъ онъ своимъ страннымъ говоромъ.—Я Большой Джонъ и только... А вы?..

— Ну, а я кто? Угадайте!—произнесла я весело, безъ малѣйшей тѣни смущенія передъ этимъ большимъ, худымъ и красивымъ человѣкомъ, котораго видѣла въ первый разъ.

— Вы—маленькая русалочка!—произнесъ называвшійся Большимъ Джономъ,—русалочка, конечно!

— Почему русалочка?—удивилась я.

— Потому что я часто видѣлъ маленькую русалочку, которая въ часъ заката сбѣгала по берегу къ самой Невѣ и такъ смотрѣла на солнце въ воду, точно хотѣла броситься туда, внизъ. И это были вы. Такъ-ли я говорю?

— Охъ! Какъ вы узнали?—могла только прошептать я.

— На то я и Большой Джонъ, чтобы знать все, что дѣлается на свѣтѣ. Развѣ можно не видѣть того, что дѣлается, когда я цѣлой головою выше другихъ? А? Какъ вы думаете, маленькая русалочка?

И говоря это, онъ въ одно мгновеніе ока вскочилъ на ноги.

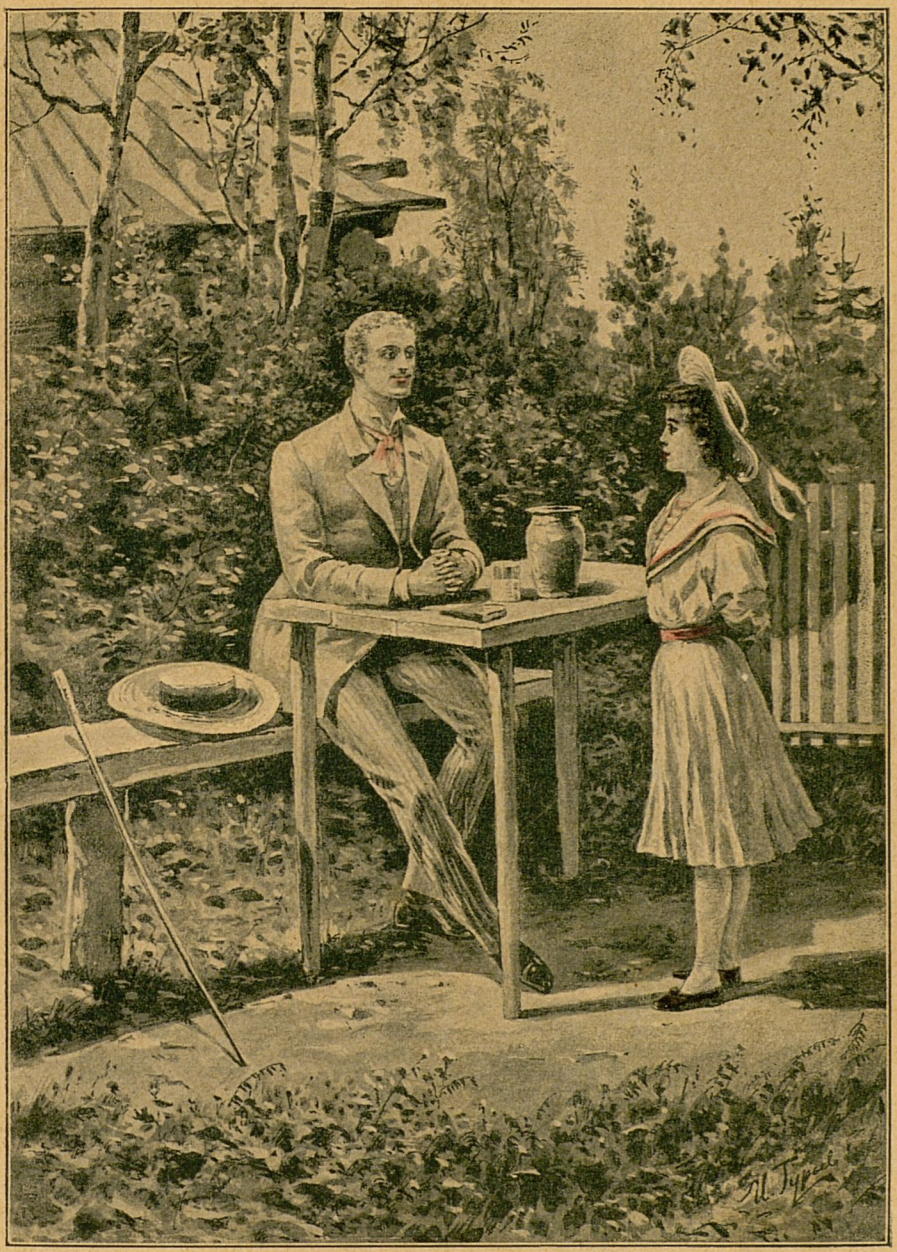
А что это былъ за ростъ! Въ жизни моей я еще не видѣла такого большого человѣка. Положительно великанъ! И его маленькая голова, находившаяся высоко-высоко на длинной къ тому шеѣ, производила впечатлѣніе воробья, усѣвшагося на крышу. Онъ съ такимъ комически побѣдоноснымъ взглядомъ оглянулся вокругъ себя, что я расхохоталась.

— Ахъ, что я! Сейчасъ вылѣзетъ «кикимора» изъ хлѣва и мнѣ достанется! — произнесла я, разомъ спохватившись тутъ-же.

— Кто?—не понялъ Большой Джонъ.

— Моя гувернантка. Она уже пятую кружку въ хлѣву дуетъ...—какъ-то особенно лихо проговорила я.

— Маленькая русалочка!—вскричалъ ужаснымъ басомъ Большой Джонъ, и такъ страшно заворочалъ своими свѣтлыми глазами при этомъ, что я снова расхохоталась,—не находите-ли вы, что слово «дуетъ» подходитъ больше къ вѣтру, нежели хорошенькому ротику маленькой русалочки?.. Вѣдь маленькой русалочкѣ изрядно-бы досталось, если бы это слово услышала женщина съ прищуренными глазами и съ черепаховымъ лорнетомъ, а?



— Кто я?—повторилъ онъ своимъ страннымъ голосомъ...

— Ахъ, вы и это знаете!—вскричала я.

— Большой Джонъ все знаетъ! — торжественнымъ голосомъ произнесъ великанъ.

— И то, что у меня есть мачиха, и что я очень, очень несчастна? — вскричала я голосомъ, внезапно задрожавшимъ слезами. И прежде чѣмъ мой новый знакомый успѣлъ опомниться, я упала головой на столъ и зарыдала.

Онъ далъ мнѣ выплакаться. Потомъ, видя, что рыданія мои не прекращаются, тихонько отвелъ мои руки отъ лица и произнесъ тихимъ, но внушительнымъ голосомъ, прямо глядя мнѣ въ глаза своими острыми, какъ иглы, но добрыми глазами.

— Ай-ай-ай! Маленькая русалочка! Вы забыли, что русалки никогда не плачутъ? Онѣ умѣютъ только пѣть и веселиться. Слезы — признакъ малодушія, слабости... Слабымъ людямъ нелегко бываетъ жить на свѣтѣ. Помните это. Утрите же ваши глазки... Кстати, какого они цвѣта — покажите-ка хорошенько! Ага, зеленые, какъ и подобаетъ быть глазамъ русалки, — цвѣта морской волны, когда вы плачете, и сѣрые какъ сталь, когда вы смѣетесь... Такъ вотъ, моя маленькая русалочка съ зелеными глазками, не плачьте, а когда вамъ будетъ очень тяжело, крикните Большого Джона и онъ поможетъ вамъ развеселиться. А пока до свиданья... Сюда идетъ ваша новая гувернантка, прощайте, русалочка! — и онъ, кивнувъ мнѣ головою,

быстро зашагалъ по шоссе своими невѣроятно длинными ходулями-ногами.

— Allons! *)—произнесла значительно размякшимъ голосомъ (послѣ десятой-то кружки) «кикимора», очутившись подлѣ меня и не замѣчая ни моихъ заплаканныхъ глазъ, ни быстро удаляющейся фигуры гиганта Джона.

Я увидѣла въ рукахъ ея новую, до краевъ наполненную молокомъ жестяную кружку.

— Какъ? Еще?—удивилась я.

— Oh, non! Ça je me garde pour autre chose! **)—поторопилась успокоить меня кикимора, и мы двинулись съ нею въ обратный путь.

Въ тотъ же вечеръ я узнала странныя вещи. Когда, уже раздѣтая, въ ночной сорочкѣ, я лежала въ моей постели, собираясь уснуть, мой слухъ былъ привлеченъ чуть слышнымъ плесканьемъ. Я открыла живо глаза и чуть не вскрикнула отъ изумленія: у умывальника стояла моя «кикимора» и, поливая въ пригоршню молоко изъ кружки, тщательно вытирала себѣ имъ лицо.

— Что вы дѣлаете, m-lle?—неожиданно вырвалось у меня.

— Ah! Lydie... а я думала, что вы спите!..—залепетала француженка, очень смущенная тѣмъ, что я видѣла то, чего мнѣ, очевидно, не полагалось видѣть.—

*) Идемъ!

**) Ахъ, нѣтъ! Это я оставлю на другое.

Voyez-vous *), это молочныя ванны для лица... Онѣ мягчатъ, бѣлятъ и сохраняютъ кожу...

Что я слышу? Она моется молокомъ, чтобы имѣть бѣлую кожу! Очень нужна бѣлая кожа для подобной кикиморы!

И я чуть не задохнулась отъ смѣха, кинувшись лицомъ въ подушки и зажимая себѣ ротъ, чтобы не расхохотаться на весь домъ...

ГЛАВА VIII.

25-е іюля.—Подношеніе.—Сестрички Вилькангъ.—Большой Джонъ появляется, какъ фея изъ сказки.—Я выдаю тайну кикиморы.

ДВАДЦАТЬ ПЯТАГО іюля день ангела моей мачихи. M-lle Тандре, которая оказалась добродушнѣйшимъ существомъ въ мірѣ, разомъ подчинившимся деспотичной власти «маленькой принцессы», еще за мѣсяцъ до этого торжественнаго дня трубила мнѣ въ уши о томъ, что надо сдѣлать сюрпризъ ко дню ангела «maman». Она достала канвы, гаруса, шелку и... и тутъ-то и началось мое мученье. Я должна была вышить плато подъ лампу.

Ахъ, это несносное плато! Я никогда не любила никакихъ «вышиваній», никакихъ «дѣвичьихъ работъ»,

---

*) Видите вы...

какъ выражалась тетя Лиза. Въ жизни моей я сдѣлала одну единственную работу только, — вышила закладку «солнышку», и что это была за закладка! Крестики шли вкось и вкривь, вкривь и вкось. И все-таки закладка показалась достаточно прекрасной моему папѣ; онъ наградилъ меня за нее горячими поцѣлуями и пришелъ въ настоящій восторгъ отъ сюрприза его дѣвочки. Но тогда я работала съ удовольствіемъ и съ любовью усѣивала канву косыми и кривыми крестиками, а теперь, теперь я должна была работать для... мачихи. Немудрено поэтому, если иголка скрипѣла и гнулась въ моихъ рукахъ, дѣлаясь мокрой отъ моихъ вспотѣвшихъ отъ усилія рукъ, а гарусъ пачкался и рвался ужасно. Я приводила въ настоящее отчаяніе мою бѣдную «кикимору».

— Нѣтъ! Не хочу больше работать! — вскрикивала я съ отчаяніемъ въ голосѣ, забрасывая подъ столъ мое злополучное плато.

— О-о! Lydie! Что-же вы подарите вашей maman? — искренно ужасалась Тандре, собственноручно извлекая изъ-подъ стола рѣшительно не задавшуюся мнѣ работу.

— Во-первыхъ, она не maman, а мачиха!—кричала я со злостью, — а во-вторыхъ, вмѣсто этого глупаго плато я ей разскажу лучше сказку, въ которой маленькая принцесса бросается въ воду, оттого что злая мачиха мучаетъ ее...

— О-о, вы не разскажете такой сказки вашей ma-

man, Lydie! — самымъ искреннимъ образомъ пугается гувернантка,—вы не разскажете ее, во имя неба!

— Нѣтъ, разскажу!—закричала я, уже топая ногами.

— Oh! Вы маленькій демонъ въ юбкѣ!—прошептала француженка и стала уговаривать меня «не дѣлать скандала» и продолжать начатую работу, хотя бы только для того, чтобы не огорчить отца.

Послѣднія слова подѣйствовали на меня. Хотя и съ отвращеніемъ, я все-же принялась оканчивать ненавистное плато, дѣлая видъ, что не замѣчаю, что часть работы исполняетъ за меня, подъ предлогомъ «исправленія», m-lle Тандре.

25-е іюля подошло незамѣтно.

«Солнышко» не спалъ наканунѣ всю ночь и украшалъ весь домъ гирляндами изъ зелени и цвѣтовъ. Всѣ окна, двери, вся терраса и балконъ — все было обвито гирляндами и вѣнками. Это было чудо, какъ хорошо! Кромѣ того, по всему фронтону развѣсили фонарики, потому что вечеромъ, когда съѣдутся гости, предполагалось зажечь иллюминацію.

Какъ только мы встали съ Тандре (при чемъ я сразу замѣтила, что съ головой моей гувернантки случилось совсѣмъ необычайнаго рода превращеніе: она легла гладенькая спать, а встала кудрявая-кудрявая, какъ негритянка), и какъ только мы были готовы,—то отправились искать ее.

Она была вся въ бѣломъ. Даже лента для лорнета была бѣлая, а въ волосахъ бѣлый цвѣтокъ.

Я присѣла передъ нею и проговорила казенную фразу: Je vous felicite, maman *) и протянула ей плато. Она какъ-то снисходительно улыбнулась, поцѣловала меня, поблагодарила. Но вслѣдъ затѣмъ прищурила глаза на мою работу и стала внимательно разсматривать. Потомъ, не довольствуясь этимъ, она поднесла лорнетъ къ глазамъ и... и...

— Вотъ здѣсь неправильно вышито, Lydie... — произнесла она своимъ недопускающимъ возраженія голосомъ,—эти крестики должны идти въ одну сторону, а у тебя они въ разныя стороны идутъ... Пора бы, душечка, научиться... Такая большая дѣвочка и не умѣешь вышивать... Mercі, однако, за доброе побужденіе сдѣлать мнѣ пріятное...

И быстро наклонившись ко мнѣ, она вновь напечатлѣла холодный поцѣлуй на моемъ разгорѣвшемся отъ стыда лицѣ.

Вотъ вамъ и сюрпризъ! Я сто разъ пожалѣла въ эту минуту, что не разсказала ей сказку вмѣсто того, чтобы дарить злополучное плато...

Я уже собиралась отвѣтить ей, какъ стали съѣзжаться гости. «Она», положивъ мое плато на столъ, отправилась встрѣчать гостей, но уже черезъ минуту я услышала опять ея голосъ, обращенный ко мнѣ:

— Lydie, вотъ барышни Вилькангъ: миссъ Луиза,

*) Поздравляю васъ, мама.

миссъ Кэтти, миссъ Лиза, миссъ Мэгги, миссъ Алиса, миссъ Елена!

Миссъ!.. миссъ!.. миссъ!.. миссъ!

Я рѣшительно растерялась отъ неожиданности при видѣ шестерыхъ барышень, начиная отъ семнадцатилѣтняго и кончая девятилѣтнимъ возрастомъ. Даже мачиха, видя мои испуганные глаза и растерянный видъ, не могла не улыбнуться. Сестрички Вилькангъ молча присѣдали. Всѣ шесть онѣ были на одно лицо. Рыжеватыя, длинноличыя, худенькія, въ одинаковыхъ платьяхъ и прическахъ. Даже у самой маленькой были волосы собраны въ прическу кренделькомъ на макушкѣ. Ихъ бѣлыя пикейныя платьица поразили меня своей свѣжестью. Все на нихъ корректно до-нельзя и чисто, чисто, чисто. Точно ихъ только-что вытащили изъ ванны, всѣхъ этихъ англійскихъ сестричекъ. Я слышала о нихъ и прежде. «Она» мнѣ ставила ихъ всегда въ примѣръ. «Вотъ барышни Вилькангъ, дочери директора шлиссельбургской ситцевой фабрики, что за милыя англичаночки. Я желала бы, чтобы Lydie походила на нихъ». Такъ «она» говорила...

— Lydie! Займи хорошенько барышень!—обращается она теперь ко мнѣ и тотчасъ же устремляется навстрѣчу новымъ гостямъ.

Что мнѣ сдѣлать съ ними, со всею этой шестеркой, въ безпримѣрно чистыхъ пикейныхъ платьицахъ, въ свѣжихъ желтыхъ ботинкахъ и въ прическахъ à la

кренделекъ? Какъ мнѣ быть съ этой шестеркой, не говорящей ни слова по-русски? Какой чумичкой кажусь я имъ, должно быть, въ моей затрапезной матроскѣ и въ простой соломенной шляпѣ, болтающейся, по обыкновенію, за спиной!

Я набираю воздуху въ грудь, какъ можно больше, и говорю мрачно по-французски:

— Пойдемъ, я покажу вамъ нашъ садъ.

Пикейныя барышни разомъ изъявляютъ свое согласіе.

— Yes! Yes! *) Въ садъ!.. Отлично!—лопочутъ онѣ.

Двѣ изъ нихъ идутъ въ авангардѣ, двѣ по обѣ стороны меня, точно два жандарма около преступника, двѣ замыкаютъ шествіе. Въ такомъ видѣ мы обходимъ весь садъ, мѣрно, большими шагами, прямо глядя передъ собой. Англичанки при этомъ шагаютъ какъ настоящіе гренадеры. И ноги у нихъ такія огромныя въ желтыхъ туфляхъ!

Въ торжественномъ шествіи мы доходимъ вплоть до пруда. На прудѣ качается крошечная лодочка. Мнѣ строго запрещено кататься въ ней, но для такого дня и въ виду посѣщенія пикейныхъ барышень я могу сдѣлать нѣкоторое исключеніе.

— Mesdemoiselles! Я предлагаю покатать васъ въ лодкѣ,—говорю я, въ тайной надеждѣ, что онѣ откажутся. Но, къ ужасу моему, онѣ сразу изъявили со-

*) Да! Да!

гласіе, всѣ разомъ, всѣ шестеро! И едва я успѣла вскочить въ лодку, какъ онѣ всѣ, съ проворствомъ лягушекъ, попрыгали въ нее.

Дѣлать нечего! Расплачивайся за твою торопливость, бѣдненькая принцесса!

Я беру въ руки весла и начинаю грести. Сначала все идетъ отлично. Мы скользимъ по водѣ. Англичаночки притихли и смотрятъ широко-раскрытыми глазами на мутную зеленую жижицу, которая колышется по обѣ стороны лодки! Но вдругъ... стопъ! Что это? Мы сидимъ на мели въ самомъ лучшемъ видѣ. Въ отчаяніи я начинаю работать веслами съ видомъ настоящаго матроса. Но лодка не движется. Я еще работаю — и все-таки не движется.

Ахъ, ты, Господи! Что-же дѣлать? Если-бы ихъ было чуточку меньше, лодка пошла бы. Но цѣлыхъ шесть англичанокъ, хотя и тощихъ и худыхъ — вѣдь это порядочный грузъ! И меня охватываетъ жгучая злоба противъ злополучной шестерки.

— Зачѣмъ васъ такъ много! — разражаюсь я внѣ себя отъ злости внезапнымъ крикомъ. — Было бы васъ двое, трое, и лодка-бы сошла съ мели!

— О yes, yes! — залопотали, съ самымъ невиннымъ видомъ, англичанки, ни слова не понимавшія по-русски и воображая, должно быть, что я говорю имъ что-то очень пріятное.

— Тьфу! — окончательно выхожу я изъ себя и со

злостью такъ ударяю по водѣ весломъ, что въ одинъ мигъ цѣлые милліарды брызгъ окатили всѣхъ сидѣвшихъ въ лодкѣ. Англичанки дико взвизгнули и поддались назадъ. Ихъ бѣлыя пикейныя платьица мигомъ покрылись зелеными пятнами, отвратительными, какъ лягушки.

Зато лодка, отъ движенія въ ней сидящихъ, медленно сошла съ мели и подъ мѣрными ударами моихъ веселъ прямо пошла къ берегу. Черезъ минуту мы были уже тамъ. Но, Боже мой, въ какомъ видѣ оказались мои англичанки! Младшія изъ нихъ горько плакали, глядя на свои испорченные костюмы. Старшія смотрѣли на меня такими глазами, какими обыкновенно смотрятъ на тигра, когда онъ попадается навстрѣчу безоружному путнику въ лѣсу..

Назадъ къ дому мы уже не шли тѣмъ торжественнымъ маршемъ, какимъ обходили садъ... По крайней мѣрѣ у моихъ англичанокъ былъ очень понурый видъ...

Въ дубовой аллеѣ намъ встрѣтилась «она», окруженная цѣлымъ обществомъ нарядныхъ дамъ и кавалеровъ.

— Lydie! Что это значитъ?—въ ужасѣ прошептали ея губы при видѣ плачущихъ младшихъ англичанокъ въ запятнанныхъ платьяхъ и сурово молчавшихъ и надутыхъ ихъ старшихъ сестеръ.

— Мы катались въ лодкѣ, maman... и... и...

— Вы не умѣете держать себя въ обществѣ, ma chère! Поэтому ступайте ко мнѣ въ комнату и сидите

пока васъ не позовутъ оттуда!—произнесла она взволнованно и рѣзко.

Вся красная отъ смущенія, я быстро повернулась и пошла. Мнѣ хотѣлось провалиться сквозь землю. Моя бѣдная маленькая душа разрывалась на части. Но ни одной слезинкой, не единымъ вздохомъ я не показала, какъ тяжело мнѣ было на душѣ. Гордо и спокойно пришла я въ комнату. Но здѣсь и гордость, и спокойствіе сразу точно испарились. Я бросилась на кушетку съ головой, трескавшейся на части отъ самыхъ ужасныхъ мыслей, съ душою растерзанной, какъ никогда, и громко разрыдалась.

«Наказать меня! Лидію Воронскую! Меня, маленькую принцессу! Божка семьи! О! И при томъ на глазахъ чужихъ! «Лиза! Оля! Лина! Ульяша! Зачѣмъ вы допустили отнять меня отъ васъ, взять и увезти! Господи! До чего я несчастна!»—громко причитывала я сквозь слезы.

— Маленькая русалочка! О чемъ вы горюете?—раздался надо мною знакомый голосъ съ иностраннымъ акцентомъ.

Я быстро вскочила съ дивана и подняла голову.

Верхомъ на подоконникѣ сидѣлъ Большой Джонъ. Его длинныя ноги болтались, одна въ комнатѣ, другая въ саду. Лицо улыбалось широкой улыбкой. Острые сѣрые глаза-иглы внимательно и зорко глядѣли на меня.

— Большой Джонъ! Спасите меня! — обратилась я къ нему, вытирая глаза.

— Въ чемъ дѣло, маленькая русалочка?

— Меня наказали... при всѣхъ... прогнали сюда... И все это изъ-за противныхъ пикейныхъ англичанокъ.

— Какихъ? Какихъ?—расхохотался Большой Джонъ.

— Пикейныхъ! Развѣ вы не видѣли ихъ? Отвратительныя чопорныя созданія! Съ рыжими волосами... съ глазами на выкатѣ... О, какія онѣ гадкія всѣ шестеро, точно лягушки!.. Но вы не можете понять меня,—внезапно опомнившись проговорила я,—вѣдь вы не видѣли ихъ...

— Напротивъ, не только видѣлъ, но и знаю ихъ!—усмѣхнулся въ отвѣтъ Большой Джонъ.

— Какъ такъ? — удивилась я. — Вы знаете этихъ шестерыхъ противныхъ англичанокъ? Бррр!

— Еще-бы! Конечно видѣлъ и знаю, потому что онѣ мои родныя сестры! — во весь голосъ расхохотался Джонъ.

Ахъ!

Я сѣла на полъ и закрыла лицо руками.

— Не смущайтесь, милая, маленькая русалочка!—произнесъ Большой Джонъ, разомъ очутившись въ комнатѣ и опускаясь рядомъ со мною на полъ.—Было-бы хуже, если бы вы похвалили ихъ, не считая достойными вашей похвалы... похвалили бы, желая сдѣлать пріятное вашему длинноногому другу. Вѣдь вы меня считаете вашимъ другомъ, не правда-ли, русалочка? Я вижу, какъ довѣрчиво смотрятъ на меня ваши глазки. И въ

качествѣ друга я иду къ вашей belle-mère *) и попрошу у нея прощеніе за васъ.

— Я не хочу просить прощенія!—буркнула я себѣ подъ носъ.

— Очень хорошо быть гордой, русалочка, но все же не мѣшаетъ покаяться въ своей винѣ, когда чувствуешь себя немножко виноватой. Какъ вы думаете по этому поводу?

И онъ состроилъ такую потѣшную физіономію при этомъ, что я невольно громко расхохоталась. Потомъ, не дожидаясь моего отвѣта, вскочилъ на подоконникъ, быстро прыгнулъ за окно, а черезъ минуты двѣ уже принесъ мнѣ прощеніе мачихи.

Въ этотъ вечеръ я ни на секунду не разлучалась съ Большимъ Джономъ. Я полюбила его какъ брата, несмотря на то, что видѣла во второй только разъ. Впрочемъ, его нельзя было не любить. Онъ былъ душою общества въ этотъ вечеръ. Онъ помогалъ «солнышку» устраивать фейерверкъ, помогалъ мачихѣ занимать гостей и, что всего удивительнѣе, растормошилъ своихъ пикейныхъ сестрицъ, которыхъ я въ душѣ окрестила «шестью спящими дѣвами». По крайней мѣрѣ, онъ заставилъ ихъ бѣгать и въ горѣлки, и въ жмурки, и въ пятнашки, наравнѣ со мною. За ужиномъ мы сѣли рядомъ. Онъ болталъ и дурачился во всю. Я была въ восторгѣ, но

*) Мачихѣ.

мнѣ ужасно хотѣлось придумать что-либо смѣшное, чтобы завладѣть общимъ вниманіемъ, какъ завладѣлъ имъ Джонъ. Его лавры не давали мнѣ покоя. Случай не замедлилъ представиться.

Посреди стола стояла большая миска съ простоквашей. Одна изъ сестричекъ потянулась къ ней.

— Нѣтъ, не берите простокваши, миссъ Мэгги,— вскричала я съ громкимъ смѣхомъ, кидая предательскій взглядъ въ сторону моей гувернантки, которая сидѣла по другую руку Большого Джона,—не берите простокваши, она нужна для mademoiselle Тандре. Mademoiselle моется простоквашей каждый вечеръ, чтобы получить бѣлый и нѣжный цвѣтъ лица!

И сказавъ это, я расхохоталась на весь столъ. Лицо «кикиморы» покраснѣло, а потомъ разомъ поблѣднѣло.

Но никто не откликнулся на мой смѣхъ. Неловкое молчаніе воцарилось за столомъ. И вдругъ, послѣ продолжительной паузы, голосъ Большого Джона произнесъ надъ самымъ моимъ ухомъ:

— А вѣдь маленькая русалочка не должна была говорить этого...

Жгучій стыдъ охватилъ мою душу и прожегъ ее насквозь до тла. Я молча опустила голову, не зная, что сказать, что сдѣлать. Потерять во мнѣніи моего новаго друга было бы теперь ужаснымъ несчастьемъ въ моихъ глазахъ. Но у меня тотчасъ же созрѣло рѣшеніе: я быстро вскочила со своего мѣста, подбѣжала

къ Тандре, крѣпко обняла ея сухую, жилистую шею и, наскоро чмокнувъ ее въ щеку, шепнула:

— Ради Бога простите! простите! Я не хотѣла васъ обидѣть... Это у меня вырвалось такъ, нечаянно...

— Я не сержусь на васъ, милое дитя!—поспѣшила отвѣтить француженка.

Спустя секунду, я уже сидѣла на своемъ прежнемъ мѣстѣ и, вся сіяя, спрашивала моего сосѣда:

— Ну что, довольны вы теперь мной, Большой добрый Джонъ?

— Вполнѣ, милая, славная, маленькая русалочка. Пью за ваше здоровье по этому случаю!

И онъ протянулъ ко мнѣ свою рюмку.

Мы чокнулись и разсмѣялись, потомъ чокнулись опять...

Милый Большой Джонъ! Какъ жаль, что онъ доводится братомъ не мнѣ, а этимъ скучнымъ рыжимъ пикейнымъ барышнямъ!..

ГЛАВА IX.

Письмо. — Исторія. — Меня наказываютъ вторично. — Цыганки.

«МИЛАЯ маленькая принцесса! Вотъ уже четыре мѣсяца, что ты уѣхала изъ Царскаго Села, а о тебѣ нѣтъ ни слуху, ни духу. Я и Вова очень соскучились безъ тебя. Съ тѣхъ поръ, какъ ты

улетѣла отъ насъ, маленькая принцесса, мы и не ходимъ въ нашу рощу. Вѣдь намъ не приходится больше играть въ заколдованную принцессу и прекраснаго принца. Для этой игры нужна ты. Непремѣнно ты, и никто больше. Ты одна только умѣла изображать изъ себя настоящую принцессу. Другія-бы дѣвочки не сумѣли сдѣлать этого. И потомъ, на вашъ пустой домъ такъ тяжело смотрѣть, что и не тянетъ въ рощу... Недавно сюда пріѣзжала твоя тетя Лиза. Она не заходила въ домъ, а прошла въ садъ (домъ запертъ на ключъ, и огромный замокъ повѣшенъ у его двери). И она, тетя Лиза то-есть, долго сидѣла въ саду, знаешь, у нашей любимой сиреневой бесѣдки, тамъ, гдѣ разрослись такъ хорошо кусты смородины. И она плакала. Я не знаю, о чемъ она плакала, но мнѣ кажется о томъ, что нѣтъ маленькой принцессы около нея. Ахъ, принцесса... принцесса, какъ жаль, что тебя нѣтъ съ нами! Если-бъ я былъ волшебникомъ, я бы силою чаръ вернулъ тебя сюда обратно. И Вова хочетъ быть тоже волшебникомъ для этой же цѣли. Мы часто играемъ съ нимъ въ саду Бѣлаго дома, и я какъ-то больше сошелся съ нимъ послѣ твоего отъѣзда. Мы достали географическую карту Россіи, гдѣ твой гадкій Шлиссельбургъ обозначенъ маленькой черной точкой. Я смотрю на эту точку, точно надѣюсь, что она обратится въ настоящее изображеніе города, на улицѣ котораго я увижу тебя... Когда-то мы оба тебя увидимъ? Вѣрно, не скоро. Я попрежнему хочу

быть учителемъ, а Вова гусаромъ, но, повторяю, мы бы охотнѣе сдѣлались оба волшебниками, чтобы по мановенію волшебной палочки переселить тебя снова сюда, милая маленькая принцесса! Вова скоро уѣдетъ въ корпусъ. Нина уже уѣхала. Повѣришь-ли, даже она спрашивала о тебѣ!.. Скоро и у меня начнутся мои занятія въ гимназіи. Я радъ этому, ты знаешь: я люблю учиться, хотя одновременно съ этимъ начнутся и исторіи съ дядей. Но теперь онъ сталъ добрѣе. Генералъ Весмандъ досталъ ему такое мѣсто, что онъ совсѣмъ мало бываетъ дома, и я живу почти одинъ. А ты какъ живешь, маленькая принцесса? Какова твоя мачиха? Надѣюсь, что она не такая, какъ мачиха Золушки въ сказкѣ, неправда-ли? Однако, будь здорова! Я, Вова и наша роща шлютъ тебѣ горячій привѣтъ. Еще разъ прощай. Не забывай насъ.

«Коля».

P. S. № 1. Въ вашемъ саду уже поспѣла рябина.

P. S. № 2. Часто читаю «Всадника безъ головы», котораго ты мнѣ подарила на прощанье. И всегда думаю о тебѣ въ это время. Прощай!»

* * *

Милый, дорогой Коля! Онъ вылился весь въ этомъ письмѣ... Такой нѣжный, кроткій, великодушный!.. Я разъ десять подъ-рядъ прочитывала тщательно исписанныя строки, четыре длинныя страницы, безъ единой кляксы, безъ одной ошибки, и готовилась приняться за

него въ одиннадцатый разъ, какъ вдругъ знакомые шаги заскрипѣли по песку аллеи. И прежде чѣмъ я успѣла сунуть письмо въ карманъ, моя мачиха уже стояла передо мною. Я помертвѣла.

Дѣло въ томъ, что всѣ письма, которыя приходили къ намъ, получала всегда сама мачиха. Но сегодня я встрѣтила почталіона у калитки и взяла у него письмо Коли. Разумѣется, я не понесла его къ «ней», а вскрыла и прочла его тутъ-же на скамейкѣ въ дубовой аллеѣ.

— Что это за бумага была сейчасъ у тебя въ рукахъ?—спросила меня мачиха, прищуриваясь по своему обыкновенію и окидывая пронзительнымъ взглядомъ всю мою фигуру.

Казалось, самое письмо Коли, зажатое въ кулакъ, тлѣло у меня въ рукѣ,—такъ горячи были мои трепещущіе пальцы. Потомъ они разомъ стали холодными, какъ ледъ, и вся я стала холодною, когда «она» мнѣ снова сказала своимъ спокойнымъ и строгимъ голосомъ:

— У тебя въ рукахъ было какое-то письмо. Какъ оно къ тебѣ попало и что это за письмо?

Затѣмъ, помолчавъ немного, проговорила:

— Ты мнѣ сейчасъ же покажешь это письмо, сію же минуту, Lydie!

— Ни за что!—вырвалось у меня такъ горячо и неожиданно, что даже мачиха удивленно вскинула на меня глазами.

— Ты мнѣ покажешь письмо сію же минуту!—по-

вторила она еще болѣе вѣско, выговаривая членораздѣльно каждое слово.

Не знаю, что сдѣлалось со мною. Мнѣ показалось такой обидной, отвратительной слабостью отдать ей письмо моего друга, въ которомъ многое ей покажется можетъ быть непонятнымъ и надъ которымъ она даже, пожалуй, посмѣется въ душѣ... О, нѣтъ! тысячу разъ нѣтъ! Я не покажу ей письма...

Между тѣмъ рука ея уже протягивалась къ конверту, который теперь я держала у груди, плотно прижавъ его къ сердцу. Еще минута и оно очутится въ ея пальцахъ.

— Lydie! Въ послѣдній разъ говорю я тебѣ: отдай мнѣ письмо!

— Нѣтъ нѣтъ и нѣтъ!—вскричала я.

И прежде чѣмъ она могла ожидать этого, я быстро скомкала письмо въ рукахъ, въ одну секунду сунула его въ ротъ и стала скоро, скоро жевать его.

— Вотъ! — проговорила я, оканчивая мою работу и выплевывая на землю какую-то грязно-бѣлую массу,— вотъ что сталось теперь съ письмомъ!

Я хотѣла прибавить еще что-то и обомлѣла. Передъ нами стоялъ «солнышко» съ такимъ суровымъ лицомъ, какого я еще въ жизни моей не видѣла у него.

— Вотъ, Alexis, взгляни, какъ отличается твоя дѣвочка,—произнесла мачиха.

Отецъ ничего не отвѣтилъ. Онъ взялъ меня за руку и повелъ. Мы прошли въ зловѣщемъ молчаніи всю ду-

бовую аллею, потомъ большую площадку для крокета, потомъ поднялись на балконъ, а оттуда вошли въ лѣтній кабинетъ отца съ темнозеленою кожаною мебелью, огромнымъ письменнымъ столомъ и безчисленными картинами, развѣшенными по стѣнамъ. Храня то же гробовое молчаніе, «солнышко» подвелъ меня къ дивану, приподнялъ и посадилъ очень глубоко, такъ что спина моя уперлась въ кожаную спинку дивана. Потомъ строго сказалъ:

— Сиди здѣсь до тѣхъ поръ, пока не одумаешься и не попросишь прощенія у мамы... И если ты этого не сдѣлаешь и, вообще, если еще разъ повторится что-либо подобное, то я перестану любить тебя... Пере-ста-ну лю-бить, Лида! Понимаешь?

Онъ перестанетъ меня любить! Онъ, мое «солнышко», онъ, мой папа-Алеша! Онъ, безъ котораго мнѣ радость не въ радость! Жизнь не въ жизнь!

«Папа!—хотѣлось мнѣ крикнуть,—папа, не говори такъ! Папа! Милый! Голубчикъ! Солнышко! Не пугай такъ твою Лидюшу! Папа, золотенькій, драгоцѣнный, ненаглядный мой, я умру, умру, понимаешь, умру, если ты перестанешь любить твою дурную, злую дѣвочку!»

Слова рвались у меня прямо изъ сердца, губы дрожали... Я готова была упасть на колѣни и цѣловать ноги моего отца...

Но, вмѣсто всего этого, я сурово сдвинула брови и, глядя на него исподлобья, угрюмо проговорила:

— Зачѣмъ было брать меня отъ тетей, если ты рѣшилъ не любить меня? Я была-бы у нихъ счастливѣе! Да!

— Лидя!..

Я не узнала въ первую минуту, кто сказалъ это, такъ глухъ и страненъ казался голосъ, произнесшій мое имя. Я медленно подняла голову и искоса глянула на папу. Лицо его было очень блѣдно и нижняя челюсть тряслась.

— Лидя!—произнесъ онъ голосомъ, въ которомъ слышались заразъ и скорбь, и страданіе, и печаль, и угроза.

Мое сердце сжалось при видѣ этого разомъ потемнѣвшаго, осунувшагося лица. Злое, маленькое сердце! Оно не участвовало должно быть въ ту минуту, когда, смѣло глядя въ самые глаза отца, я проговорила, торопясь, волнуясь и задыхаясь отъ невообразимаго прилива горя, злобы, муки:

— Да! Да! Зачѣмъ ты отнялъ меня отъ нихъ, отъ Лизы, Оли, Лины и Ульяши?.. Мнѣ было хорошо тамъ съ ними... Онѣ окружили меня самыми нѣжными заботами... Онѣ полюбили меня... А здѣсь... Господи! Господи! До чего я несчастна! Здѣсь теперь никто уже меня не любитъ... Ты долженъ отвезти меня къ нимъ... Ты долженъ, долженъ, долженъ, папа! Я не хочу быть больше съ мачихой... Не хочу! слышишь? Отвези меня! Сейчасъ же, сію минуту отвези!..

Я судорожно рыдала, вздрагивая всѣмъ тѣломъ, и едва не захлебнулась слезами на послѣднихъ словахъ.

Снова наступило молчаніе, зловѣщее молчаніе. Слышно было только, какъ оса бьется о стекло, не находя выхода на волю...

Мой отецъ смотрѣлъ на меня, скрестивъ руки на груди, стоя передъ диваномъ, въ углу котораго въ конвульсивныхъ рыданіяхъ билась маленькая фигурка. И вотъ его большія руки протянулись ко мнѣ, мягко, но сильно охватили мои плечи, приподняли меня, и въ слѣдующую же минуту я стояла передъ нимъ, вся трепещущая отъ охватившаго меня припадка остраго отчаянія.

— Слушай, дѣвочка!—произнесъ надъ моей головою твердый и звонкій, какъ звукъ металла, голосъ, — ты никогда не вернешься къ нимъ... больше того, ты никогда не увидишь ихъ больше, потому что онѣ своей безумной любовью избаловали тебя, своей нѣжностью изнѣжили, своей лаской изнервничали тебя... Ты не увидишь ихъ больше, повторяю тебѣ, ни за что, никогда!.. Это рѣшено!..

Затѣмъ, громко вздохнувъ, онъ прибавилъ:

— А теперь ты должна сейчасъ же пойти къ мамѣ и просить прощенья у нея...

И съ этими словами онъ круто повернулся и вышелъ изъ комнаты. Его шпоры еще звенѣли въ отдаленіи, когда я быстро вскочила съ дивана и, поднявъ свое залитое слезами лицо къ небу, вскричала:

— Ты видишь, Господи, какая я несчастная! Я не могу больше, не могу, не могу!..

Потомъ я быстро повернулась къ двери и прошептала чуть слышно:

— Вы рѣшили, что я не вернусь больше къ тетямъ, вы не пустите меня къ нимъ, къ моимъ дорогимъ, не отдадите имъ, такъ я уйду сама! Да, уйду, убѣгу! Убѣгу! Сегодня же убѣгу! Это такъ же вѣрно, какъ то, что зовутъ меня Лидіей Воронской!

Я быстро вызвала въ своей памяти милые образы моей дорогой второй мамы Лизы, крестной Оли, Лины, Ульяши. Я ихъ всегда любила безконечно, но въ эту минуту мнѣ казалось, что я обожала ихъ... Самая любовь моя къ «солнышку» померкла и поблѣднѣла, казалось, какъ блѣднѣетъ сіяніе утренней звѣзды передъ разсвѣтомъ. Я видѣла ихъ, только ихъ, моихъ тетей...

Вѣдь «солнышко», — такъ рѣшала я въ умѣ, — не любитъ меня больше, или, по крайней мѣрѣ, онъ сказалъ, что разлюбитъ, если я не попрошу прощенія у «нея»...

Просить прощенія у нея! Ни за что! Ни за что на свѣтѣ! Лучше умереть!

А еще лучше убѣжать! Вотъ именно, убѣжать къ нимъ, къ моимъ добрымъ феямъ!

«Иду, милыя, къ вамъ! Иду! Скоро-скоро увидимся!..» — шептала я въ какомъ-то сладкомъ экстазѣ, протягивая руки впередъ къ милымъ, слабо намѣченнымъ, туманнымъ образамъ, вся сгорая на томъ огнѣ, который пожиралъ меня.

— Lydie! Puis je entrer? *) — послышался голосъ m-lle Тандре за дверью.

— Ma petite Lydie!—говоритъ она сладкимъ голосомъ, осторожно проскользая въ дверь кабинета, — ma petite Lydie, развѣ это такъ трудно попросить прощенія у вашей доброй maman?

— Прощенія? Ни за что!

Я скрещиваю руки на груди и топаю ногою.

— Ахъ, какъ можно!.. — теряется француженка и вдругъ, какъ-бы разомъ спохватившись, говоритъ:

— А какую чудесную лодочку купилъ вамъ сегодня папа!.. Она уже спущена на воду... Не хотите-ли прокатиться по Невѣ? Дворникъ Никаноръ гребетъ отлично...

Лодка! Это новость! Сердце мое вздрагиваетъ отъ радости. Но тутъ-же я вспоминаю какъ разъ во-время: чтобы имѣть право кататься на лодкѣ—необходимо попросить прощенія... Нѣтъ!

И въ слѣдующую же минуту—я полна негодованія и гнѣва.

— Уйдите!—кричу я изступленно, глядя злыми глазами въ лицо Тандре, — уйдите, говорятъ вамъ! Мнѣ никого и ничего не надо!

Она испуганно пятится къ двери и исчезаетъ за нею, бормоча что-то весьма двусмысленно о маленькихъ «демонахъ въ юбкахъ».

---

*) Лидія! могу я войти?

— Никого мнѣ не надо! Никого! Никого! — кричу я и съ новымъ рыданіемъ кидаюсь на кожаную софу кабинета.

— Какъ никого? И меня не надо вамъ даже, маленькая русалочка?—раздается милый знакомый голосъ съ рѣзкимъ, иностраннымъ акцентомъ.

Живо заинтересованная, я поднимаю голову.

Точно колдунъ какой-то въ сказкѣ появляется всегда неожиданно и странно Большой Джонъ.

Должно быть ему жарко, потому что онъ обмахивается шляпой, стоя въ окнѣ.

— Ба-а!—восклицаетъ онъ съ комическимъ видомъ.— Опять наказана маленькая русалочка!

— Оставьте меня!.. Мнѣ не до шутокъ!—бурчу я себѣ подъ-носъ, не желая даже взглянуть на моего новаго друга.

— Развѣ маленькія русалочки умѣютъ капризничать?—говоритъ онъ снова, прищуривая съ гримасой то одинъ глазъ, то другой. И видя, что я молчу, онъ беретъ мою руку и начинаетъ тянуть такимъ голосомъ, какимъ обыкновенно поютъ слѣпые на церковныхъ папертяхъ:

— Я былъ сейчасъ на берегу рѣки Невы глубо-окой... я видѣлъ на ней лодочку ма-а-лень-кую... эту ло-о-до-чку... папа дочкѣ купи-илъ... дочкѣ изба-а-лованной...

И видя, что въ лицѣ моемъ мелькнула слабая тѣнь

улыбки, онъ весело вскричалъ уже своимъ обыкновеннымъ голосомъ:

— Полно кукситься, русалочка! Взгляните-ка лучше, какъ Нева играетъ на солнцѣ, а тамъ, видите, у лѣса, на берегу, костры горятъ. Это цыгане... На зарѣ они пріѣхали цѣльнымъ таборомъ изъ Ладоги, кажется... Пробираются дальше въ Петербургъ. Сейчасъ мнѣ повстрѣчались двое, навязывались погадать. Я и позволилъ сдуру; молоденькая цыганочка мнѣ и счастья, и богатства, и славы, всего посулила, а ея подруга, старая-престарая цыганка, та взглянула мнѣ на ладонь да и говоритъ: «глаза у тебя, молодецъ, ястребиные, а жизни Богъ тебѣ мало дастъ». Каково, а? Вотъ у васъ, русалочка, глаза не такіе и проживете вы сто лѣтъ и три года... и будете вы тогда такая-же дряхлая, какъ старая цыганка... Но что это, русалочка, вы не слушаете меня?

Я, дѣйствительно, не слушала его. Мои глаза, очень зоркіе и острые, какъ у кошки, такъ и впились туда, куда указывалъ Большой Джонъ.

Тамъ, дѣйствительно, мелькали точки костровъ и виднѣлись безобразные контуры крытыхъ холстомъ телѣгъ. Какіе-то смутные силуэты людей мелькали въ отдаленіи.

«Сегодня они пришли изъ Ладоги, завтра или послѣзавтра будутъ въ Петербургѣ,—мелькала у меня смутная мысль, — то-есть тамъ, гдѣ живутъ четыре добрыя

феи, четыре мои тети, которыя тоскуютъ въ разлукѣ съ маленькой принцессой. А что, если?.. Папа сказалъ: «ты не увидишь ихъ ни за что, никогда». И моя мысль и сердце отвѣтили тогда-же: «Я убѣгу! Убѣгу къ нимъ, къ моимъ четыремъ добрымъ феямъ, къ моимъ милымъ тетямъ Лизѣ, Олѣ, Линѣ и Ульяшѣ». У меня нѣтъ денегъ, чтобы ѣхать на пароходѣ, да и потомъ, меня навѣрное, вернутъ тотчасъ же съ пристани въ домъ отца, меня, такую безпомощную на взглядъ, такую маленькую... А что, если съ ними, съ этими смуглыми цыганками пробраться въ Петербургъ? Кто догадается? кто узнаетъ?.. Ахъ! Идея великолѣпна!.. Вечеромъ «солнышко» съ «нею» отправляются въ гости на сосѣднюю дачу... Тандре спитъ крѣпко, какъ сурокъ... и... тогда — прощайте: я убѣгу къ цыганамъ и съ ними доберусь до Петербурга. Это такъ просто, такъ легко!.. Конечно, я не увижу «его» больше. Онъ не проститъ мнѣ никогда моего поступка. Ну, а развѣ такъ онъ проститъ? Развѣ онъ будетъ любить меня такъ же, какъ и раньше, если я не попрошу прощенія у «той»?..

Прощенія! Никогда! Сто тысячъ разъ никогда! Нѣтъ! Нѣтъ!..

И такъ рѣшено: я убѣгу... Когда все смолкнетъ и стихнетъ у насъ на дачѣ, я убѣгу...

— Да что съ вами, русалочка! Что у васъ за трагическое лицо!—произнесъ Большой Джонъ, покатываясь со смѣху.

— Развѣ?—произнесла я, машинально проведя рукой по лицу и широко раскрывая глаза. Трепетъ пробѣжалъ по всему моему тѣлу: у моего окна, по обѣ стороны Джона, точно изъ-подъ земли выросли двѣ цыганки, одна старая, съ крючковатымъ носомъ и острыми черными глазами, съ сѣдыми прядями волосъ, выбивающимися изъ-подъ косынки; другая смуглая, юная, прекрасная, съ черными блестящими волосами. Обѣ онѣ были одѣты въ какія то пестрыя лохмотья, въ которыхъ преобладали желтые и красные цвѣта.

— Ага, опять моя роковая пророчица! — вскричалъ Большой Джонъ, спрыгивая съ подоконника, на которомъ онъ было умѣстился. — Нѣтъ, довольно мнѣ ворожбы!.. Пойду лучше нанесу визитъ вашей maman, русалочка, а вы... берегитесь, русалочка! Онѣ нагадаютъ вамъ много непріятнаго, а, еще хуже, стянутъ что-нибудь!

И съ этими словами онъ удалился, посвистывая себѣ подъ-носъ.

— Давай погадаю, красавица, — широко улыбаясь, проговорила молодая цыганка, обнажая свои бѣлые, какъ пѣна, зубы и обращаясь ко мнѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ, не то... не гадать мнѣ надо! — спѣшно заговорила я, поминутно озираясь,—а только... Какъ тебя зовутъ? — неожиданно спросила я молодую.

— Маріула!—произнесла она снова, блеснувъ улыбкой.

— А это твоя мать?—спросила я, указывая на старую.

Обѣ женщины закивали головами.

— Дай мнѣ денежку, красавица, всю правду скажу,— снова проговорила съ улыбкой Маріула, въ то время какъ ея мать тщательно разглядывала меня съ головы до ногъ.

— Я дамъ тебѣ... денегъ... много... много,—зашептала я спѣшнымъ, прерывистымъ шопотомъ.—Но не я дамъ, а добрыя феи... то-есть тетки мои... Лиза, Оля, Ульяша, Линуша... Онѣ дадутъ... а только за это вы должны довести меня до нихъ... взять въ свой таборъ, когда двинетесь въ Петербургъ... въ столицу... Онѣ тамъ, въ Петербургѣ ждутъ меня... Но меня не пускаютъ къ нимъ... Понимаете? Тети наградятъ васъ... только... только... возьмите меня сегодня съ собою... Я такъ несчастна! Такъ несчастна!..

Цыганки быстро переглянулись между собою, потомъ что-то начали говорить обѣ разомъ на непонятномъ мнѣ языкѣ. Потомъ старуха приблизилась къ самому окошку и, протянувъ черезъ подоконникъ свою крючковатую руку, похожую скорѣе на лапу хищной птицы, такъ поразительно тонки и кривы были ея скорченные пальцы, сказала:

— Ты хочешь бѣжать, дѣвочка, отсюда?

И ея острые черные глаза такъ и впились въ меня.

— Да, да! Спасите меня! Возьмите меня къ себѣ въ таборъ... доведите до Петербурга... Мои тети денегъ не пожалѣютъ, чтобы наградить васъ.. Клянусь вамъ! Клянусь всей душой!

Вѣроятно голосъ маленькой дѣвочки звенѣлъ искренностью и внушалъ вѣру, потому что старуха, обмѣнявшись какою-то фразою съ молодою, проговорила:

— Хорошо, барышня! Мы доведемъ тебя до Петербурга, если ты обѣщаешься дать столько серебряныхъ грошей, сколько умѣстится въ карманѣ старой Катерины.

— Столько и еще больше!—вырвалось пылко у меня.

— Тогда... въ такомъ случаѣ...—и старая цыганка до низкаго-низкаго шопота понизила свой гортанный голосъ,—въ такомъ случаѣ, будь сегодня ровно въ полночь у трехъ сосенъ, что стоятъ на опушкѣ лѣса, у рѣки... Маріула встрѣтитъ тебя и проводитъ къ намъ, въ таборъ... А теперь будь здорова и помни про серебряные гроши.

И она со скоростью молодой дѣвочки отпрянула отъ окошка. Маріула бросилась за ней. Я выглянула тоже изъ окна, желая узнать, кто испугалъ моихъ новыхъ знакомыхъ.

М-lle Тандре, мачиха и Большой Джонъ шли по дубовой аллеѣ къ дому.

ГЛАВА X.

Я привожу свой планъ въ исполненіе.—Въ таборъ!

Я СМУТНО помню, какъ пришелъ и кончился этотъ безконечный день. За обѣдомъ я почти ничего не ѣла. «Солнышко» ни словомъ не обмолвился со мною. О «ней» уже нечего и говорить.

Одна Тандре только производила на протяженіи всего обѣда необычайную гимнастику глазами, желая дать мнѣ понять, что все-таки самое лучшее было-бы попросить прощенія у мачихи. Въ самомъ концѣ обѣда папа поднялъ на меня впервые глаза и проговорилъ сухо:

— Теперь ты можешь не извиняться. Мамѣ не нужно вырванное насильно извиненіе. А завтра я поговорю еще съ тобою...

«Не придется! Завтра я буду далеко, далеко отсюда»,—хотѣла вскрикнуть я, но тутъ же спохватилась, удержавшись съ трудомъ.

Въ восемь часовъ Тандре позвала меня проститься съ папой и «ею», такъ какъ они уходили на весь вечеръ.

Не знаю какой демонъ вселился въ меня, но въ эти минуты я не почувствовала ни малѣйшаго раскаянія, ни желанія передѣлать все, просить прощенія, смириться и остаться подлѣ того, кто до этого дня былъ свѣтлымъ лучомъ моей жизни.

Когда онъ съ тѣмъ же холоднымъ лицомъ крестилъ меня, когда его губы коснулись моего лба поцѣлуемъ, ничто не дрогнуло въ моей душѣ отъ жалости и любви.

«Ты не любишь меня больше и я въ правѣ уйти отъ тебя къ тѣмъ, кто меня любитъ», — медленно и звонко выстукивало мое оскорбленное сердце. И съ потупленными глазами и блѣднымъ лицомъ я отошла отъ него.

— Bon soir, Lydie! — произнесъ холодный, ровный голосъ «ея», но я сдѣлала видъ, что не слышала его.

Однако, Тандре вернула меня, и тихо шепнула по-французски:

— Вы не слышите, Lydie? Ваша maman прощается съ вами.

Тогда медленными шагами я вернулась и произнесла:

— Bon soir, maman.

— Развѣ ты не слышала маминыхъ словъ? — спросилъ отецъ строго.

— Слышала,—отвѣчала я.

Онъ только сердито нахмурился и ничего не сказалъ.

Потомъ они ушли, а я осталась.

Не отрываясь, смотрѣла я на быстро удаляющуюся фигуру отца подъ руку съ «нею», смотрѣла и думала:

«Завтра ты меня больше не увидишь! Будь счастливъ! Забудь Лидочку!.. Забудь, забудь!»

Потомъ я бросилась тутъ же на траву и, прижимаясь горячимъ лбомъ къ влажной землѣ, шептала:

— Одинокая... нелюбимая... несчастная... заброшенная!.. Не могу здѣсь оставаться, не могу... не могу!..

И сердце мое рвалось отъ жалости къ маленькой принцессѣ, къ себѣ самой...

. . . . . .

Боже мой, какая черная ночь! Ни зги не видно. Въ такую же ночь мы съ Катишь были свидѣтельницами страшнаго случая на дачѣ въ Царскомъ. И теперь

предстоитъ случай, только нѣсколько иной, особенный...

Маленькая дѣвочка, съ большимъ, неумѣющимъ прощать и смиряться сердцемъ, медленно поднимается на локтѣ и прислушивается минуту, другую... За окнами шумятъ деревья, да тяжело подъ порывами вѣтра ударяется парусина о балки террасы. Мѣрное дыханіе Тандре чуть доносится до меня, заглушаемое ропотомъ деревьевъ и свистомъ вѣтра. Какъ темно въ саду! Только тамъ вдалекѣ бѣлѣется смутнымъ сѣрымъ пятномъ дорога. По ней мнѣ придется идти туда къ лѣсу, гдѣ у трехъ сосенъ у опушки ждетъ меня Маріула. Нельзя терять времени ни минуты, пора!

Я быстро вскакиваю съ постели, проворно одѣваюсь и, захвативъ съ собой золотые часики, которые мнѣ остались послѣ мамы и которые я постоянно носила на шеѣ, надѣваю на руку тоненькій портъ-бонеръ (ея-же), а затѣмъ проскальзываю на балконъ.

Это уже второе бѣгство за мою коротенькую жизнь: тогда это было въ первую мою ночь въ институтѣ... Но какая однако разница! Тогда я бѣжала къ тетямъ, мечтая, что вернусь къ моему «солнышку», теперь же я бѣгу отъ него...

Быстро распахиваю я дверь балкона. Что-то мохнатое кидается мимо меня, и въ ту же минуту я слышу дребезжащій грохотъ посуды, упавшей на полъ. Холодный потъ выступаетъ у меня на лбу, но я тотчасъ

же догадываюсь въ чемъ дѣло и въ слѣдующую же секунду готова разразиться неудержимымъ смѣхомъ: очевидно, кошка, забравшаяся на балконъ, прельстилась простоквашей француженки, которую та оставила себѣ для обычнаго обмыванія на утро.

Неожиданно голосъ Калины, нашего лакея, раздался поблизости:

— Кто тутъ шумитъ? Откликнись!—произнесъ этотъ голосъ совсѣмъ близко отъ меня.

Я мигомъ сбѣжала со ступеней балкона и, присѣвъ у ближайшаго куста, затихла, какъ мышка. Шаги Калины заглохли въ отдаленіи. Тогда я быстро вскакиваю на ноги и лечу... лечу стрѣлой, точно за мною гонится самъ Вельзевулъ съ милліардами его черныхъ слугъ... Бѣгу сначала по дубовой аллеѣ, потомъ мимо моего милаго уголка и, наконецъ, выскакиваю за калитку и вихремъ мчусь по дорогѣ. Мое сердце бьется такъ сильно, что даже страшно становится за него, вотъ-вотъ сейчасъ оно дрогнетъ и разорвется на части. Но остановиться нельзя... Меня могутъ схватить каждую минуту, догнать, вернуть...

Невольная радость охватила меня, когда я ураганомъ влетѣла на опушку лѣса, гдѣ три огромныя сосны медленно и важно покачивали мохнатыми верхушками. Слава Богу! Я у цѣли!

— Маріула, гдѣ вы?—крикнула я, уже ничего не опасаясь въ этой черной чащѣ подъ покровомъ ночи,

гдѣ ни одна душа не отыщетъ меня, затерявшуюся во мракѣ.—Гдѣ вы, Маріула, отзовитесь же! — повторила я громче.

Отвѣта не было.

— Маріула! Маріула! Маріула! — закричала я уже съ признаками волненія въ голосѣ, ужасаясь одной мысли о томъ, что молодая цыганка не придетъ за мною.

Черныя сосны, казавшіяся страшными призраками во тьмѣ, вторили моему отчаянному призыву своимъ тихимъ меланхолическимъ шумомъ.

— Маріула! — уже дрожащимъ отъ отчаянія голосомъ вскричала я.—Если ты здѣсь, откликнись, Маріула!

Но лѣсъ молчалъ, и ночь тоже.

На одну минуту у меня явилась мысль вернуться назадъ, но тотчасъ же я съ ненавистью отбросила ее.

— Нѣтъ! Надо идти! Идти, во что бы то ни стало, прямо въ лѣсъ... отыскать таборъ! Да! Во что бы то ни стало!

И вся охваченная этимъ однимъ желаніемъ я бросилась въ чащу.

Деревья обступили меня теперь такъ тѣсно, что я должна была протянуть руки и ощупывать путь, чтобы не разбить себѣ голову о первую встрѣчную сосну. И чѣмъ дальше я шла, все мучительнѣе и труднѣе становился путь. Наконецъ, я совсѣмъ выбилась изъ силъ.

Мои руки, исколотыя и исцарапанныя о встрѣчные суки, не могли больше служить мнѣ. Ноги подгибались и подкашивались отъ усталости... Дальше идти не было никакой возможности,—я поняла это, какъ дважды два четыре, и готова была уже тяжело рухнуть на землю, чтобы дать отдыхъ моимъ измученнымъ членамъ, какъ неожиданно чьи-то руки схватили меня въ темнотѣ.

Я дико вскрикнула и отшатнулась назадъ.

— Тише... не пугайся, пожалуйста.... Это я, Маріула,—услышала я въ тотъ же мигъ гортанный голосъ молодой цыганки.

— Маріула, вы! Какъ я счастлива!

— Опоздала... Невозможно было идти раньше... Ужинъ надо дѣлать было... Матушка велѣла сперва справиться, а то наши вернутся съ работы... и тогда больно досталось бы Маріулѣ!.. Да и то, вѣроятно, пришли уже... Идемъ... скорѣе...

И она быстро повлекла меня за собой.

Странно! Прежней моей адской усталости какъ не бывало. Надежда окрылила меня, должно быть, и давала мнѣ новыя силы. Къ тому же Маріула была въ этомъ черномъ лѣсу, какъ дома. По крайней мѣрѣ, мы не наткнулись ни на одинъ сукъ, ни на одинъ кустъ. Скоро мы свернули направо, потомъ еще направо, и огонь костровъ ударилъ мнѣ прямо въ глаза.

Передъ моимъ изумленнымъ взоромъ внезапно предстала картина цыганскаго табора во всемъ его убожествѣ.

Передъ моимъ взоромъ предстала картина цыганскаго табора...

— Мы дома! — сказала Маріула и выпустила мою руку.

ГЛАВА XI.

Золотая приманка.—Я узнаю ужасныя вещи.

ЧЕТЫРЕ цыганки, въ ихъ числѣ одна уже знакомая мнѣ старуха, наворожившая скорую смерть Джону, сидѣли около пылающаго костра, надъ которымъ, привѣшенный къ желѣзнымъ прутьямъ, висѣлъ довольно сомнительной чистоты котелокъ. Въ немъ варилось что-то. Три остальныя цыганки были еще молоды; послѣдняя изъ нихъ казалась дѣвочкой лѣтъ 15-ти. У одной изъ нихъ, съ рябымъ, измученнымъ болѣзнью и нуждою лицомъ, былъ грудной ребенокъ на рукахъ. Около котла возилась плотная, высокая цыганка съ тупымъ, глуповатымъ лицомъ. Въ нѣкоторомъ отдаленіи стояли двѣ крытыя телѣги; къ одной изъ нихъ была привязана худая, какъ скелетъ, собака, а у колесъ—четверо полуголыхъ, грязныхъ, кудрявыхъ ребятишекъ играли, подбрасывая камешки, и такъ взвизгивали при этомъ, что звонъ стоялъ въ ушахъ отъ этого крика. Полная цыганка, при видѣ меня и Маріулы перестала мѣшать въ котлѣ и подошла къ намъ.

— Хорошенькая дѣвочка! Куда лучше нашей Катеринки! — проговорила она въ то время, какъ старуха кивала мнѣ головой.

Та, которую звали Катеринкой и которую я считала ребенкомъ въ первую минуту, оказалась высокой, мускулистой дѣвушкой со злыми, черными глазами и тонкимъ ртомъ.

Она подошла ко мнѣ, окинула всю меня съ головы до ногъ пристальнымъ взглядомъ сверкающихъ, какъ уголья, глазъ, и разомъ остановивъ ихъ на золотыхъ часикахъ, висѣвшихъ у меня на груди, вскричала гортаннымъ голосомъ:

— Дай-ка мнѣ эту блестящую игрушку. Что тебѣ въ ней?

Я инстинктивно схватилась рукою за грудь.

— Нѣтъ, нѣтъ, этого нельзя. Это память моей матери. Я никогда не разлучаюсь съ ними! — проговорила я взволнованнымъ голосомъ.

— Дай же, дай! — повышеннымъ тономъ твердила она.—Что-жъ, что память? Память въ мысляхъ, а это золото на груди. Дай золото—счастлива будешь!

И, такъ какъ я все еще прикрывала рукою мое сокровище, черноглазая Катеринка грубо схватила мою руку и уже готовилась сорвать часы съ моей груди, но полная цыганка быстро подбѣжала къ ней и, грубо толкнувъ ее въ спину, закричала:

— Ну... ну! Не больно-то спѣши! Часы не твои, а таборные...

— Какъ таборные?—вырвалось у меня...—Мои часы, а не таборные! Что вы говорите?

— Ну, ужъ это ты врешь... и часы наши... и вотъ эта кофта (тутъ она указала пальцемъ на мой лѣтній жакетъ), и сапоги твои — все наше! Да! Да, наше, таборное... И сама ты наша, да!

— Но... вѣдь тети отдадутъ вамъ деньги за меня, когда мы доберемся до нихъ! — вскричала я съ отчаяніемъ въ голосѣ.

— Эхъ, когда еще отдадутъ, и когда мы доберемся до Питера? Вѣдь еще неизвѣстно, куда наши «большіе» поведутъ таборъ... Пока прямо на Свирь пойдемъ, по каналамъ...

Ужасъ охватилъ меня.

— Какъ на Свирь? — закричала я, исполненная отчаянія,—а я-то какъ-же? Вѣдь вы меня въ Петербургъ обѣщали доставить къ тетямъ!

— Мало что обѣщали!—отвѣтила грубымъ голосомъ Катеринка.—Ну, да что съ тобой разговаривать!.. Снимай сапоги и платье, и золото къ тому-же, и давай намъ... Да поворачивайся-же! Сейчасъ наши придутъ съ работы... До нихъ надо промежъ собой подѣлиться, а то отнимутъ, чего добраго!

— А потомъ вы отпустите меня домой?—произнесла я прерывающимся отъ волненія голосомъ.

Дѣйствительно, куда-же мнѣ было дѣваться, какъ не домой обратно съ повинной и смиреніемъ. Вѣдь не на Свирь-же ѣхать съ таборомъ!

Катеринка молчала, полная цыганка тоже. Старуха

же сосредоточенно глядѣла на огонь костра. Тогда худая, блѣдная, рябая цыганка, кормившая своего ребенка, проворчала сердито:

— Пусть убирается на всѣ четыре стороны! Куда намъ ее! И самимъ-то ѣсть нечего! Вонъ дѣти-то какія худыя стали: Иванка совсѣмъ зачахъ, чѣмъ мы ее кормить станемъ?

— Хорошенькая дѣвочка, жаль! — проговорила старуха, одобрительно кивнувъ изъ-за костра.

— Мало что! Хорошенькихъ много. Маріула на что красавица, а дармоѣдка порядочная: ни погадать, ни заработать, какъ слѣдуетъ, не сумѣетъ.

Я взглянула на Маріулу; она стояла въ нѣкоторомъ отдаленіи и сердито хмурила свои черныя брови.

Минуту длилось молчаніе. Потомъ неожиданно Катеринка подскочила ко мнѣ, и вмигъ и золотые часики, и моя лѣтняя кофта очутились въ ея рукахъ. Отъ толчка, полученнаго отъ молодой цыганки, я упала на землю. И въ ту же минуту обѣ мои щегольскія желтыя туфли очутились въ ея рукахъ.

— Не хотѣла добромъ отдать — отобрали силой, — произнесла она съ грубымъ смѣхомъ.

— Ладно, не обижайся, красавица, — усмѣхнулась старая цыганка, — не прогнѣвись — у насъ и хлѣбушка, и одежда—все пополамъ. Хошь поужинать съ нами, а?

Но я рѣшительно отказалась отъ ужина, чувствуя

себя окончательно оскорбленной произведеннымъ надо мною насиліемъ.

— Я домой хочу... Вы должны меня отвести домой,—проговорила я.

— Ночью-то? — произнесла старуха. — Нѣтъ, ночь проведешь въ таборѣ, а на утро побужу тебя, барышня, и сама домой пойдешь!—проговорила старуха.—А пока ложись спать. Ступай въ телѣгу. Проводи ее, Маріулка!

— Пойдемъ!—коротко бросила та, и мы пошли мимо пылающаго костра и толпы ребятишекъ къ одной изъ телѣгъ, откуда слышалось хрюканье поросенка и кудахтанье курицы.

— На, укройся вотъ этимъ и спи! Завтра дамъ тебѣ свои сапоги и отведу до опушки, благо старухи тебя отпускаютъ, — проговорила Маріула, помогая мнѣ взобраться подъ холщевый навѣсъ, гдѣ лежали какія-то перины, валялись грязныя одѣяла и стояли деревянные ящики въ родѣ сундуковъ. Тутъ же, въ углу, въ корзинѣ, мирно возсѣдала курица-насѣдка, а въ противоположной отъ нея сторонѣ отчаянно визжалъ связанный по всѣмъ четыремъ ногамъ поросенокъ.

Конечно, въ обществѣ курицы и поросенка было-бы очень трудно уснуть въ другое время, но пережитыя сегодня волненія и сильный ознобъ давали себя чувствовать.

Я была страшно утомлена и безпрекословно разрѣшила Маріулѣ укутать мое дрожащее тѣло какими-то грязными тряпками.

Маріула, да еще старуха, пожалуй, внушали мнѣ здѣсь больше довѣрія, нежели всѣ остальныя.

— «Скорѣе бы наступило завтра, чтобы я могла уйти отсюда!—шептала я съ тоскою.—Не дай Богъ остаться въ этой грязной, нищенской обстановкѣ, съ грубыми, необразованными оборванцами, которые на первыхъ же порахъ обманули и ограбили меня. Конечно, мнѣ теперь очень тяжело жить у «солнышка». Но—кто знаетъ?—можетъ быть, скоро-скоро мнѣ удастся уговорить его отдать меня снова моимъ добрымъ феямъ-тетямъ, добровольно отдать!..

Теперь я уже чувствовала острое раскаяніе, что убѣжала изъ дома. Бѣдный мой «солнышко»! Что онъ долженъ будетъ испытать, вернувшись домой и не найдя меня? А Тандре? Она потеряетъ навѣрное голову отъ страха. Вѣдь она предобрая въ сущности, только смѣшная, ахъ, какая смѣшная! И носъ у нея такой смѣшной, и ея привычка мыться простоквашей—смѣшная и сапоги съ дырочками, прорѣзанными на костяхъ... А въ сущности она любитъ меня... Единственное еще лицо, пожалуй, которое не пожалѣетъ о моемъ исчезновеніи, это «она», мачиха, но зато папа...

Ахъ, чтобы я дала теперь, чтобы очутиться на моей свѣжей, чистенькой постели, гдѣ нѣтъ куръ и поросятъ по сосѣдству и такого дурного, кисло-прѣлаго запаха, который исходитъ отъ грязнаго одѣяла!..

И сама не помня какъ, я незамѣтно уснула, скован-

ная усталостью, подъ кудахтанье курицы и визгъ поросенка.

ГЛАВА XII.

Я узнаю съ какой работы вернулись «большіе». — Открытіе.—Услуга Маріулы.

Я ОТКРЫЛА глаза какъ разъ въ то время, когда къ берегу, къ тому мѣсту, гдѣ горѣлъ костеръ, причалила лодка и четверо бородатыхъ и смуглыхъ людей, съ довольно-таки разбойничьими физіономіями, вышли изъ нея. Потомъ лодку привязали къ колышку, вбитому на берегу, и всѣ четверо вновь прибывшихъ подошли къ костру. Женщины засуетились. Неизвѣстно откуда появились ложки, чашки и большіе ломти чернаго хлѣба. Котелокъ былъ тотчасъ-же снятъ съ огня и Катеринка разлила все содержимое въ немъ по чашкамъ. Мужчины съ жадностью набросились на ѣду. Они ѣли и говорили въ одно и то же время всѣ разомъ, перебивая другъ друга, крича и такъ размахивая руками, что рѣшительно становилось страшно за нихъ: вотъ-вотъ они раздерутся.

Говорили они на непонятномъ мнѣ языкѣ, вѣроятно, по-цыгански. Потомъ одинъ изъ нихъ медленно поднялся со своего мѣста и направился къ лодкѣ. Когда онъ снова подошелъ къ костру, то на спинѣ его висѣлъ огромный мѣшокъ, который онъ и спустилъ на землю.

Ахъ!

Я даже вскрикнула отъ неожиданности...

Изъ мѣшка посыпались всевозможныя вещи: серебряный самоваръ, ложки, ножи, вилки и огромная ваза, ваза, которую я-бы узнала изъ тысячи, потому что это была наша ваза, особенно цѣнимая мачихою. Эту вазу мачиха только въ очень рѣдкихъ случаяхъ подавала на столъ гостямъ съ фруктами или конфектами. Но чаще эта ваза красовалась пустая на мраморной доскѣ открытаго буфета, точно такъ-же, какъ и серебряный самоваръ.

Я сразу разомъ поняла, какимъ образомъ очутились здѣсь эти вещи.

Буфетъ и столъ стояли у насъ въ нижнемъ этажѣ, въ столовой нашей дачи, окна которой выходили на большую дорогу. Очевидно лакей забылъ запереть ихъ, и цыгане, воспользовавшись отсутствіемъ хозяевъ, проникли въ столовую черезъ открытое окно и похитили серебро изъ буфета.

Въ одно мгновеніе ока я выскочила изъ навѣса, спрыгнула на землю съ передка телѣги и, подбѣжавъ къ самому костру, закричала взволнованнымъ голосомъ, прямо въ лица всѣхъ этихъ бородатыхъ мужчинъ, казавшихся черными негодяями ада при фантастическомъ освѣщеніи догорающаго костра:

— Это наши вещи!.. Это вещи моего папы!.. Я сразу узнала ихъ!.. Вы влѣзли къ намъ и украли эти вещи! Подло, гадко, украли! Вы воры! Воры!

Въ первую минуту они всѣ четверо сидѣли съ открытыми ртами и черные глаза ихъ съ недоумѣніемъ пристально и зорко впились въ маленькую, дѣтскую фигурку, появившуюся такъ внезапно изъ-за полога палатки и такъ смѣло бросавшую обвиненіе имъ въ лицо. И бородатыя лица ихъ были исполнены самымъ краснорѣчивымъ выраженіемъ изумленія. Потомъ, внезапно, по смуглымъ чертамъ самаго старшаго изъ нихъ (по крайней мѣрѣ онъ таковымъ мнѣ показался) проползла ядовитая усмѣшка.

Онъ сдѣлалъ неуловимый знакъ рукой, бросивъ при этомъ нѣсколько словъ по адресу своихъ сосѣдей.

И сейчасъ же рослый молодой цыганъ подскочилъ ко мнѣ, быстро сорвалъ съ себя красный кушакъ, обвязывавшій его станъ, и въ одну минуту я почувствовала, что ноги мои связаны этимъ кушакомъ не хуже, чѣмъ у визжавшаго въ телѣгѣ поросенка.

Потомъ смуглый цыганъ подхватилъ меня на руки— и я снова очутилась подъ парусиновымъ навѣсомъ телѣги, какъ и пять минутъ тому назадъ, только съ тою разницею, что теперь плотно скрученныя мои ноги ясно доказывали мнѣ, что свобода моя утеряна...

. . . . . .

Костеръ погасъ. Цыгане, окончивши ужинъ, улеглись въ развалку у колесъ телѣги. Женщины и дѣти давно уже спали подъ навѣсомъ, — я видѣла курчавыя, черныя, какъ смоль, головенки вокругъ себя. Даже поросе-

нокъ угомонился, пересталъ визжать и спалъ. Я одна не могла заснуть. Невеселыя, безотрадныя мысли тревожили мой мозгъ. И, одновременно съ ними, жгучее раскаяніе охватывало меня. «Не надо было выскакивать изъ телѣги и высказывать мое негодованіе этимъ бородатымъ бродягамъ,—размышляла я. — Богъ знаетъ, что меня ждетъ теперь. Они связали меня, значитъ опасаются, чтобы я не убѣжала, значитъ... Хорошо, если только все дѣло ограничится плѣномъ. А если... если»...

Невольная дрожь пробѣжала по моимъ членамъ... Мысль, пришедшая мнѣ на умъ, была слишкомъ ужасна!..

Дѣйствительно, развѣ судьба моя не была въ ихъ рукахъ?.. И если-бы имъ пришло въ мысль убить меня, кто узнаетъ объ этомъ: черная ночь, золотыя звѣзды и—никто, никто, ни одинъ человѣкъ въ мірѣ, въ этомъ огромномъ подлунномъ мірѣ!..

Черная ночь и золотыя звѣзды!.. Я вижу ихъ въ темный просвѣтъ входа. Какъ онѣ ласково киваютъ мнѣ изъ своего чудеснаго замка...

Звѣзды! Вы, дѣти небесъ...

Кто сказалъ эти слова?

Ахъ, да! Это я сама выдумала, тамъ, въ миломъ далекомъ Царскомъ, въ ночь передъ заутреней, въ великую свѣтлую ночь...

Какая разница теперь между той счастливой маленькой принцессой, которую всѣ любили и баловали на перегонки, и этой несчастной падчерицей Лидой!..

Въ то время какъ такія мысли, одна за другой, чередовались въ моемъ умѣ, темная фигура неожиданно выросла подъ навѣсомъ телѣги.

— Маріула, это ты? — разомъ узнавъ дѣвушку, спросила я шопотомъ.

— Слушай, барышня!—прошептала она, осторожно проползая ко мнѣ между грудою спящихъ ребятишекъ и наклоняясь къ самому моему уху. — Наши «большіе» дурную штуку задумали. Они рѣшили оставить тебя у насъ, чтобы ты, пока они на заработокъ ходятъ, на нихъ работала, какъ я и Катеринка... Они тебя на Свирь возьмутъ, а потомъ въ Вологду и еще дальше... Куда мы поѣдемъ, туда и ты должна... «Большіе» говорятъ, что отпустить тебя нельзя домой, потому что ты видѣла «ихъ работу» и все дома поразскажешь... И тогда на нашъ таборъ полиція нагрянетъ, и «большихъ», и насъ въ тюрьму поведутъ... Такъ вотъ они и рѣшили тебя не пускать...

Я похолодѣла. Жить всю мою жизнь съ этими грязными, оборванными цыганами, ворами и грабителями вдобавокъ!

О-о, это выше силъ моихъ!

Какъ я могла повѣрить лживымъ увѣреніямъ цыганки, что они отвезутъ меня въ Петербургъ, къ моимъ добрымъ феямъ!

— Маріула! Голубушка! спаси меня! — схвативъ обѣими руками смуглую худенькую руку молодой цы-

ганки, вскричала я.—Спаси меня, добрая, милая Маріула!

— Спасти?—услышала я голосъ въ темнотѣ у самаго моего уха.—А потомъ что? «Большіе» не простятъ, они побьютъ меня до смерти...

— Такъ, по крайней мѣрѣ, помоги мнѣ бѣжать!—отчаянно вскрикнула я.—Они не узнаютъ...

— Помочь бѣжать, это, пожалуй, можно,—произнесла тихо Маріула, оглядываясь кругомъ, не подслушиваетъ ли кто-нибудь.—А ты мнѣ дашь тотъ золотенькій обручъ, что я видѣла на твоей рукѣ, и который не замѣтила Катерина?—прибавила она.

— Браслетъ? Да, да, возьми его, я отдамъ тебѣ его охотно, Маріула!

И я быстро сорвала съ руки тоненькую золотую браслетку и вложила ее въ невидимую мнѣ во мракѣ руку цыганки.

Въ ту же минуту я почувствовала, что ноги мои освободились отъ больно стягивающаго ихъ кушака.

—Бѣги!—сказала шопотомъ Маріула,—бѣги прямо къ берегу... Тамъ стоитъ лодка... Садись въ нее и ты спасена...

Съ этими словами она схватила меня за руку. Въ одну минуту я очутилась на землѣ и бѣгомъ пустилась по направленію, указанному мнѣ Маріулой. Я уже миновала груду пепла, гдѣ еще дотлѣвали послѣдніе угольки костра, какъ неожиданно за моими плечами раздался громкій гортанный окрикъ.

— Куда? Стой! Держи ее, держи!

И большой кнутъ, какіе употребляютъ обыкновенно, когда гоняютъ лошадей на кордѣ, щелкнулъ позади меня, звонко разрѣзая воздухъ.

Но вмѣсто отвѣта я только прибавила шагу и теперь неслась стрѣлою по направленію къ берегу. Кто-то бѣжалъ за мною, быстро перебирая босыми ногами, отъ-времени-до-времени взмахивая своимъ страшнымъ кнутомъ и извергая ругательства и проклятія по моему адресу.

— Остановись по добру по здорову, не то худо будетъ! — кричалъ мнѣ мой невидимый врагъ, на что я только прибавляла и прибавляла шагу.

Отъ бѣга по острымъ камнямъ и сучьямъ чулки мои болтались, какъ ветхія лохмотья, на ногахъ, и изъ ногъ моихъ текла кровь. Но я не чувствовала ни боли, ни страданій. То, что было позади меня, казалось гораздо страшнѣе всякихъ физическихъ мученій...

Босоногій человѣкъ нагонялъ меня. Я слышала его быстро приближающіеся ко мнѣ шаги. Еще одна минута, одна коротенькая, маленькая минута, и онъ схватитъ меня...

Глухой шумъ раздался неподалеку. Въ слабыхъ очертаніяхъ предутренняго разсвѣта мелькнула передо мною темная, вздутая волнами и глухо ропщущая Нева...

Я уже не бѣжала, а летѣла прямо къ берегу ея, со всею скоростью, на которую были только способны мои израненыя ноги. Вотъ темный силуэтъ крошечной лодченки на берегу. Слава Богу! я у цѣли. Но въ ту-же

минуту я ясно слышу, что не одна пара ногъ, а цѣлыхъ четыре пары гонятся за мною. Мой преслѣдователь своими криками разбудилъ, очевидно, таборъ, и бродяги бросились въ погоню за мною. Вотъ, вотъ они догонятъ меня сейчасъ, сію минуту и тогда, тогда...

Передовой изъ нихъ всего на двѣ сажени разстоянія бѣжитъ за мною. Еще одна секунда и я буду въ его рукахъ...

Какъ безумная выбѣжала я на берегъ, изо всей силы сорвала веревку, которою была зацѣплена лодка къ колышку, и, оттолкнувъ ее отъ берега, прыгнула въ нее.

Волны моментально унесли лодку далеко отъ берега, и когда мои преслѣдователи очутились на берегу—лодка успѣла уже доплыть до середины рѣки и неслась съ необычайною скоростью по бушевавшимъ въ эту ночь волнамъ. Бродяги метались на берегу и кричали что-то, но за шумомъ волнъ я уже не могла разобрать ихъ голосовъ...

ГЛАВА XIII.

Между жизнью и смертью.—Дома.—Отъѣздъ.

На днѣ лодки оказались два весла. Я выучилась отлично грести на нашемъ пруду за лѣто и, храбро схвативъ весла, вложила ихъ въ уключины. Но прудъ — не рѣка, разгулявшаяся, бурливая къ тому же, и я очень скоро поняла это, совершенно

выбившись изъ силъ. При томъ въ эту ночь разыгралась на Невѣ настоящая буря. Вокругъ меня поднимались черныя волны. Точно живые призраки, онѣ набѣгали на маленькую, утлую скорлупку, грозя ежеминутно разбить ее вдребезги... Онѣ подхватывали лодку и съ отчаянной силой перебрасывали ее съ гребня на гребень, съ волны на волну.

Вскорѣ я совершенно выбилась изъ силъ и не могла грести больше: не слабымъ рукамъ дѣвочки бороться съ разбушевавшимися невскими волнами!..

Я должна была подняться по Невѣ къ тому направленію, гдѣ черным волнующимся пятномъ темнѣла Ладога, и гдѣ въ утреннемъ разсвѣтѣ смутно намѣчались бѣлые силуэты домовъ нашего городка. Между тѣмъ меня съ невыразимой силой тянуло обратно, внизъ по теченію. Въ какія-нибудь десять минутъ я была отнесена такъ далеко, что стоявшіе на берегу четыре цыгана казались вдали совсѣмъ малюсенькими фигурками.

Съ отчаяніемъ бросила я грести, при чемъ одно весло выскользнуло изъ уключины. Въ ту же минуту я увидѣла его быстро перепрыгивающимъ съ волны на волну.

Съ однимъ весломъ я уже ничего не могла сдѣлать. Надо было оставить и самую мысль о греблѣ, смирно сидѣть на носу лодки и ждать...

Ждать? Чего?

Смерти.

Да, именно, смерти!

Съ безумнымъ ужасомъ смотрѣла я на разбушевавшуюся стихію, отлично понимая, что полуразвалившаяся лодченка не вынесетъ напора разъяренныхъ волнъ, и что если не сейчасъ, такъ черезъ часъ-другой моя лодка должна пойти ко дну!..

Я подняла глаза къ небу, гдѣ сіяли значительно поблѣднѣвшіе глаза золотыхъ созвѣздій, потомъ опустила ихъ внизъ, на черную, озвѣрѣвшую рѣчную стихію, и безумная, жгучая жажда жизни заговорила во мнѣ.

«Жить! Жить! Жить! И только жить! — прошептали мои помертвѣвшія губы.—Господи, сдѣлай такъ, чтобы я жила... Господи, спаси меня! Дай мнѣ увидѣть еще разъ «солнышко», тетей, Большого Джона, Петрушу, Вѣрочку, Маріониллу Маріусовну, всѣхъ моихъ институтскихъ подругъ, «кикимору» Тандре съ ея длиннымъ, безобразнымъ лицомъ, и даже «ее»...

Да, даже «ее», мою мачиху, изъ-за которой я теперь неслась по волнамъ, хотѣла я видѣть въ эти минуты!..

Моя жизнь казалась мнѣ теперь уже далеко не такой ужасной... Смерть представлялась чѣмъ-то худшимъ. О, худшимъ во сто разъ!..

О! какъ могла я тогда, въ Царскомъ Селѣ, при первой вѣсти о «ней», желать смерти?! Ахъ, жизнь такъ прекрасна! Разстаться съ нею, разстаться молодою, когда еще такъ много невѣдомаго передъ тобою,

когда ты не узнала и одной ея сотой, ахъ, какъ это ужасно!.. Нѣтъ, нѣтъ! Только не умереть!.. Оставь мнѣ жизнь, Господи, оставь!..

Въ отчаяніи, заломивъ надъ головою руки, я кинула взоръ на рѣку и... страшный, нечеловѣческій крикъ вырвался изъ моей груди, пронесся надъ поверхностью воды и протяжнымъ гулкимъ эхомъ прокатился на противоположномъ берегу... Передъ моимъ, на-смерть испуганнымъ взоромъ, черными огромными головами торчали изъ воды скользкія, мокрыя, черныя чудовища, пересѣкая всю рѣку отъ берега до берега.

Я разомъ поняла, что это были пороги, и холодный потъ ужаса выступилъ на моемъ лбу. Ивановскіе пороги на Невѣ считаются самымъ гибельнымъ и опаснымъ мѣстомъ; даже пароходы замедляютъ здѣсь значительно ходъ, искусно лавируя между ними въ «проходахъ».

Но мнѣ безъ веселъ (мое второе весло было тоже вскорѣ унесено хищною волною вслѣдъ за первымъ) нечего было и думать попасть въ проходъ. Что могла я сдѣлать безъ руля и веселъ моими слабыми ручонками?.. А между тѣмъ лодка мчалась теперь съ безумною быстротою прямо на гибельные камни... Какихъ-нибудь пять-десять минутъ еще и... она разобьется вдребезги... И бѣдный мой папа никогда не увидитъ своей дѣвочки!..

— Папа! Папа! — закричала я, простирая руки въ

ту сторону, гдѣ долженъ былъ находиться онъ, и гдѣ я уже не видѣла нашего города, который былъ такъ далеко теперь, ужасно далеко!..

— Дер-жись!.. И-и-д-емъ!—пронесся мнѣ отвѣтомъ съ лѣваго берега чей-то грубый голосъ, и я увидѣла большую рыбачью лодку съ тремя фигурами въ ней, гребущими изо всѣхъ силъ въ мою сторону.

Какъ не великъ былъ мой страхъ, я узнала въ тѣхъ трехъ фигурахъ типичныхъ невскихъ рыбаковъ, часто пріѣзжавшихъ въ Шлиссельбургъ.

— Спасенье! Боже мой, спасенье! Благодарю Тебя, Создатель!—прошептала я, съ мольбою протянувъ руки къ значительно просвѣтлѣвшимъ небесамъ.

Теперь, если рыбаки, которые очевидно замѣтили меня и идутъ мнѣ на помощь, успѣютъ перерѣзать путь моей лодченкѣ, я — спасена. И съ трепетомъ я взглянула впередъ.

О, ужасъ! Пороги близко, совсѣмъ близко, а рыбачья лодка съ тремя смѣльчаками еще такъ далеко отъ меня!..

— Дер-жись! Де-р-ж-ись!—несется зычный голосъ одного изъ рыбаковъ.

Но, Боже мой, какъ удержаться! Лодка такъ и несется, точно спѣшитъ на вѣрную гибель. Теперь я вижу ясно, что мои спасители подойти къ моей лодкѣ не успѣютъ и не предупредятъ крушеніе. Вотъ уже въ двухъ—трехъ саженяхъ отъ меня эти черныя, страшныя головы чудовищъ... Лодка съ неизвѣстными мнѣ

спасителями спѣшитъ. Она приближается съ невѣроятной быстротою ко мнѣ. Но еще быстрѣе приближаюсь я къ торчащимъ изъ воды черными камнямъ, которые вотъ-вотъ разобьютъ мою лодку вдребезги... О! какъ страшно глядятъ изъ воды эти черныя чудовища, точно поджидая свою жертву... Я хочу закрыть глаза, чтобы не видѣть ихъ—и не могу. Не могу, и мнѣ кажется, точно на одномъ изъ пороговъ, на томъ, который поближе, стоитъ хорошо знакомая мнѣ сѣрая фигура, сѣрая женщина... Я открываю глаза...

Трахъ!

Что-то страшное, оглушительное, невѣроятное по силѣ, ударилось о дно лодки... Въ ту-же минуту будто крылья приросли ко мнѣ и я очутилась въ чьихъ-то крѣпкихъ, какъ сталь твердыхъ, рукахъ...

А рѣка шумѣла, бурлила и злилась, точно жалуясь кому-то, что осмѣлились вырвать добычу изъ ея рукъ...

. . . . . .

Я просыпалась, опять засыпала и просыпалась снова... И каждый разъ, что я открывала глаза, надо мною наклонялось чье-то добродушно-простое, бородатое и обвѣтренное лицо.

Я слышала сквозь сонъ, какъ чьи-то грубыя руки съ необычайной нѣжностью завернули меня въ старый рыбачій кафтанъ, отъ котораго пахло рыбой и смолою.

Потомъ чей-то голосъ произнесъ:

— Спи, крохотка! спи, болѣзная!.. Ишь, намаялась... Шутка сказать: на волосокъ была отъ смерти...

И я уснула.

Спала я долго, очень долго...

. . . . . .

Когда я открыла глаза, неописанное удивленіе овладѣло мною.

Я лежала въ моей мягкой теплой постели, на шлиссельбургской дачѣ. На краю постели сидѣла m-lle Тандре съ ужасно встревоженнымъ лицомъ, и какъ только я открыла глаза, она сказала дрожащимъ голосомъ:

— Слава Богу! Наконецъ-то вы проснулись, дорогая Лидія !Мы такъ боялись за васъ... Дитя мое, можно ли пугать насъ такъ всѣхъ... Ахъ, Lydie! Lydie!

— Я долго спала, m-lle?—спросила я.

— О, ужасно! Я думала—вы умерли! Вы спите цѣлыя сутки. Вчера утромъ васъ привезли сюда въ лодкѣ рыбаки... Вы не можете себѣ представить, что сдѣлалось съ вашимъ отцомъ... Онъ положительно обезумѣлъ отъ горя... Но, слава Богу, вы поправились... Идите къ нему скорѣе, успокойте его...

Я не заставила еще разъ повторить себѣ приглашеніе, быстро вскочила съ постели, вымылась, кое-какъ сунула мои израненыя ноги въ башмаки, одѣлась, и, прихрамывая, кинулась разыскивать того, къ кому такъ безумно рвалось теперь мое дѣтское сердце.

Сознаніе того, что я живу, дышу, хожу, что вижу

солнце и день, цвѣты и деревья, наполняло неизъяснимо счастливымъ трепетомъ все мое существо. Но особенно дѣлала меня счастливой мысль, что я сейчасъ, сію минуту, увижу мое «солнышко», про гнѣвъ и неудовольствіе котораго я давно забыла.

Я быстро пробѣжала гостиную, столовую и, не найдя тамъ никого, выбѣжала на террасу. Тамъ сидѣла «она»; «солнышка» не было. Я однимъ взглядомъ окинула всю комнату и не нашла его.

— Гдѣ папа? — вскричала я голосомъ, полнымъ отчаянія.

Она только пожала плечами; въ ея сѣрыхъ глазахъ выразилось и удивленіе, и нѣкоторый испугъ, и странное недоумѣніе.

— Твой папа только-что ушелъ, его вызвали по важному дѣлу, — проговорила она своимъ спокойнымъ голосомъ, — онъ не могъ ждать когда ты проснешься... Къ обѣду онъ будетъ.

Я повернулась и хотѣла уже уйти. Но мачиха остановила меня:

— Постой... не бѣги... успѣешь... Выслушай сперва меня... Ты много надѣлала намъ хлопотъ, и твоимъ безумнымъ поступкомъ очень взволновала отца... Не буду говорить тебѣ насколько дурно ты поступила... Вдругъ, ночью, одной пуститься на Неву! Это непростительная шалость... Больше — это безуміе!.. Подумала ли ты сколько волненій пережили мы, пережилъ

твой папа, узнавъ, что ты исчезла?.. Вторичнаго такого волненія пережить нельзя... Услѣдить за тобою, чтобъ ты не придумала опять какой-нибудь подобной шалости, очевидно, трудно. И потому мы съ папой рѣшили отправить тебя въ институтъ, не выжидая конца каникулъ... сегодня же... Страшно велика отвѣтственность держать дома такую взбалмошную дѣвочку, которая каждую минуту можетъ совершить какой-нибудь безумный поступокъ!.. Теперь ступай... Мнѣ не о чемъ говорить больше съ тобой...

Такъ вотъ оно что!

Они считаютъ то, что со мною произошло — «шалостью», «безумнымъ поступкомъ»! Они даже не подозрѣваютъ, какимъ образомъ я очутилась у рыбаковъ, привезшихъ меня къ намъ на дачу, и не находятъ нужнымъ спросить объ этомъ у меня!.. Они думаютъ, что я просто вздумала прокатиться по Невѣ, и не допускаютъ даже мысли, что я бѣжала отъ «нея», бѣжала съ намѣреніемъ добраться до Петербурга, до моихъ тетей!.. Разсказать развѣ это ему, моему «солнышку»? Сказать ему всю правду и выплакать на его груди всю перенесенную обиду?.. Нѣтъ, нѣтъ, вѣдь онъ меня не пойметъ, не захочетъ понять!..

Все мое радушное настроеніе мигомъ исчезло. Я не ждала больше свиданія съ «солнышкомъ», не жаждала видѣть его, какъ за минуту до этого...

Понурая и печальная бродила я по саду, прислу-

шиваясь къ шопоту деревьевъ, къ треску стрекозъ и къ тихому плеску Невы за оградой сада...

Мы встрѣтились или, вѣрнѣе, столкнулись съ отцомъ на порогѣ террасы.

Я даже тихо вскрикнула при видѣ его, такъ онъ осунулся и поблѣднѣлъ за трое сутокъ. Жалость, раскаяніе, состраданіе и любовь заставили меня было кинуться къ нему навстрѣчу. Но онъ поднялъ глаза... и въ нихъ я прочла что-то холодное, чужое мнѣ и еще незнакомое моей дѣтской душѣ. И вмигъ мой порывъ прошелъ, скрылся безслѣдно.

— Здравствуйте, папа! — проговорила я сухо и, быстро наклонившись къ его рукѣ, напечатлѣла на ней поцѣлуй.

— Ты не чувствуешь раскаянія, неправда-ли?— произнесъ онъ какимъ-то страннымъ, натянутымъ голосомъ.

Я молчала.

— Лидя! Я тебѣ говорю!

Я молчала опять.

Что я могла отвѣчать? Нужно было или сказать все, сказать, что я хотѣла уйти туда, гдѣ чувствовала, что мнѣ будетъ лучше, или же... молчать.

И я молчала.

Я молчала и тогда, когда онъ говорилъ мнѣ что-то долго и много прерывающимся каждую минуту отъ волненія голосомъ, и изъ чего, отъ охватившаго меня

волненія, я могла уловить только немногое, запоминая лишь отдѣльныя, отрывочныя фразы: «я любилъ тебя... ты была для меня единственнымъ утѣшеніемъ... продолжаю любить тебя также... и не перестану любить, несмотря на всѣ твои поступки... мнѣ больно, когда я вижу, какъ ты обращаешься съ мачихою»... и т. д., и т. д.

Молчала я и во все время обѣда, и когда лакей вынесъ мои вещи и положилъ маленькій чемоданчикъ, уложенный заботливыми руками Тандре, на извозчичью пролетку. Молчала и тогда, когда отецъ быстро перекрестилъ и поцѣловалъ меня...

Блѣдная, угрюмая сѣла я на дрожки подлѣ моей гувернантки, не глядя на тѣхъ, кто стоялъ на террасѣ, провожая меня...

Ахъ, зачѣмъ я молчала тогда? Зачѣмъ?! Зачѣмъ у меня не было силы воли, чтобы броситься къ отцу, чистосердечно разсказать ему, раскаяться и... попросить прощенія? Вѣдь я знала, что достаточно было нѣсколькихъ словъ, чтобы «солнышко» опять, сразу, сталъ прежнимъ, обнялъ меня, прижалъ къ себѣ и простилъ все-все!..

Когда мы вошли на пристань и по шаткимъ мосточкамъ перешли на палубу готоваго уже къ отплытію въ Петербургъ парохода, я долго смотрѣла на бѣлый городокъ, гдѣ пережила столько невеселыхъ часовъ бѣдная маленькая принцесса...

Тандре плакала подлѣ меня на палубѣ. Бѣдняжкѣ очевидно жаль было разстаться съ ея маленькой мучительницей, доставившей ей волей-неволей порядочно тяжелыхъ минутъ.

Несмотря на всѣ мои «шалости», несмотря на то, что я доставляла ей столько хлопотъ, что я такъ насмѣхалась надъ ней и надъ ея привычками — бѣдная «кикимора» успѣла привязаться ко мнѣ.

— Вы не забудете меня, Лиди! Неправда-ли? — шептала она чуть слышно, сморкаясь въ перчатку, вынутую по ошибкѣ изъ кармана вмѣсто носового платка.

Звонокъ... свистокъ... и пароходъ двинулся по направленію къ Петербургу...

Я молча и угрюмо смотрѣла на мирно-катящіяся волны и думала упорно и печально...

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Дневникъ Лидіи Воронской.

2 сентября.

Четыре года!

Цѣлыхъ четыре года!

А кажется, точно все было вчера... И побѣгъ, и цыгане, и бушующія волны холодной рѣки, и вслѣдъ затѣмъ—длинные, безконечные дни институтской жизни, полные новыхъ впечатлѣній, новыхъ приключеній...

Жаль, что мнѣ раньше не пришло въ голову писать дневника! Столько событій, столько перипетій въ жизни маленькой Лиды произошло за эти четыре года!..

Теперь, когда эта Лида почти взрослая, пятнадцатилѣтняя барышня, теперь безъ дневника обойтись ужъ никакъ нельзя!..

И такъ рѣшено: я веду дневникъ. Начинаю съ вчерашняго дня.

Лидія Воронская, будь умной, взрослой дѣвочкой и постарайся быть послѣдовательной и аккуратной!

Постараюсь...

***

Вчера мы пріѣхали изъ Гапсаля, гдѣ я провела на морскихъ купаньяхъ минувшее лѣто. Моя спутница, m-me Каргеръ, въ семействѣ которой я тамъ жила, и которая провожала меня до Петербурга, не давала мнѣ покоя всю дорогу, стараясь всячески развлечь меня.

Пароходъ, поѣздъ и, наконецъ, сѣрое осеннее небо давно знакомаго Петербурга... Улицы, улицы безъ конца.

— Ну, Лидочка, выходите! Пріѣхали! — произнесъ надъ моимъ ухомъ голосъ моей спутницы и ея доброе, ласковое лицо улыбнулось мнѣ ободряющей улыбкой.

Дѣйствительно, пріѣхали. И какъ скоро! Должно быть славно прогрезила я! Вотъ оно красное, огромное зданіе передо мною. Вотъ стеклянныя двери, за которыми гордо высится фигура институтскаго швейцара въ красной ливреѣ—«кардинала», какъ мы его звали. Вотъ и знакомый вестибюль...

— Барышня Воронская, измѣнились-то какъ за лѣто, и не узнать даже! — говоритъ съ почтительнымъ поклономъ швейцаръ, оглядывая меня со всѣхъ сторонъ,— а ужъ барышни спрашивали про васъ... А въ особенности Маріонилла Маріусовна и m-lle Петрушевичъ...

Я быстро сбросила пальто и въ сопровожденіи моей

спутницы прошла черезъ темный нижній коридоръ въ бѣльевую, чтобы смѣнить на казенный костюмъ мое собственное домашнее платье.

Въ бѣльевой все было попрежнему. Маленькая, юркая бѣльевая дама, Александра Трофимовна, поспѣшно передала мнѣ мое бѣлье, сапоги и зеленое камлотовое платье, изъ котораго я порядочно-таки выросла за лѣто. Моя спутница, m-me Каргеръ, поспѣшила разстегнуть мнѣ корсажъ, помогла снять платье и готовилась уже накинуть на мои худенькія плечи зеленую камлотовую дерюгу, какъ дверь бѣльевой быстро и слегка распахнулась и смуглая, высокая дѣвочка появилась на порогѣ.

— Лида! Милая!

— Олечка! Петруша!

И мы бросились въ объятія другъ друга. Она очень измѣнилась за лѣто, моя Ольга. Глаза у нея стали еще чернѣе, лицо какъ будто чуточку пополнѣло и округлилось. Она и похорошѣла немного и стала какъ-то значительно старше.

— Ну, что, помогъ тебѣ Гапсаль? Какъ ты доѣхала? Заѣзжала въ Шлиссельбургъ къ отцу? Хорошо тебѣ было? А знаешь, ты прелесть, что за дуся стала! Тебѣ страшно идутъ эти короткіе локоны! Ты на мальчика похожа теперь! — трещала она, тормоша меня во всѣ стороны и поминутно награждая поцѣлуями.

Я едва успѣвала отвѣчать ей, что въ Гапсалѣ мнѣ было отлично, что я цѣлые дни проводила на берегу

моря, что къ отцу не заѣзжала, а пріѣхала прямо сюда съ Александрой Павловной. Тутъ я представила ее madame Каргеръ, которая все время ласково и снисходительно улыбалась, слушая нашу болтовню. Потомъ я наскоро поцѣловала мою спутницу, прося не забывать меня, и опрометью бросилась съ Олей по дорогѣ въ классъ.

И тутъ все было по-старому: та же широкая, застланная коврами лѣстница, та же площадка съ часами, тотъ же верхній коридоръ съ большой мрачной библіотекой, помѣщавшейся какъ разъ противъ лѣстницы, съ классами по обѣ стороны его.

— Вотъ и нашъ классъ! — проговорила Петруша, останавливаясь передъ одной изъ стеклянныхъ дверей, выходящихъ въ коридоръ. — Вонъ Маріонилочка, видишь? Она дѣлаетъ французскую диктовку... Теперь тебѣ нельзя войти къ намъ... Это сейчасъ порядокъ нарушитъ. Я сама тихонько удрала, когда узнала о твоемъ пріѣздѣ. А потомъ, въ перемѣну, ты приходи... Слышишь? Твоя дама, говорятъ, очень добрая и отпуститъ тебя...

— Моя дама!.. Какая дама?... Ахъ!..

И тутъ только я вспомнила все.

Какъ я могла забыть это раньше! Забыть то, что составляло немалую горечь моей теперешней жизни, постоянную заботу цѣлаго лѣта, которая томила и грызла меня! Я — второгодница... Я осталась въ четвертомъ

классѣ. Тогда какъ эта милая смуглая Оля уже «третья», я продолжаю быть тою же «четверкой», какою была и въ прошломъ году. И тамъ, за этой стеклянной дверью уже не *мой* классъ, а *чужой* — старшій, и эта милая очаровательная Маріонилочка не *моя* классная дама, а *чужая*... и эта милая Оля уже не *моя* одноклассница-подруга, нѣтъ! Я не имѣю права войти въ эту дверь, когда мнѣ захочется, и не имѣю права сѣсть на скамейкѣ съ моей бывшей сосѣдкой Вальтеръ и попрежнему присутствовать на урокахъ съ этими бывшими моими товарками по классу, съ которыми я провела болѣе двухъ лѣтъ...

Я такъ погрузилась въ мое печальное размышленіе, что едва услышала голосъ смуглой Оли, говорившей мнѣ:

— Иди къ «твоимъ» теперь, Лида... а въ перемѣнку къ намъ. Слышишь? Непремѣнно!

Я молча кивнула головою и медленно двинулась по коридору.

— Воронская! Лида!—услышала я снова тихій призывъ за собою, и въ два прыжка Петрушевичъ уже была подлѣ меня.

— Слушай, Лида, ты помни,—зашептала мнѣ на ухо милая дѣвочка,—хотя мы и разныхъ классовъ теперь, но люблю я тебя попрежнему. И твоей подругой тоже попрежнему буду! Поняла?

И, наскоро чмокнувъ меня въ щеку, она скрылась за дверью своего класса.

Я медленно и уныло поплелась по коридору, миновала его и остановилась у знакомой мнѣ двери, надъ которой прибитая высоко дощечка, съ крупно и четко вырисованными буквами, гласила: «4-й классъ».

О, какъ я ненавидѣла этотъ четвертый классъ въ эту минуту!..

Полная, кругленькая, маленькаго роста дама въ пенснэ, съ добродушнымъ, симпатичнымъ лицомъ быстро окинула меня внимательнымъ взглядомъ, когда я, распахнувъ дверь, очутилась посреди комнаты. Учителя у четвертыхъ не было въ этотъ часъ, и дѣвочки приготовляли къ слѣдующему дню уроки. Я медленно подошла къ маленькой дамѣ, присѣла передъ нею и проговорила обычную фразу:

— J'ai l'honneur de me presenter à vous de mon retour des vacances d'été! *)

— Bonjour, ma chère! Contente de vous voir! **) — произнесла, привѣтливо улыбаясь, m-lle Эллисъ (фамилія моей новой наставницы) и, окинувъ всю мою фигуру тѣмъ же внимательнымъ взглядомъ черезъ пенснэ, она проговорила снова: — Надѣюсь, вы, какъ большая дѣвочка, будете хорошо учиться и вести себя... M-lle Вульфъ отрекомендовала васъ мнѣ съ самой лучшей

*) Имѣю честь представиться по случаю моего возвращенія послѣ лѣтнихъ каникулъ.

**) Съ добрымъ утромъ, моя дорогая! Рада васъ видѣть.

стороны. Идите познакомьтесь съ вашими новыми подругами, среди которыхъ найдете и старыхъ друзей.

— Лида! Вороненокъ! Здравствуй! — услышала я знакомый мнѣ голосъ за собою и, быстро обернувшись, увидѣла Додошку, такую-же толстую, такую-же маленькую съ ея свѣтло-карими плутоватыми глазами, но въ черномъ траурномъ передникѣ.

— У меня папа умеръ...—проговорила Додошка, замѣтивъ мой удивленный взглядъ, брошенный на ея черный передникъ.

Въ ту же минуту къ намъ присоединилась русоволосая, темноглазая, живая, подвижная, веселая дѣвочка и съ шумнымъ восторгомъ бросилась мнѣ на шею.

— Воронская! Душка! Какъ я рада, что ты пріѣхала! Нашего полку прибыло!—вскричала она.

И Мила Рантъ въ одинъ мигъ осыпала все мое лицо горячими поцѣлуями.

— Пойдемъ! Я покажу тебѣ твое мѣсто. Ты будешь сидѣть со мною. Довольна надѣюсь, а?—послѣ перваго же взрыва радости затрещала она и тотчасъ же зашептала мнѣ на ухо, значительно понизивъ голосъ:—Ахъ, душка, здѣсь всѣ такія «дряни»!.. Ужасъ!.. Постоянно попрекаютъ насъ «второгодницами»... Намъ съ Додошкой положительно житья нѣтъ... И тебѣ предстоитъ то же. Хочешь, мы заключимъ «тройственный союзъ»? Будемъ всѣ трое подругами. Да? «Налетать» на насъ троихъ онѣ не рѣшатся, и намъ лучше житься будетъ тогда.

Согласна?.. Вотъ мой тируаръ, вотъ — твой... Постой, я тебѣ покажу, что на завтра готовить надо... Козеко исторію задалъ... Ахъ, какой онъ душка, этотъ Козеко! Его полкласса обожаетъ: глаза черные, волосы черные, борода черная. Настоящій бандитъ! Мы его такъ и прозвали «бандитомъ». Не правда-ли остроумно, а?

Пока моя сосѣдка непрерывно протрещала мнѣ все это, я успѣла оріентироваться и осмотрѣться кругомъ.

Вотъ онѣ, мои новыя подруги, съ которыми мнѣ придется провести цѣлые четыре года вплоть до самаго выпуска! Многихъ я знала. Со многими у меня происходили даже «стычки» и «междуусобицы» въ предыдущіе институтскіе годы. Вонъ на послѣдней скамейкѣ сидитъ полная, не по годамъ рослая и не по годамъ развитая Зина Бухарина, дочь русскаго консула въ Іерусалимѣ, всю жизнь свою проведшая въ Палестинѣ и привезенная сюда къ намъ годъ тому назадъ. Ее прозвали «креолкой» за матовое, блѣдное лицо, безъ тѣни румянца. У нея черные, кудрявые, какъ у негритянки, волосы и жгучіе, черные же, огромные глаза. Вонъ неподалеку отъ нея сидятъ двѣ сестрички Вергъ, Наля и Маруся. Наля—хорошенькая, съ дѣтскимъ личикомъ улетающаго на небо ангела; Маруся — милая, добрая, чуть-чуть шепелявая шатенка съ какими-то необычайно тоскующими глазами. Вонъ Карская — старообразная рябая дѣвочка, въ очкахъ, съ такими шаршавыми руками, точно она постоянно держитъ ихъ въ

сырости, но очень доброе, незлобливое существо. Вонъ Елецкая, Правковская, Макарова. У первой лицо «Пушкинской Татьяны» и нѣсколько безумные, блуждающіе глаза. Она вѣчно увлекается чѣмъ-то. Вонъ Дебицкая—настоящій живчикъ: миловидная, быстрая, подвижная шалунья, что не мѣшаетъ ей быть однако первой ученицей класса... Но подлѣ нея... кто это? Кто она такая? Я не видѣла ее раньше въ институтѣ. Что это за красавица? Лермонтовская Тамара навѣрно была не лучше. Лицо юной грузинки (что это была грузинка, я не сомнѣвалась больше, судя по типу), блѣдное, безъ кровинки, поражало своею красотой. Черные восточные глаза смотрѣли внимательно и грустно изъ-подъ прихотливо изогнутыхъ тонкихъ бровей. Крошечный ротикъ съ тонкими губами плотно сомкнуть. Двѣ огромныя изсиня-черныя косы падали змѣями съ прелестной головки, чуть ли не доходя до пятъ красавицы-дѣвочки.

— Это новенькая, Гордская, Елена, — поспѣшила пояснить мнѣ Мила Рантъ.—Хорошенькая, не правда-ли? Ее только въ августѣ изъ Тифлиса привезли. У нея мать грузинка, отецъ русскій. Мы ее прозвали «черкешенкой». Только и вооб-ра-жа-а-етъ же!

— Неужели воображаетъ?—повторила я машинально и тотчасъ же отвела глаза отъ красавицы, потому что все мое вниманіе теперь привлекла сильная коренастая фигура дѣвочки, свѣтло-бѣлокурой, розово-бѣлой, съ

дерзки-смѣлымъ, открытымъ взоромъ свѣтло-голубыхъ глазъ, съ насмѣшливой улыбкой капризно-изогнутаго рта, обнажающаго поминутно мелкіе, хищные, какъ у звѣрька, зубы.

Эту я знала. Вѣдь она была моимъ злѣйшимъ врагомъ въ прошлые годы. Мы схватывались съ нею поминутно изъ-за всякаго пустяка. Хотя я была «четверка», а она только «пятая», Сима Эльская или «Волька», какъ ее называли въ классѣ, не давала мнѣ спуску ни въ чемъ.

И, несмотря на это, мнѣ нравился мой симпатичный врагъ за ея мальчишескую шаловливость и какую-то необузданную веселость.

Дѣвочки не подходили знакомиться ко мнѣ, дѣлая видъ, что меня не замѣчаютъ. Онѣ были слишкомъ велики уже для того, чтобы нападать на «чужестранку» (какъ у насъ называли оставшихся на второй годъ воспитанницъ и вообще чужеклассницъ) и слишкомъ пропитаны осадками институтскихъ традицій, чтобы обойтись со мной запросто и приласкать дѣвочку, вошедшую въ ихъ классную семью помимо ихъ воли.

Я замѣтила два, три косые взгляда, кинутые на меня.

Надо приготовиться. «A la guerre, comme à la guerre», какъ говорятъ французы.

Что-то ждетъ меня впереди?

Посмотримъ...

9-е сентября.

Какъ долго я не писала! Цѣлую недѣлю! Если я буду такъ нелюбезна къ моему дневнику, — я далеко не уѣду.

Вотъ оно, началось!

Какъ ни добры, какъ ни милы ко мнѣ Стрекоза и Додошка, меня вовсе не плѣняетъ заключенный «союзъ». Въ нихъ есть что-то такое, что просто шокируетъ меня. Изъ-за этого «что-то» все и началось. Вчера былъ четвергъ, пріемный день. Къ Вѣрѣ Дебицкой пришелъ ея дядя и принесъ огромную коробку шоколаду. Послѣ пріема Вѣра со своей огромной коробкой пришла въ классъ. Дѣвочки ее окружили. Онѣ вскакивали на сосѣднія скамьи и тируары, перекидывались одна черезъ другую и, протягивая руки пригоршнями, просили на перебой, перекрикивая другъ друга:

— Вѣра, не забудь меня! Дай мнѣ, Вѣра! И мнѣ! И мнѣ!

Точь-въ-точь какъ это дѣлаютъ нищенки на церковныхъ папертяхъ.

Ни Черкешенки, ни Вольки здѣсь однако не было, но, къ ужасу моему, среди осаждающихъ Вѣру дѣвочекъ я увидѣла знакомыя лица моихъ обѣихъ подругъ. Стрекоза и Додошка не отставали отъ другихъ, протягивали пригоршни и тянули сладенькими голосами:

— Вѣра, и намъ! Не забудь и насъ, Вѣра!

Швырнуть далеко въ уголъ книгу, по которой я

повторяла урокъ, и присоединиться къ группѣ, было для меня дѣломъ одной минуты.

— Позоръ! Срамъ! — зашептала я тихимъ, взволнованнымъ голосомъ, дергая за платье то Додо, то Милу.— Какъ вамъ не стыдно клянчить! Попрошайки! Совсѣмъ безъ самолюбія!.. Подумайте только, вѣдь вы новенькія здѣсь, пришлыя и вдругъ...

— Не донкихотствуй пожалуйста, Воронская! — поспѣшила обидѣться Додошка.—Вѣдь и ты бы не прочь была, если бы...

— Доканчивай! — рѣзко оборвала я ее,—если бы я была такая безстыдница, какъ ты! Это ты хотѣла сказать?

Додошка сконфузилась до слезъ.

— Я не понимаю, что васъ такъ волнуетъ, Воронская!—вмѣшалась въ разговоръ Вѣра.—Развѣ было бы лучше, если бы онѣ (тутъ она кивнула головою въ сторону Додо и Рантъ) чуждались насъ, какъ вы?.. Вѣдь вы чуждаетесь насъ, согласитесь сами, Воронская, и это нелѣпо.

— Ну, конечно, нелѣпо! — подтвердила Стрекоза, получившая только-что отъ Вѣры цѣлую пригоршню шоколадныхъ пастилокъ.

Я только вскинула на нее негодующій взглядъ.

— Браво! Воронская! Браво! Ей Богу же въ васъ есть что-то рыцарское! Клянусь вамъ! — и бѣлокурая Сима предстала передо мною во всей красотѣ своихъ сіяющихъ насмѣшкою глазъ.

Я поняла иронію, сердито передернула плечами и отошла отъ группы.

Между тѣмъ эта Сима мнѣ нравится больше и больше съ каждымъ часомъ. Въ ней есть что-то «непосредственное». О, теперь я знаю значеніе этого слова, и оно не поставитъ меня втупикъ!..

Дебицкая озадачила меня. Чуждаюсь ихъ я, а не онѣ... Неужели это правда?..

Позднѣе, вечеромъ, у меня произошла новая стычка съ классомъ. Я просидѣла все послѣобѣденное время у моихъ «третьихъ» подлѣ Маріонилочки, а когда вернулась въ классъ, то была неожиданно поражена шумомъ и криками, господствующими тамъ.

— Ага! Теперь мы знаемъ, почему вы все время у «трешницъ» проводите! — вскричала своимъ рѣзкимъ голосомъ маленькая Макарова, подскакивая ко мнѣ.— Вы передаете наши баллы третьимъ, и все, что дѣлается у насъ въ классѣ! Это гадко! Нечестно! Не даромъ же вы чужестранка! Второгодница! Стыдно!

Вокругъ меня теперь были злыя, торжествующія лица. Дѣвочки окружили меня тѣснымъ кольцомъ и кричали:

— Чужестранка! Шпіонка! Передатчица!

Ни Рантъ, ни Додошки не было между ними, да если бы и были, то едва-ли бы заступились за меня.

Обѣ дѣвочки обижены мною. Я разстроила нашъ «тройственный союзъ», я не дружу больше съ ними.

— Вы лжете! Я не могу передавать въ «мой» классъ, что дѣлается въ «вашемъ»...

ряла: ни мою смуглую Олю, ни милую-премилую Маріонилочку. Никто! Никто!

Теперь я стояла среди толпы этихъ разсерженныхъ, нервныхъ, взвинченныхъ дѣвочекъ и, скрестивъ руки на груди, повторяла съ какимъ-то злобнымъ наслажденіемъ:

— Вы лжете! Я не могу передавать въ «мой» классъ, что дѣлается въ «вашемъ», потому что считаю это низкимъ. Да... А на низость я неспособна, понимаете-ли, не-спо-собна. Да!

— Ага! Вы слышите, что она говоритъ, mesdam'очки?—взвизгнула Макарова. — Она въ глаза намъ объявляетъ, что ея классъ третій, а не нашъ! У-у! Чужестранка противная!

— Макака, молчи!—вмѣшалась старшая изъ сестричекъ Пантаровыхъ, Катя, отчаянная «мовешка» и «разбойница».—Пусть она намъ скажетъ раньше, зачѣмъ она поминутно бѣгаетъ къ трещицамъ, ходитъ въ перемѣнки съ этой чумазой Петрушевичъ и... и...

— Да, да, пусть она скажетъ это! И пусть дастъ намъ честное слово, пусть поклянется намъ, что никогда не передала ни одного нашего балла, ни одной тайны трещицамъ. Пусть поклянется, и тогда мы ей повѣримъ...

Я взглянула на говорившую.

Это была вторая Пантарова, Юля или «Малявка», прозванная такъ за свой чрезвычайно крохотный ростъ,

что не мѣшало ей быть ужасной задирой и ехидничать при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ по адресу подругъ.

— А что трешницы знаютъ всѣ наши тайны, такъ это фактъ!—снова подхватила Катя,—знаютъ, что я у Галенбешки колъ получила, и что мы на послѣднюю аллею въ дождь бѣгали, и что Логиновой тухлую тетерьку въ пріемъ принесли. Кто-же имъ и передаетъ, какъ не чужестранка? Рантъ и Даурская освоились совсѣмъ съ нами, а эта...

— Чужестранка! Чужестранка! Конечно, чужестранка!

— Вонъ чужестранку! — глухо шумѣли дѣвочки вокругъ меня.

Я не чувствовала никакой вины за собою; совѣсть моя была чиста. Съ гордо приподнятой головою стояла я среди разбушевавшейся толпы одноклассницъ, стояла, смотрѣла, улыбалась и выжидала, что будетъ дальше.

И вотъ бѣлокурая дѣвочка съ свѣтлыми, полными огня и жизни, глазами, съ капризно-изогнутымъ ртомъ, вбѣжала въ кругъ и стала подлѣ меня.

— Воронская! — вскричала Волька, глядя въ упоръ на меня своими свѣтло-голубыми глазами, въ которыхъ такъ и бѣгали какія-то искорки, — я вѣрю, что вы не способны на это! Скорѣй Додошка и Рантъ перенесутъ наши тайны третьимъ, но не вы только! Но вѣдь эти дурочки (она презрительнымъ жестомъ руки обвела

весь классъ) не поймутъ васъ и не повѣрятъ. Дайте имъ честное слово, Воронская, что вы не передаете ничего трешницамъ про то, что дѣлается у насъ. Поклянитесь имъ и онѣ отстанутъ отъ васъ. Ей-Богу!

— Что?! Я должна клясться?! Давать честное слово?!..

Я вскинула глазами на говорившую.

— Да, да! Поклянись намъ и мы тебѣ повѣримъ,— подхватило и разнесло по классу около трехъ десятковъ звонкихъ молодыхъ голосовъ.

— Никогда! Слышите ли вы, никогда! — вырвалось у меня пылко, крикомъ злобы, гнѣва и протеста. — Оправдываться передъ вами? Клясться? Въ чемъ? Но вѣдь вы чепуху выдумали! Разъ вы не вѣрите мнѣ, вы не повѣрите и моему слову и моей клятвѣ. Я не привыкла, чтобы не вѣрили мнѣ и моимъ словамъ... Я слишкомъ цѣню мое слово и слишкомъ уважаю себя...

— Отлично, дитя мое! Отлично! Если-бы всѣ у насъ были одного убѣжденія съ тобою, это было-бы очень хорошо и я, ваша старушка Генъ, гордилась-бы своимъ классомъ.

И прежде чѣмъ я успѣла опомниться, Луиза Александровна Генъ, наша нѣмецкая дама, крѣпко обняла меня.

— Воронская! Маленькая колдунья! Кого вы покорили!—въ тотъ же вечеръ говорила мнѣ Вѣра Дебицкая, относящаяся ко мнѣ довольно дружески, — вѣдь

Генъ — это олицетвореніе казенщины и дисциплины! Чтобы добиться ея ласки или одобренія, надо уже родиться парфеткой; у нея есть свои любимицы, и другихъ она не признаетъ. И вдругъ такъ съ вами! Ничего не понимаю!

Дѣйствительно, это было не совсѣмъ обыденно, чтобы m-lle Генъ похвалила или приласкала кого-нибудь. Нескладная, грубоватая, въ большихъ, стучащихъ, какъ у мужчины, сапогахъ, съ грубоватымъ голосомъ и съ такимъ прямымъ, упорнымъ взглядомъ, который пронизывалъ, казалось, всю душу насквозь, она являлась какою-то смѣсью рѣзкой правды и грубой честности. Дѣвочки не любили ее и прозвали за глаза «солдаткой» за рѣзкій голосъ и манеры. Но пуще всего онѣ не любили въ ней ея яснаго, проницательнаго и остраго взгляда, отъ котораго скрыться уже было нельзя. Меня же, сама не знаю почему, съ перваго же дня пріѣзда потянуло къ Луизѣ Александровнѣ. И она какъ-то разомъ отличила меня. По крайней мѣрѣ, я часто ловила ея взглядъ, подолгу устремленный на меня съ какимъ-то внимательнымъ и добрымъ сочувствіемъ.

Когда мы поднялись въ дортуаръ въ тотъ же вечеръ, въ то время какъ я торопливо перебѣгала изъ умывальной комнаты къ моему уголку, Луиза Александровна неожиданно остановила меня.

— Воронская!—произнесла она тихо, — зайди, когда управишься, въ мою комнату.

— Хорошо, Fräulein,—отвѣчала я, присѣдая.

Генъ жила подлѣ нашего дортуара въ уютной хорошенькой комнаткѣ. Когда я перешагнула порогъ этой комнаты, она сидѣла на диванѣ, успѣвъ смѣнить свое форменное «мундирное» платье на просторный персидскій халатъ.

— Подойди сюда, дѣвочка!—проговорила она, видя, что я стою въ нерѣшительности у порога.

Я подошла.

— Тебѣ тяжело у насъ?—проговорила она тихо.

— Очень, Fräulein! — вырвалось у меня искренно, помимо воли.

— Ты чувствуешь себя несчастливой?

— Да... Дѣвочки чуждаются меня... Не хотятъ видѣть во мнѣ «свою»... Стараются подчеркнуть ежеминутно, что я не ихъ, а чужестранка... Мнѣ тяжело у васъ, Fräulein, это правда...

— Дитя! Дитя! А сдѣлала-ли ты что-либо, чтобы заслужить ихъ ласку?

— Я не люблю заслуживать ласки! — произнесла я съ отпечаткомъ презрѣнія въ голосѣ.

— Когда я была въ твоемъ возрастѣ, я говорила также. Я была независима и горда, какъ ты, милая Воронская, а потомъ покорилась... Жизнь всегда покоряетъ, а не мы ее... Ты горда сверхъ мѣры и изъ-за гордости не хочешь первая пойти навстрѣчу къ твоимъ будущимъ друзьямъ... Я понимаю, что тебя тянетъ къ

твоимъ бывшимъ одноклассницамъ, но ты побори себя. Старайся меньше бывать тамъ... Право, ты сойдешься скорѣе съ нашими, если...

— Я люблю Маріонилочку! — вскрикнула я пылко, прервавъ ее.—Люблю мою Ольгу, люблю ихъ всѣхъ!..

— Это похвально, что у тебя такое привязчивое сердце, дитя мое, — проговорила снова Генъ, — я сама люблю Маріониллу Маріусовну, хотя не одобряю ея педагогическихъ взглядовъ. Она слишкомъ снисходительна къ дѣтямъ, слишкомъ распускаетъ ихъ. Она скорѣе подруга, нежели воспитательница. Это ихъ выбиваетъ изъ колеи.

— Ахъ, она такая прелесть! — снова горячо вырвалось у меня.

— Не спорю,—произнесла спокойно Генъ.—Я и сама очень люблю ее.

Потомъ она помолчала немного и спросила, направляя на меня свой острый, какъ игла, взглядъ:

— А меня ты любишь хоть немного?

Я смутилась на минуту, потомъ быстро подняла свои глаза на ея некрасивое, сѣрое лицо, на которомъ только чудесные острые глаза лучисто сіяли, какъ звѣзды, и сказала, твердо выдерживая ихъ взглядъ:

— Нѣтъ... Я не успѣла, можетъ быть, еще полюбить васъ... Я васъ мало знаю...

— А я уже люблю тебя! — проговорила она, — я люблю тебя уже за одно то, что ты говоришь всегда

правду. Это великая вещь говорить всегда правду, дитя мое, одну голую правду, понимаешь?

И потомъ, кивнувъ мнѣ головой, добавила тихо:

— Ступай и постарайся послѣдовать моему совѣту.

Я сдѣлала реверансъ и тихо вышла изъ комнаты.

8 сентября.

Завтра уже недѣля, какъ я здѣсь. Боже мой, какъ бѣжитъ время! Если оно не уменьшитъ своего хода, то и не оглянешься пожалуй, какъ сдѣлаешься старухой, такой же старой и злой, какъ наша новая инспектриса, m-lle Ефросьева, которая замѣнила покойную Ролингъ, умершую этимъ лѣтомъ, гдѣ-то въ санаторіи, на югѣ Франціи.

Ахъ, что это за несноснѣйшая особа — эта новая инспектриса! Она поспѣваетъ всюду, гдѣ не ладно. Про нее среди институтокъ сложилось мнѣніе, что она обладаетъ удивительнымъ нюхомъ охотничьей собаки и по чутью узнаетъ, гдѣ творится нѣчто противозаконное, несогласующееся съ строгими институтскими правилами...

Сегодня Фрося (такъ прозвали Ефросьеву) уже поймала Додошку и Стрекозу, побѣжавшихъ въ «буфетную» за чернымъ хлѣбомъ. Она втащила ихъ въ классъ за обѣ руки, точно онѣ были трехлѣтнія маленькія дѣвочки, и сдавая ихъ m-lle Эллисъ, шипѣла своимъ нуднымъ, противнымъ голосомъ, немилосердно крутя, по привычкѣ, свою шейную цѣпочку:

— Вотъ вамъ ваши барышни... Отличаются!.. Только «второгодницы» способны на нѣчто подобное!..

И при этомъ значительно скосила на меня свой, всегда слезящійся, взглядъ.

15 сентября.

Сегодня произошло событіе въ нашемъ классѣ. Нѣмецъ Галленбекъ былъ не въ духѣ. Онъ вызвалъ Додошку въ первую голову и заставилъ продекламировать «Лорелею» Гейне:

Ich weiss nicht was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin... и т. д.

Додошка, какъ и слѣдовало ожидать, не знала Лорелеи, какъ не знала и многого другого при ея неунывающей и лѣнивой, какъ у сурка, натурѣ. За Додошкой была вызвана старшая Пантарова. И та ни въ зубъ толкнуть нѣмецкаго стихотворенія. За Катей вызвали Марусю Вергъ. Та стихотвореніе знала, но запнулась внезапно на предпослѣдней строчкѣ. Обозленный уже заранѣе дурными отвѣтами остальныхъ, нѣмецъ влѣпилъ Марусѣ единицу.

Дѣвочки глухо зароптали.

— Вергъ знала урокъ... Единица не заслужена ею... Вергъ нельзя ставить единицу. Это несправедливо!.. Несправедливо!..—слышалось изъ разныхъ угловъ класса.

Галленбека взорвало.

— Schweigen! *)—бѣгая отъ скамейки къ скамейкѣ, надрывался онъ, крича на всѣхъ.

*) Молчать.

Но дѣвочки расходились...

— Безобразіе!—все громче и громче роптали онѣ.— Съ нами какъ съ дѣтьми обращаются... Мы не дѣти... Стыдно ставить единицу незаслуженно... Не честно!.. Вергъ знала урокъ!.. Если будутъ ставить единицу знающимъ, то мы отвѣчать не будемъ, никто, никто!

Сима Эльская живо соскочила со своего мѣста и закричала:

— Mesdam'очки! Кого бы ни вызвали—молчать!

— Was soll es bedeuten, Fräulein Elskaja? *)—уже окончательно разсвирѣпѣлъ нѣмецъ,—извольте сейчасъ же отвѣчать мнѣ Лорелею!

— И не думаю!—пожимая плечами произнесла самымъ спокойнымъ голосомъ Эльская, усаживаясь на свое мѣсто.

— Что-с-о?—нахмуривъ свои сѣдыя, нависшія брови, вскричалъ учитель и застучалъ линейкой по столу.

— Я отвѣчать не буду!—произнесла не совсѣмъ твердымъ голосомъ Сима.

— И я! И я тоже!—послышалось снова изъ разныхъ угловъ класса.

— Ага!—прошипѣлъ Галленбекъ,—вы не знаете Лорелеи! Хорошо... Fräulein Дебицкая, Старжевская, Бутузина и Воронская, пожалуйте сюда къ каѳедрѣ и отвѣчайте мнѣ сейчасъ-же!

---

*) Что это значитъ, Эльская?

Три названныя парфетки, — будущія медалистки, и я съ ними, вышли на средину класса. Всѣ трое,—Валя, Старжевская и Бутузина, не торопясь отвѣтили Лорелею, слово за слово, плавно и красиво, какъ и подобаетъ отвѣчать на урокѣ лучшимъ ученицамъ класса.

Галленбекъ во все время ихъ отвѣта милостиво улыбался, и по лицу его скользила довольная улыбка.

— Sehr gut! Sehr gut! *)—произнесъ онъ и поставилъ каждой изъ дѣвочекъ по жирному и крупному 12.

— Ну, Fräulein Воронская, очередь за вами. Fix! **).

Но вмѣсто того, чтобы отвѣчать поэтичную, какъ природа Рейна, знаменитую легенду въ стихахъ любимаго моего поэта, я тупо опустила глаза въ землю, закусила до боли губы и упорно молчала, смотря въ полъ.

— Fräulein Воронская! Вы не хотите отвѣтить?

— Не хочу! — произнесли мои губы, въ то время какъ глаза стойко выдерживали свирѣпо устремленный на меня взглядъ учителя.

— Значитъ вы не знаете Лорелеи?

— Нѣтъ, я ее знаю!—снова обдавъ его съ головы до ногъ негодующимъ взглядомъ проговорила я.

— Но вы не отвѣчаете...

— Я не отвѣчу до тѣхъ поръ, пока вы не зачеркнете Марусѣ Вергъ ея единицу. Она не заслужила ея!

---

*) Очень хорошо! Очень хорошо!

**) Скорѣе.

— Это что такое!?—такъ и подпрыгнулъ на своемъ мѣстѣ нѣмецъ, — въ четвертомъ классѣ барышни ведутъ себя какъ кадеты!.. Fräulein Эллисъ, не обратите-ли вы вниманіе на это! — все такъ-же свирѣпо обратился Галленбекъ къ возсѣдавшей за столомъ у окна съ работой классной дамѣ.

Она подняла на меня тоскующій взглядъ и съ видомъ мученицы проговорила:

— Mais... Voronskaya, repondez donc *).

Я молчала.

Нѣмецъ еще рѣшительнѣе ударилъ линейкой по столу каѳедры и проговорилъ:

— Или вы отвѣтите мнѣ сейчасъ Лорелею, или... я отправлюсь тотчасъ-же съ жалобой къ начальницѣ.

И онъ обвелъ весь классъ торжествующими глазами и остановилъ ихъ снова на мнѣ. И такъ какъ я продолжала молчать, глядя на него исподлобья злымъ, вызывающимъ взглядомъ, онъ быстро сбѣжалъ съ каѳедры, въ одну секунду перебѣжалъ пространство отъ нея до двери и скрылся за нею въ одно мгновеніе на своихъ длинныхъ и худыхъ, какъ ходули, ногахъ. Въ ту-же минуту чьи-то горячія руки обвились вокругъ моей шеи, чьи-то горячія губы прильнули къ моимъ губамъ.

— Воронская... Лида... душка... милая... спасибо!..—

*) Воронская, отвѣчайте же.

шептала мнѣ Маруся Вергъ, сжимая меня въ своихъ объятіяхъ.

— Воронская—молодецъ!.. Прелесть!.. Отлично, Воронская!.. Ну, вотъ вамъ и чужестранка, а лучше нашихъ «исподтишницъ» сорудовала!—послышались за мною сдержанные голоса. — Ну, ужъ и отличились же наши, нечего сказать! Какія бонтонныя дѣвицы! Стрижка хороша, а Вѣра еще лучше. Про Бутузину и говорить нечего—эта совсѣмъ оказенилась!.. Скорѣе умретъ, нежели пойдетъ противъ правилъ институтскихъ! — кричали насмѣшливые голоса дѣвочекъ вокругъ меня.

Мнѣ улыбались, меня цѣловали. Тѣ-же самыя лица, которыя, какую-нибудь недѣлю тому назадъ, считали меня «чужестранкой», передатчицей и всячески изводили меня,—теперь слали мнѣ свои улыбки. И за что?—рѣшительно не понимаю. За то, что я не рѣшилась поступить иначе! Какой же тутъ подвигъ?

— Воронская! Брависсимо! Дайте мнѣ пожать вашу благородную лапку! — безъ церемоніи, перепрыгнувъ черезъ парту съ сидящими на ней сестричками Пантаровыми, подскочила ко мнѣ Волька, — ей-Богу же удружила до сихъ поръ!

И широкимъ жестомъ руки шалунья провела рукой по горлу.

— Ну, а я должна сказать вамъ, что вы поступили непростительно дерзко, — проговорила m-lle Эллисъ, съ видомъ ангела приближаясь ко мнѣ, при чемъ она

тщетно силилась придать строгое выраженіе своему добродушному, милому лицу.—Monsieur Галленбекъ пожалуется maman. Maman разгнѣвается на васъ и вамъ придется очень нехорошо, моя милая.

— А я увѣрена, что maman пойметъ меня,—тряхнувъ, по своей привычкѣ, стриженными кудрями проговорила я и, пожавъ плечами, отошла отъ нея.

— Позвольте и мнѣ поблагодарить васъ. Вы поступили благородно, Воронская,—услышала я очень тоненькій и нѣжный голосокъ за собою.

Поднявъ голову, я увидѣла черкешенку. Она стояла предо мной. Ея красивая, тоненькая ручка, не менѣе выхоленная, чѣмъ рука Вари Голицыной, протягивалась ко мнѣ. Ея огромные, черные, великолѣпные глаза сіяли мнѣ навстрѣчу горючими, сверкающими алмазами.

Я невольно подалась впередъ и поцѣловала ее...

Галленбекъ, противъ ожиданія, не потащился къ maman съ доносомъ, а ограничился тѣмъ, что передалъ всю исторію инспектору классовъ Тимаеву. Тотъ зашелъ передъ вечернимъ чаемъ къ намъ, прочелъ длинную нотацію о томъ, какъ нехорошо дерзко обходиться съ учителями, которые пекутся о нашемъ благѣ, и, попросивъ m-lle Эллисъ оставить меня «безъ шнурка» въ слѣдующее воскресенье, такъ-же поспѣшно скрылся, какъ и пришелъ.

Этимъ весь инцидентъ былъ исчерпанъ.

Однако, я смутно почувствовала, что съ этого дня

пріобрѣла уваженіе класса. Правда, многія еще изъ моихъ новыхъ одноклассницъ путались, говоря мнѣ то вы, то ты, многія относились еще нѣсколько недовѣрчиво ко мнѣ, но я ничуть не претендовала на это.

— У Лиды Воронской есть свои убѣжденія,—часто слышала я фразу, и эта фраза приводила меня въ восторгъ.

У меня есть «убѣжденія!» Неправда-ли, шикарно?

30 сентября.

Ужасно быть такой неаккуратной. Но что будешь дѣлать, когда обстоятельства складываются такъ, что совсѣмъ мало времени приходится удѣлять моему милому дневнику.

Утромъ уроки, днемъ уроки и вечеромъ опять-таки уроки. Когда же прикажете писать?

Вчера, когда я вошла въ классъ рано утромъ, на моемъ тируарѣ красовались двѣ яркія розы рѣдкой красоты.

На маленькой бѣлой карточкѣ было написано мелкимъ красивымъ почеркомъ:

«*Прошу принять, какъ слабую дань моего восторга передъ вашимъ золотымъ сердцемъ, душка Воронская!*»

— Боже, что за сладость! — вскричала я, пораженная при видѣ розъ.—Стрекоза, не знаешь-ли откуда сіе?

— Это черкешенка, непремѣнно она! — проговорила моя сосѣдка убѣдительно. — Я видѣла, какъ она посылала дортуарную Акулину за розами вчера вечеромъ. Она тебя обожаетъ, черкешенка. Развѣ ты не знала?

— Обожаетъ?

Не скрою, что-то очень пріятное до краевъ наполнило мое тщеславное сердечишко. Эта красивая черкешенка «обожаетъ» меня, даритъ мнѣ розы, восторгается мною! Она—такая обаятельная, сама такая задумчивая и серьезная!

Я готова уже была вскочить съ своего мѣста и бѣжать благодарить мою новую поклонницу, какъ рѣзкій, веселый голосъ внезапно раздался надъ моимъ ухомъ:

— Ба-а-т-ю-шки! Розы! Подношеніе черкешенки! Трогательно и сладко!

Розы вянутъ отъ мороза,
Твоя же прелесть никогда!

Это самъ великій Пушкинъ сказалъ. Чувствуете вы это, Вороненокъ! Самъ геній!.. Можно понюхать ваши розы?—прибавила она.—Надѣюсь, онѣ не пахнутъ табакомъ?

— Волька, не дури!—остановила расходившуюся дѣвочку Рантъ.

Я, вся красная, смущенная отъ насмѣшекъ Симы, подошла къ черкешенкѣ. Она стояла у окна и смотрѣла на улицу.

— Елена!—проговорила я, заставивъ ее вздрогнуть отъ неожиданности,—не находите-ли вы, что смѣшно подносить розы своимъ подругамъ?

Она быстро вскинула на меня своими прекрасными глазами.

— Не судите меня, Воронская!—проговорила она, мило краснѣя,—я подарила-бы ихъ каждому, кто бы заставилъ полюбить себя и уважать. Я полюбила васъ, Воронская, и уважаю васъ. Не знаю чѣмъ, но безусловно чѣмъ-то вы отличаетесь отъ всей этой толпы. И вы мнѣ нравитесь ужасно! Возьмите эти розы и не забывайте меня.

— Боже! Сколь трогательный дуэтъ!—вскрикнула снова, словно изъ-подъ земли вынырнувшая передъ нами, Волька,—прекрасная черкешенка и не менѣе ея прекрасная поэтесса! Дѣти мои, вы не далеко уйдете съ вашими розами, увѣряю васъ! Лучше къ русскому уроку готовьтесь. Новый вѣдь учитель. Отличиться надо.

— Сима, а Леночку Головачеву помните?—замѣтила я лукаво.

Леночка Головачева была одною изъ старшеклассницъ, за которою бѣгала шалунья Сима. Волька смутилась на минуту моими словами и покраснѣла; потомъ громко расхохоталась на весь классъ:

— Ну, ужъ розъ-то моей Леночкѣ я не поднесла бы во вѣки! Лучше марцепанныхъ леденцовъ и шоколаду послала бы купить вмѣсто нихъ и съѣла бы за ея здоровье! Понятно!—ужъ во все горло, не удерживаясь больше, расхохоталась шалунья.

2 октября.

Я люблю осень съ ея картиной общаго разрушенія. Я люблю, когда желтые и красные листья кружатся въ

воздухѣ, гонимые вѣтромъ. Я люблю сѣрую дымку осенняго тумана, колючій холодокъ утренника... Нашъ большой институтскій садъ обнажается все больше и больше съ каждымъ днемъ. Голодныя вороны мечутся по небу съ пронзительнымъ крикомъ...

Маленькимъ седьмушкамъ уже выдали зимніе капоры и тяжелые клеки. Мы же, старшія, еще ходимъ въ нашихъ зеленыхъ бурнусахъ и вязаныхъ шарфахъ. И мы чувствуемъ себя прекрасно. Въ особенности—сегодня.

Какой-то особенный день выдался сегодня. Даже солнце играетъ на золотѣ и багрянцѣ осеннихъ листьевъ и придаетъ какъ будто праздничный видъ всему саду.

Утромъ я гуляла съ Олей Петрушевичъ по послѣдней аллеѣ, гдѣ упавшій съ деревьевъ листъ покрылъ сплошнымъ шумящимъ ковромъ длинную, гладкую, ровную дорожку, какъ вдругъ Даурская бомбой вылетѣла къ намъ навстрѣчу.

— Воронская! Иди въ маленькую пріемную! Къ тебѣ папа пріѣхалъ.

— Додошка, ты врешь!—отвѣчала я хладнокровно.

— Вотъ ей-Богу же пріѣхалъ!—усиленно закивала головою Додошка и быстро, быстро закрестилась размашистымъ крестомъ.

Тогда я мелькомъ кинула взглядъ на Петрушу и быстро пошла къ крыльцу.

Мы не видѣлись съ папой съ самой весны, когда онъ пріѣзжалъ провожать меня, въ день моего отъѣзда въ Гапсаль. Первые годы послѣ моего злополучнаго бѣгства я не ѣздила на вакаціи въ Шлиссельбургъ и на всѣ предложенія папы провести лѣто дома упорно отказывалась, говоря, что тутъ у меня и подруги, и занятія, и... Богъ знаетъ, что я выдумывала еще. И всѣ три года я проводила въ институтѣ.

За эти три года я совсѣмъ, какъ говорится, «оказенилась». Институтъ сталъ моей второй семьею; съ дѣвочками я такъ свыклась, что точно всю мою жизнь провела съ ними. Правда, иногда острая тоска по «солнышку» грызла меня, но въ такія минуты я старалась урезонить себя, повторяя самой себѣ съ какимъ то злорадствомъ:

— Вотъ они счастливы безъ меня, и «она», и папа, и имъ никакого дѣла нѣтъ до бѣдной, далекой дѣвочки... Не надо поэтому тосковать и не надо думать и страдать по «солнышку». Не надо! Не надо!..

Папа пріѣзжалъ ко мнѣ за эти годы очень рѣдко. Зимою было плохое сообщеніе съ Шлиссельбургомъ, лѣтомъ же у него, какъ у военнаго инженера, бывали большія работы, и онъ не могъ располагать своимъ временемъ.

Послѣдній годъ я сильно болѣла и доктора посовѣтовали везти меня на лѣто на морскія купанья. Папа немедленно согласился, подыскалъ мнѣ знакомую хоро-

шую семью Каргеръ, и, по совѣту доктора, отправилъ меня съ нею на берегъ Балтійскаго моря, въ Гапсаль, который славится своими купаньями. Самъ онъ ѣхать не могъ.

Семья наша за послѣдніе годы увеличилась; у меня были уже два брата—трехлѣтній Павликъ и годовалый Саша. Но я знала ихъ только по карточкамъ.

Всѣ эти воспоминанія вихремъ пронеслись въ моей головѣ, пока я пробѣгала садомъ.

Какъ то мы встрѣтимся? Что я скажу ему? Сердце у меня колотилось такъ сильно, что я невольно прижала руку къ груди, чтобы удержать его біеніе...

Вотъ я миновала швейцарскую, музыкальныя комнаты, и очутилась у затворенной двери въ маленькую пріемную. Я пріостановилась на минуту, машинально обдернула пелеринку и вошла.

Отецъ стоялъ у окна, спиною къ двери. Онъ обернулся съ живостью мальчика на шумъ моихъ шаговъ.

— Лидочка, здравствуй!—услышала я милый голосъ.

Я бросилась ему на шею.

Мнѣ показалось въ ту минуту, что этихъ мучительныхъ для меня четырехъ лѣтъ какъ не бывало. Точно маленькую дѣвочку Лиду впервые привезъ сюда въ институтъ ея «солнышко», ея «папа-Алеша»...

Боже мой! какъ я могла до сихъ поръ отказываться отъ счастья видѣть его цѣлые три лѣтніе мѣсяца въ году? Какъ я могла, гордая дѣвочка, не позволять своему сердцу обливаться тоскою въ разлукѣ съ нимъ?

— Солнышко! Солнышко!—шептала я точно въ забытьѣ, обнимая и цѣлуя его, но плохо сознавая сонъ это или дѣйствительность.

Онъ жадно сталъ разспрашивать меня обо всемъ—и о томъ, какъ я провела лѣто въ Гапсалѣ и о томъ, привыкла-ли къ своимъ новымъ одноклассницамъ.

— Разскажи все, вѣдь ты была не особенно щедра на письма, дѣвочка,—произнесъ онъ, улыбаясь, съ легкимъ укоромъ.

И ни слова о прошломъ. Ни слова о моемъ ужасномъ бѣгствѣ, три года тому назадъ, ни о моемъ упорномъ нежеланіи проводить у нихъ каникулы.

Милый, добрый папа, какъ я много огорчала его! И онъ простилъ мнѣ все это! Простилъ до конца!..

Мы сидѣли, обнявшись, на одномъ изъ зеленыхъ диванов маленькой пріемной, какъ было раньше, въ первый годъ моего поступленія въ институтъ. Прежнихъ лѣтъ точно не бывало. Я снова чувствовала себя маленькой Лидюшей, такъ горячо любимой имъ. Я безъ умолку разсказывала ему и о новыхъ впечатлѣніяхъ, и о новыхъ подругахъ, о «черкешенкѣ», Волькѣ, объ исторіи съ нѣмцемъ, о добротѣ ко мнѣ Генъ и многомъ другомъ... Онъ слушалъ, улыбался, кой-что спрашивалъ, смѣялся вмѣстѣ со мною...

Вдругъ, въ самый разгаръ моего увлеченія, онъ произнесъ, какъ-то странно глядя на меня своими милыми глазами:

— А у насъ, Лидюша, новость въ семьѣ. Большая новость!—и тотчасъ же добавилъ, не давъ мнѣ выговорить ни слова,—у тебя теперь сестричка Ниночка, крошечная Ниночка... У насъ ровно мѣсяцъ тому назадъ родилась дочка...

О!

Зеленая комната ходуномъ заходила передъ моими глазами. Мнѣ показалось, что сразу наступила ночь и темнота. Что-то захлестнуло меня... Какая-то волна подступила къ моему горлу, грозя задушить меня сейчасъ же, сію минуту... задушить до смерти... Я закрыла лицо руками и тихо застонала...

Что у меня были братья,—не родные, а отъ «нея», моей мачихи,—я не придавала этому особеннаго значенія; мальчиковъ, какъ я знала, держатъ строго въ семьяхъ и не ласкаютъ такъ, какъ дочерей. И я была твердо убѣждена, что они не могутъ отнять у «солнышка» его любви и привязанности ко мнѣ—единственной до сихъ поръ его дочери. Но вотъ отнынѣ у моего «солнышка» другая дѣвочка-дочка, которую онъ будетъ такъ же любить и ласкать, какъ меня, даже можетъ быть больше... Этого я перенести не могла! Рѣшительно не могла!.. Я помню, когда я была совсѣмъ еще маленькою, я чуть не дошла до нервнаго припадка, видя, что «солнышко» собрался поцѣловать рыженькую Лили. А теперь онъ будетъ цѣловать постоянно эту противную маленькую дѣ-

вочку, которую я за глаза возненавидѣла всей моей душой!..

— Что съ тобою? Ты здорова, Лидюша?—осторожно освѣдомился «солнышко» при видѣ моего внезапно измѣнившагося и разстроеннаго лица.

Я точно окаменѣла. Машинально слушала его, машинально отвѣчала на его вопросы, а мозгъ и сердце мое твердили мнѣ все одно и то же, одно и то же, безъ конца

— «У тебя есть сестра... у твоего «солнышка» есть дочка... маленькая дочка, которую онъ будетъ любить такъ же, какъ тебя! Любить и ласкать!..»

И сердце мое обливалось кровью...

Я не помню, какъ онъ простился со мною, какъ вышелъ. Не помню, какъ я сама очутилась въ классѣ. Очнулась я только тогда, когда голосъ Додошки раздался у моего уха:

— Душка Воронская, тебѣ сейчасъ корзину принесли. Дай мнѣ чего-нибудь изъ сладенькаго, пожалуйста!

Я посмотрѣла на Додошку съ удивленіемъ.

— Я распакую корзину и посмотрю, что тамъ есть,— снова заискивающимъ голосомъ произнесла она.

— Дѣлай, что хочешь!—вскричала я,—дѣлай, что хочешь! Бери все! Мнѣ ничего не надо!.. Слышишь— ничего!.. Только отстань отъ меня Бога ради!.. Всѣ вы отстаньте отъ меня!

И стремительно поднявъ крышку моего тируара, я

просунула подъ нее голову и скрылась тамъ отъ любопытныхъ взоровъ.

Нѣжный, чуть слышный ароматъ, выходящій изъ пюпитра, привлекъ мое вниманіе. Въ крошечной хрустальной кружечкѣ стояли розы, чудныя розы черкешенки.

— А—а!—простонала я, внезапно охваченная необъяснимымъ порывомъ злости къ ни въ чемъ неповиннымъ цвѣтамъ. И, схвативъ ихъ вмѣстѣ съ хрустальной кружечкой, далеко отшвырнула на полъ. Кружечка разбилась вдребезги. Вода разлилась.

— Вотъ тебѣ розы! Столь нѣжныя чувства, столь нѣжныя розы, и вдругъ на пыльномъ и грязномъ полу!—продекламировала съ паѳосомъ всюду поспѣвающая Симочка.

Бѣшенство новымъ порывомъ охватило меня при видѣ паясничавшей дѣвочки.

— Слушайте вы... какъ васъ...—закричала я злымъ голосомъ,—если вы вздумаете еще разъ посмѣяться надо мною, то я... я...

— Дуэли не приняты у женщинъ!—звонко расхохоталась Симочка,—въ Америкѣ развѣ... Но я не поѣду въ Америку ради вашего удовольствія, госпожа Воронская, чтобы дать вамъ возможность отправить меня къ праотцамъ.

И потомъ, внезапно понизивъ голосъ, она прибавила съ совершенно уже серьезнымъ лицомъ:

— Я хотѣла бы сказать вамъ два слова.

Чуть ли не въ первый разъ я увидѣла лицо Симы серьезнымъ. Ея лукавые, плутовскіе глаза не сверкали, по обыкновенію, тонкой насмѣшкой, когда, отведя меня къ окну, она проговорила:

— Слушайте, Вороненокъ, вы не смотрите на меня, что я бѣшеная и труню надъ вами. Вы мнѣ ужасно нравитесь, ей-Богу!.. Розъ я вамъ подносить не буду, это ужъ вѣрно, какъ зовутъ меня Серафимой... Удивительно несоотвѣтствующее имя дали мнѣ родители, вы не находите?.. И ловить ваши взгляды, какъ это дѣлаетъ черкешенка,—тоже не буду. А другомъ вашимъ буду съ удовольствіемъ. По рукамъ, что ли?

Я невольно улыбнулась. Тонъ этой рѣзкой, прямой и оригинальной дѣвочки нравился мнѣ. И потомъ, она кого то странно мнѣ напоминала, но кого? Я рѣшительно не могла припомнить. Вдругъ я невольно расхохоталась.

— Большой Джонъ! Конечно, Большой Джонъ!— вскричала я.

— Что сіе значитъ?—удивилась Сима.

— А то, что вы ужасно похожи на нѣкоего Большого Джона, котораго я знаю и люблю...

— Ну, тѣмъ лучше!.. Слушайте-ка, вы чего это куксились сегодня, когда вернулись изъ маленькой пріемной?

— У папы дочь родилась, т.-е. у меня новая сестричка!—произнесла я мрачнымъ голосомъ.

— Вотъ такъ невидаль, подумаешь!—снова звонко расхохоталась Волька,—да у меня цѣлыхъ восемь сестричекъ! Что же, по вашему, я тоже кукситься должна?

— Но у васъ другое...

И сама не помня какъ, но слово за словомъ я разсказала ей все, начиная съ самаго ранняго дѣтства и кончая бѣгствомъ маленькой принцессы къ ея четыремъ феямъ.

— Вотъ это здорово!—вскричала Сима, едва я дошла до того мѣста, какъ попала въ таборъ и спаслась оттуда,—ну, а потомъ какъ? Вы такъ и не дошли до тетей, а?

— Нѣтъ, не дошла...

— И не видали ихъ съ тѣхъ поръ?

— Нѣтъ, не видала! Когда я вернулась осенью въ институтъ, я узнала отъ начальницы, что моимъ тетямъ запрещено посѣщать меня.

— Ну?

И на выразительномъ лицѣ Симы отразилось самое краснорѣчивое удивленіе. Однако она опомнилась въ слѣдующую же минуту.

— Плохо ваше дѣло, Воронская, да не такъ плохо, какъ кажется! У каждаго свое горе... У меня тоже. Я только не показываю. Что пользы хныкать? Вѣдь этимъ не поможешь!.. А вы проще на жизнь смотрите. Тогда вамъ легко будетъ житься. У васъ уже здѣсь обожательницъ сколько: Львова, черкешенка, а въ дру-

гихъ классахъ не оберешься. Къ тому же вы учитесь хорошо и стихи пишете. Мнѣ Додошка проболталась. Вѣрно?

— Вѣрно!—засмѣялась я.

— Ну, вотъ, будущая знаменитость будете, поэтесса! Не оставьте тогда насъ, грѣшныхъ, вашими милостями.

Я расхохоталась.

— Ну, вотъ, выглянуло солнышко! Слава Богу! Помните же, Волька вашъ другъ... А теперь идите къ вашей корзинѣ, а то, смотрите, Додошка съ вашими лакомствами прикончила и принимается за самую корзинку. Когда-нибудь она и насъ съ вами проглотитъ, зазѣвайся только.

1 ноября.

Господи! Опять я пропустила чуть не цѣлый мѣсяцъ. Но дѣло въ томъ, что я приняла совѣтъ Эльской и веселюсь отъ всей души. Съ нею мы неразлучны. Просто даже времени не было думать о дневникѣ...

Это какая то особенная, исключительная дружба съ этой Эльской. Начать съ того, что она говоритъ мнѣ «вы» и самымъ безсовѣстнымъ образомъ критикуетъ всѣ мои поступки. Но мы отлично дополняемъ одна другую. И, потомъ, такого разбойника мнѣ еще не приходилось встрѣчать въ нашихъ институтскихъ стѣнахъ. Она, какъ безумная, носится въ перемѣнки по всему институту, задѣваетъ старшихъ, особенно мой прежній тре-

тій классъ, пресерьезно увѣряя, что всѣ онѣ «ни Богу свѣчка, ни чорту кочерга»: отъ маленькихъ отстали,—къ большимъ не пристали. Фроська гоняется за ней по пятамъ и не можетъ ее никакъ поймать.

Я стараюсь, въ чемъ только могу, не отстать отъ нея. Ольга Петрушевичъ даже обидѣлась на меня.

— Ты меня совсѣмъ знать не хочешь, Лида,—проговорила она какъ-то,—хоть бы разъ пришла къ намъ въ классъ. Даже Маріонилочка говоритъ про это. Я замѣтила, что ты страшно перемѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ сошлась съ этимъ головорѣзомъ-Эльской.

Какъ ее всѣ не любятъ, Симу! Удивительно. А все за то, что она такъ и рѣжетъ правду въ глаза.

М-lle Генъ недовольна нашей дружбой. Она какъ то остановила меня за руку и сказала:

— Я ошиблась въ тебѣ, Воронская (она всѣмъ, безъ исключенія, говоритъ «ты»). Я ожидала, что ты будешь болѣе тщательна въ выборѣ подругъ. Неужели на Эльской весь свѣтъ сошелся?

— Ну, конечно, сошелся!—говорю я со смѣхомъ, глядя въ ея лучистые глаза.

— Ну, вы плохо кончите обѣ!—пророческимъ голосомъ возмущается она.

М-lle Генъ очень измѣнилась за это время, сгорбилась, осунулась и кашляетъ постоянно. Говорятъ, она ѣдетъ лѣчиться въ санаторію, въ ту самую санаторію, въ которой умерла m-lle Ролингъ. Послѣ Рождества у

насъ будетъ новая классная дама. Мнѣ жаль «солдатки», хотя она злится на меня. Впрочемъ, m-lle Эллисъ злится тоже и говоритъ, что сбавитъ мнѣ баллъ за поведеніе, если я не уймусь и не перестану «буйствовать» съ Эльской. Но она не понимаетъ, эта m-lle Эллисъ, что у меня въ далекомъ маленькомъ городкѣ есть теперь крошечная дѣвочка—сестра... Сестра! Брррр! Должна же я заглушить мою тоску чѣмъ-либо по этому поводу...

2 ноября.

Черезъ 12 дней балъ въ институтѣ. Но это касается меня ровно столько же, сколько солнечный закатъ индѣйскаго пѣтуха.

То, что произошло сегодня, захватило меня гораздо больше.

Отъ 11 до 12 былъ урокъ «бандита». Намъ было задано начало паденія Римской Имперіи и знаменитыя Лукулловскія пиршества. Тамъ есть такая строка: «Римскіе патриціи принимали на своихъ пирахъ рвотное, что бы черезъ нѣкоторое время снова приниматься за ѣду».

Наши парфетки долго совѣщались, чѣмъ бы замѣнить непоэтическое слово и не нашли ничего подходящаго. Бандита, за его красивые темные глаза, обожало, по крайней мѣрѣ, полкласса, и всѣмъ этимъ обожательницамъ казалось чѣмъ то необычайно чудовищнымъ произнести подобное слово въ присутствіи «обожаемаго» кумира.

Урокъ наступилъ, и Вѣра Дебицкая была вызвана первою. Она бойко доложила,—какъ и подобаетъ, впрочемъ, лучшей ученицѣ,—о томъ, какую роскошную жизнь вели римляне, какіе пиры задавали они и о томъ, кто такой былъ Лукуллъ, на пирахъ котораго римляне принимали... римляне принимали... римляне принимали... Тутъ бѣдная Вѣра ужасно смутилась и никакъ не могла докончить фразы — что именно принимали злосчастные римляне на своихъ пирахъ.

Бандитъ насмѣшливо улыбнулся себѣ въ бороду, и устремивъ взоръ на красную, какъ кумачъ, дѣвочку, предательски молчалъ.

Томительная пауза, послѣдовавшая въ это время, казалась намъ вѣчностью.

— Нѣтъ, г-жа Дебицкая, вы рѣшительно позабыли, что принимали римляне,—съ усмѣшкой произнесъ учитель.—Г-жа Пантарова-первая, не можете ли вы напомнить вашей подругѣ, что они принимали на своихъ пирахъ?

Катя, вся красная, поднялась съ своего мѣста и, растерянно глядя на учителя своими близорукими глазами, усиленно хлопала рѣсницами и молчала.

— Г-жа Даурская! Вы можетъ быть скажете?— проговорилъ «бандитъ», обращаясь къ Додошкѣ.

Злосчастная Додошка усиленно пережевывала что-то и чуть не подавилась отъ неожиданности, услыша свою

фамилію и при полномъ своемъ желаніи сказать что-либо, она абсолютно не могла этого сдѣлать.

— Г-жа Гордская!—безнадежно махнувъ рукою въ сторону Додошки, произнесъ «бандитъ», улыбаясь теперь съ чуть замѣтнымъ презрѣніемъ,—не скажете-ли вы намъ, что принимали на пирахъ римляне?

Но черкешенка только голову потупила вмѣсто отвѣта, и ея, обычно блѣдныя, щеки запылали яркимъ румянцемъ.

— Г-жа Воронская! Можетъ быть вы?—и черные насмѣшливые глаза учителя устремились въ мою сторону.

Я быстро встала. Слѣдовать общему примѣру мнѣ показалось въ высшей степени «дѣвчонствомъ». Къ тому же я не обожала «бандита» (какъ не обожала вообще никого) и мнѣ показалось невозможнымъ уродствомъ молчать о томъ, что сказано въ учебникѣ.

— Они принимали рвотное, чтобы снова приниматься за ѣду вслѣдъ за этимъ!—произнесла я спокойно, безъ малѣйшей тѣни смущенія.

— Благодарю васъ, г-жа Воронская, что позволили мнѣ довести классъ до конца,—произнесъ бандитъ съ чуть замѣтной своей тонкой усмѣшкой,—а то мы бы просидѣли весь урокъ и не могли бы идти дальше... Я не люблю задавать новаго урока, не получивъ отчетъ въ старомъ,—добавилъ онъ, уже будучи не въ состояніи скрыть улыбки, и сталъ тутъ-же объяснять намъ слѣдующую исторію.

Въ этотъ день многія изъ дѣвочекъ дулись на меня.

Уже поздно вечеромъ, придя въ дортуаръ, Катя Пантарова накинулась на черкешенку.

— Ну, ужъ и твоя Воронская! Нечего сказать, отличается! Идти противъ класса! Прекрасно! Стоитъ ли обожать такую?

— Молчи!—вскричала черкешенка, и ея тоненькій голосокъ далеко-далеко разнесся по дортуару.—Я не позволю сказать про нее ни одного дурного слова! Она лучше васъ всѣхъ!

И черные глаза ея чудно засверкали мягкимъ, блестящимъ огонькомъ.

— Нечего сказать «лучше»,—не унималась Катя,—и розы твои выкинула, и тебя же на Симку промѣняла!

— Ну и пусть! Ну и пусть!—горячо вырвалось изъ груди черкешенки,—она лучше знаетъ что дѣлать, она знаетъ, она одна! Да!

Меня невольно тронула эта горячая привязанность, и я направилась было къ ней, чтобы поблагодарить ее. Но Гордская была уже далеко.

3 ноября.

Только двѣнадцать дней осталось до бала! Смѣшно видѣть, какъ наши старшія готовятся къ нему. Даже трешницы и тѣ начинаютъ тренироваться. Оля Петрушевичъ ходитъ какъ-то особенно, торжественная и вытянутая, точно аршинъ проглотила...

— Оля, что съ тобой?—недоумѣвая спросила я ее, гуляя съ нею въ перемѣну.

— Ахъ, Лидочка! Вотъ-то балъ будетъ! Варинъ братъ будетъ на балу. Она обѣщала мнѣ, что онъ будетъ танцовать со мною много, очень много... Я каждое утро нарочно для этого учу потихоньку вѣнское па, и, знаешь, ѣмъ очень мало: боюсь быть тяжелой и не граціозной. Варя находитъ ужасно не женственнымъ, когда дѣвушка и толста, и красна.

— Да твоя Варя глупа, если говоритъ это!—вскричала я.—Съ какой стати морить себя голодомъ изъ-за нѣсколькихъ туровъ вальса! Не понимаю!

Впрочемъ, я и многаго теперь не понимаю въ Олѣ. Она какая-то смѣшная стала съ нѣкоторыхъ поръ. Разсказала мнѣ какъ-то съ восторгомъ, что она недавно узнала, что многія дамы зубной порошокъ по утрамъ глотаютъ, чтобы не быть румяными и красными, и въ корсетѣ спятъ, чтобы тонкую талію пріобрѣсти и прибавила, что она думаетъ дѣлать то же. Возмутительно! Къ чему въ такомъ случаѣ Богъ посылаетъ здоровье глупымъ людямъ? Вообще она измѣнилась. И талія у нея стала тоненькая-претоненькая, какъ у осы,—вѣрно затягивается на пропалую.

4 ноября.

Сегодня я была у «трешницъ». Маріонилочка сама позвала меня. Сама Маріонилочка!.. Нѣтъ! Если-бы я умѣла обожать кого-нибудь, то, конечно, выбрала бы ее, ее одну...

— M-lle дуся!—кричала я,—не выходите замужъ...

Оказывается, у «трешницъ» уже знали про эпизодъ съ «бандитомъ». М-lle Эллисъ сама Маріонилочкѣ разсказывала. Меня заставили повторить, и всѣ страшно хохотали, потому что я передала въ лицахъ, какъ спрашивалъ «бандитъ» и какъ «давились» наши парфетки, будучи не въ состояніи произнести слова. Потомъ Варя Голицына подошла ко мнѣ и спросила:

— Тебѣ Ольга ничего не говорила про «секретъ»?

— Секретъ?—я такъ вся и встрепенулась.

— Ты ничего не знаешь?

— Рѣшительно ничего!

Аристократка пожала плечами.

— Странно! Гдѣ ты обрѣтаешься? За какими высотами? Весь институтъ знаетъ это. — И потомъ тихо и вѣско добавила: — Маріонилочка выходитъ замужъ.

— Замужъ? Маріонилочка?

И прежде, чѣмъ Варя успѣла удержать меня, я была подлѣ каѳедры у ногъ Маріонилочки.

— М-lle дуся!—кричала я, какъ изступленная, точно меня обрекали на казнь,—не выходите замужъ, не выходите! Ради Бога не выходите, дуся m-lle!

Она сначала даже испугалась какъ будто, потомъ улыбнулась, обняла меня и сказала:

— Странная ты дѣвочка. Почему я не должна выходить замужъ? Объясни-ка мнѣ!

— Да потому, что вы нужны всѣмъ намъ и вашему

классу, и мнѣ наконецъ, и всему свѣту,— вырвалось у меня пылко.

— Нужна! Да, теперь, можетъ быть. А потомъ, когда вы выпорхнете отсюда, какъ птички изъ клѣтки, я уже не нужна буду вамъ. А когда состарюсь, мнѣ будетъ тяжело одной безъ семьи, безъ мужа. Придется идти въ богадѣльню и умереть въ одиночествѣ...

Она задумалась немного, потомъ по прелестному лицу ея пробѣжала улыбка.

— Вотъ поэтому я и хочу найти себѣ друга на всю жизнь, подлѣ котораго я не чувствовала бы себя одинокой,—продолжала она.—Мнѣ хочется тоже испробовать, что такое счастье, узнать его, какое оно бываетъ на землѣ!

Я не знаю почему, но слова ея произвели на меня странное впечатлѣніе...

Грустная ушла я отъ третьихъ, пробралась въ свой дортуаръ и, умостившись на подоконникѣ, долго смотрѣла на мѣсяцъ. Мнѣ показалось, что мѣсяцъ и счастье одно и то же. Но мѣсяцъ я видѣла, а счастья нѣтъ. Мнѣ оно представлялось почему-то красивой златокудрой феей съ лазоревыми глазами. И пока я стояла въ дортуарѣ, чудно озаренномъ луннымъ сіяніемъ, что то давно знакомое, нѣжное и туманное приблизилось ко мнѣ, обвило меня легкимъ облачкомъ, коснулось моего лба. И онъ запылалъ, и щеки запылали также. Чуть слышные аккорды полились мнѣ въ душу...

Точно невидимая музыка заиграла гдѣ-то поблизости. Потомъ она затихла, и губы мои, трепещущія и взволнованныя, зашептали:

Бѣлый кречетъ кричитъ въ облакахъ
Расцвѣтаютъ въ долинѣ цвѣты...
Побѣжали потоки въ горахъ,
То смѣясь, то рыдая... Гдѣ ты?
Я долины кругомъ исходилъ,
На утесы крутые влѣзалъ...
Я тебя беззавѣтно любилъ...
Я тебя безконечно искалъ...
Гдѣ ты, фея воздушныхъ высотъ?
Гдѣ ты, роза цвѣтущихъ долинъ?
Гдѣ найду твой лазоревый гротъ?
Въ высотѣ иль на лонѣ низинъ?
Гдѣ ты, сказка лучистаго дня?
Гдѣ ты, пѣсня воздушныхъ ночей?
Гдѣ ты, пламя живого огня
И сіянье небесныхъ очей?..
Ты обвей меня нѣжнымъ крыломъ,
Обними бѣлоснѣжной рукой,
Очаруй очарованнымъ сномъ...
Фея счастья! Хочу быть съ тобой...

Я вся еще трепетала отъ прилива горячаго экстаза, какъ дверь въ дортуаръ отворилась и Фрося, подозрительно поводя своимъ крючковатымъ носомъ и пришепетывая, на-ходу спросила:

— Что вы дѣлаете здѣсь одна, Воронская?

— Любуюсь луной!—отвѣчала я, разсерженная тѣмъ, что она явилась не кстати.

— Вы дерзки! Ступайте въ классъ! — прошипѣла мнѣ она вслѣдъ.

Противная Фроська!

Ну, можно-ли стать поэтессой при подобныхъ условіяхъ!

8 ноября.

Я узнала странныя вещи... Такъ вотъ о чемъ онѣ шушукались всѣ четверо: креолка, Правковская, Татьяна и Радя Карская, сбившись въ одну общую группу на постели Зины Бухариной!

Вся замирая отъ сладкаго ужаса, Катя Макарова сообщила, что сама видѣла «кости» на послѣдней аллеѣ.

Кости! Какой ужасъ!

— И знаете, mesdam'очки, — повѣствовала, блестя разгорѣвшимися глазами, Катя,—это кости человѣческія, непремѣнно человѣческія! Вѣдь нашъ институтъ монастыремъ былъ прежде и въ саду было кладбище: тамъ покойниковъ хоронили...

— И все-то ты врешь! — вскричала, подойдя къ нимъ, Малявка,—нашъ институтъ замкомъ былъ одного чухонскаго барона еще до завоеванія Петербурга Петромъ Первымъ, и здѣсь...

— Юлька, умолкни! Ну, гдѣ ты у чухонъ барона выудила!—разомъ остановила пылъ расходившейся дѣвочки Бухарина,—а что это замокъ былъ, такъ это правда,—тутъ же добавила она.—Иначе, что же значитъ подземный ходъ, который выходитъ на галлерею?

— И совсѣмъ это не подземный ходъ, а просто подвалъ, гдѣ на зиму капусту прячутъ!—огорошила насъ Радя Карская своимъ прозаичнымъ объясненіемъ.

— Ну, «старушка Божья», ты ужъ всегда что-нибудь выдумаешь такое... самое заурядное,—разсердилась на нее «Пушкинская Татьяна», любившая, въ свою очередь, все поэтичное, таинственное и выходящее изъ ряда вонъ.—Я утверждаю, что и въ саду кости, и въ подземельѣ... Я знаю, это кости казненныхъ...

— Какихъ казненныхъ?—воскликнули разомъ мы всѣ.

— Ахъ, господа! — заволновалась «Татьяна»,—тутъ вѣдь замокъ былъ, и жилъ въ немъ жестокій, прежестокій баронъ...

— Какъ Синяя борода,—ввернула свое словцо подскочившая Додошка.

— Даурская, вы глупы! — разсердилась Елецкая.— Синяя борода—это сказка, а злодѣй, жившій въ замкѣ—былъ. Я твердо вѣрю въ то, что все это правда. Онъ казнилъ своихъ враговъ и бросалъ ихъ трупы въ подземелье. Я могу поклясться чѣмъ хотите!

Глаза нервной дѣвочки сверкали въ полутьмѣ дортуара. Щеки поблѣднѣли.

— А что, если ты все это врешь, душка?—огорошила ее снова Радя Карская, довольно-таки скептически относившаяся ко всѣмъ этимъ бреднямъ.

— Сама ты врешь!—разсердилась «Татьяна».

— А отъ кого ты все это слышала? — не унималась та.

— Конечно, ей все это во снѣ приснилось,—засмѣялась креолка своимъ милымъ смѣхомъ.

— Ну, ужъ нѣтъ!—неожиданно вступилась я за разсказчицу,—такія вещи не снятся. И откуда же кости на послѣдней аллеѣ?

И тутъ же, охваченная назойливой мыслью, я продолжала съ горячностью:

— Знаете, что я порѣшила: пойти въ подземелье и узнать, что тамъ такое.

— Не въ подземелье, а въ подвалъ. Называйте вещи ихъ именами!— снова расхолодила нашъ пылъ неумолимая Карская.

— Но только, mesdam'очки, и нагоритъ же намъ, если попадемся! Фроська, какъ голодный волкъ, по всему институту рыщетъ, — предостерегала Малявка, нервно поеживаясь отъ страха.

— Вздоръ! Чепуха! Я беру все это на себя,—произнесла я съ обычною мнѣ горячностью.—Завтра, послѣ обѣда, когда m-lle Генъ уйдетъ пить кофе въ свою комнату, мы идемъ! Только кто готовъ спуститься со мной? Надо это рѣшить сейчасъ,—и я вопрошающимъ взоромъ обвела группу.

— Я!

— И я!—послышались голоса со всѣхъ сторонъ.

— И я!—произнесъ подлѣ меня знакомый мнѣ, тоненькій, какъ у ребенка, голосъ. — Если вы пойдете, Воронская, возьмите и меня! Умирать, такъ вмѣстѣ, заразъ!

Передо мной стояла черкешенка. Она успѣла рас-

плести на ночь свои, отливающія синевой, черныя косы и стояла теперь передъ нами красивая и таинственная, съ блестящими глазами, черными, какъ ночь.

— Ай, привидѣніе!—закричала вдругъ своимъ пронзительнымъ голосомъ Додошка, отскакивая отъ двери.

— Додошка, какъ ты смѣешь пугать! Это не привидѣніе, а m-lle Генъ.

Дѣйствительно, m-lle Генъ вышла изъ своей комнаты, освѣдомилась, что здѣсь за шумъ и велѣла ложиться спать.

Когда я уже почти засыпала, кто-то прыгнулъ ко мнѣ на кровать.

— Воронская! Неужели вы способны вѣрить въ эту чушь и пойдете съ ними?

Я съ трудомъ открыла глаза, потому что меня страшно клонило ко сну.

— Ну, да, конечно!—проговорила я заплетающимся языкомъ.—И что тутъ удивительнаго?—добавила чуть слышно.

— Удивительнаго нѣтъ ничего. Удивительно только то, что я идеализировала васъ и считала безусловно выше всѣхъ, а вы такая же наивная дурочка, какъ онѣ,—ясно отчеканивая каждое слово, проговорилъ голосъ Симы, отчетливо прозвенѣвъ въ тишинѣ дортуара.

— Ну и отлично! Оставьте меня въ покоѣ!—произнесла я сердито.—Дайте же мнѣ спать, наконецъ, несносная гувернантка!

9 ноября.

Весь день мы провели какъ бѣшеныя. Мы хохотали и дурачились безъ всякаго удержу, безъ всякой видимой причины—Зина Бухарина, «Татьяна» Макарова и скептическая Карская, не отказавшаяся однако спуститься въ «подземелье», Додошка, черкешенка и другія. И чѣмъ ближе подходилъ назначенный часъ, тѣмъ несноснѣе мы становились. Даже черкешенка разошлась противъ своего обыкновенія. Ея глаза безпокойно поблескивали, блѣдныя щеки разгорѣлись.

— А вы трусите, кажется? Признавайтесь, Елена!— пошутила я.

— Съ вами я не боюсь ничего! Съ вами я куда угодно пойду!—горячо вырвалось изъ груди черкешенки.

— Даже, несмотря на то, что я розы ваши подъ злую руку выкинула?

— Ахъ, Лида, не напоминайте мнѣ про эти злосчастныя розы! Это была глупость. Но чѣмъ же я могла доказать вамъ мою любовь иначе? А полюбила я васъ давно, съ той самой минуты, помните, какъ вы, такая гордая, стояли среди дѣвочекъ, а онѣ кричали на васъ за то, что вы шпіоните. Вотъ тогда-то вы и взяли мое сердце. И потомъ, потомъ, правда, что у васъ есть мачиха, Лида?—неожиданно спросила она.

— Да...

— А у меня есть отчимъ... Я очень несчастна... А глупыя дѣвочки считаютъ меня «кисляйкой»... Онѣ

не поймутъ меня... А вы понимаете, я это чувствую... Мой отчимъ очень жестоко обращается со мною... онъ...

— Воронская! Гордская! Идти пора, а вы тутъ въ сантименты пустились,—вскричала вдругъ, неожиданно, какъ изъ-подъ земли выросшая передъ нами, Бухарина.—Ключъ отъ платковъ я выманила у дежурной. Теперь остается каждой по-очереди взять платокъ изъ шкапа и незамѣтно прокрасться въ столовую, а оттуда черезъ буфетную и сѣни на галлерею. Только не зѣвать!

И, быстро проговоривъ это, Зина первая ринулась къ шкапу, достала оттуда зеленую шаль и скрылась съ нею изъ класса. Черезъ двѣ-три минуты тотъ же маневръ былъ произведенъ Додошкой и другими. Когда я брала мой платокъ, меня остановилъ знакомый голосъ:

— Ну, ужъ коли погибать, такъ погибать вмѣстѣ. Стойте, Воронская, и я пойду съ вами.

И Сима Эльская присоединилась къ намъ.

— Все это ужасно глупо, что вы задумали!—произнесла она съ какой-то необычайной суровостью въ голосѣ,—глупость, достойная Додошки, но не васъ. Но что дѣлать, отстать отъ васъ неловко.

Черезъ полчаса мы присоединились къ остальнымъ. Дѣвочки, въ однихъ платьицахъ, съ однѣми легкими зелеными шалями на плечахъ, стояли на галлереѣ и, шелкая зубами, переминались съ ноги на ногу.

— Ужасно холодно,—жаловалась Додошка.

— Если холодно, то сидѣла бы дома,—и Бухарина сердито блеснула на нее глазами. — Ну, Лида, веди насъ!—бросила она въ мою сторону.

— Госпожа Воронская, въ авангардъ!

— Дорогу королевѣ! — закричала было Сима, но ее тотчасъ-же остановили другія:

— Во-первыхъ, того и гляди Фроська услышитъ, если случайно въ буфетную зайдетъ, а во-вторыхъ, къ подземелью замка надо питать нѣкоторое уваженіе...

— Эхъ, ужъ это мнѣ подземелье! — заговорила Волька, но ее тотчасъ-же опять уняли.

— Шт... шт... Какъ можно! И не стыдно тебѣ!

Мы спустились по тремъ скользкимъ ступенькамъ и очутились въ огромной сводчатой комнатѣ, откуда шли еще другія ступени куда-то внизъ, въ темноту.

Додошка глянула впередъ и, какъ говорится, обомлѣла.

— Хоть убейте меня, не пойду. Ни за что не пойду! Избави Богъ!

— Додошка! Ты все дѣло погубишь!.. Воронская, иди ты первая... Сима, ты тоже... Вы двѣ отчаянныя, вѣдь ничего не боитесь... Бухарина, ты за ними...

И Катя Макарова, у которой голосъ довольно таки недвусмысленно дрожалъ, толкаясь между сразу оробѣвшими и притихшими дѣвочками, дергая за руку похолодѣвшими отъ волненія пальцами то ту, то другую, шагнула впередъ.

— Ну, mesdam'очки, такъ мы очень далеко не уйдемъ. Или домой, или впередъ. Я предлагаю затянуть маршъ Буланже для храбрости,—и Сима, стараясь казаться равнодушной къ далеко не соотвѣтствующей ей обстановкѣ, вышла впередъ.

Я быстро и стремительно опередила ее и первая вбѣжала въ темное, узкое, на подобіе коридора, пространство, гдѣ царствовали полумракъ, сырость и какой то специфическій, затхлый, свойственный всѣмъ подваламъ запахъ.

— Ну, не подземелье развѣ?—шопотомъ воскликнула наша «Татьяна».

Мы шли теперь, тѣсно сбившись въ кучку, затаивъ дыханіе, испуганныя, взволнованныя непривычной намъ обстановкой. Даже Волька притихла и обычная ея веселость покинула ее. Про Додошку и говорить нечего. Она просто повисла на рукѣ Бухариной, и та должна была тащить ее «на буксирѣ».

Чѣмъ дальше мы шли, тѣмъ все шире и шире становилось «подземелье», или, по-просту говоря, подвалъ. Вскорѣ передъ глазами нашими предстала круглая сводчатая комната, сквозь узенькія оконца которой, вдѣланныя въ стѣнѣ, слабо пробивались вечернія сумерки. Въ ту же минуту, какъ только мы вошли, что-то зарычало, закряхтѣло и заворчало въ углу комнаты, и при слабомъ свѣтѣ умирающаго дня мы увидѣли высокую, страшную фигуру человѣка съ огромной чер-

ной бородой, грозно поднявшуюся намъ навстрѣчу. Мнѣ особенно бросились въ глаза его всклокоченные волосы и кровью налитые, какъ мнѣ показалось, глаза.

— Ахъ! Ахъ!—раздался за мною въ ту же минуту пронзительный голосъ, и Додошка бросилась, сломя голову, назадъ по узкому коридору. За нею кинулись всѣ остальныя. Я неслась какъ вихрь, впереди всѣхъ, шелестя тяжелымъ камлотомъ моего форменнаго платья. Мнѣ казалось, что черный, страшный человѣкъ гонится за нами слѣдомъ, что вотъ-вотъ сейчасъ его рука тяжело опустится на мое плечо...

— Ахъ! — облегченнымъ вздохомъ вырвалось изъ груди всѣхъ шестерыхъ дѣвочекъ, когда мы снова, послѣ минутной бѣшеной скачки, очутились въ галлереѣ, прилегающей къ сѣнямъ.

— Слава Богу! Унесли ноги! — осѣняя себя широкимъ крестомъ, произнесла Бухарина.

— Это былъ не кто иной, какъ онъ, — произнесла Додошка, едва сдерживаясь отъ истерическихъ рыданій.

— Кто онъ?—вскрикнула тоже недалекая къ истерикѣ черкешенка, до боли впиваясь мнѣ въ руку своей маленькой, горячей рукой.

— Онъ, конечно, призракъ того злодѣя, который...— и вдругъ «Пушкинская Татьяна» внезапно смолкла, на полусловѣ обрывая свою рѣчь и, широко раскрытыми отъ ужаса глазами, впилась въ дверь, ведущую въ сѣни.

Мы дружно вскрикнули всѣ разомъ.

На-порогѣ сѣней стояла Ефросьева.

Первую минуту всѣмъ намъ, какъ по командѣ, пришло въ голову броситься назадъ, прямо въ садъ, обѣжать его кругомъ и явиться въ классъ черезъ заднія двери. Но было уже поздно.

— Daourskaia, Boucharine, Eletzkaia, Woronskaia et vous toutes autres, suivez moi! *)—и, говоря это какимъ-то зловѣщимъ голосомъ, упавшимъ до шопота, торжествующая «синявка» медленно повернулась и, не переставая теребить часовую цѣпочку у себя на груди, направилась черезъ буфетную и столовую прямо въ нижній коридоръ.

Мы шли за нею въ гробовомъ молчаніи, не смѣя проронить ни слова. Даже Додошка притихла. Сима значительно поджала губы и обычная насмѣшливая улыбка не морщила ея рта. Мы шли чинно, по парамъ, точно на прогулку, особенно старательно выворачивая ноги, чтобы, согласно строгому институтскому этикету, не шаркать ими.

— Батюшки, да она насъ къ «маманѣ» тащитъ!— прошептала, замирая, Додошка.—Вотъ такъ фунтъ!

Дѣйствительно, Ефросьева, съ видомъ карающей Немезиды, вела насъ по освѣщенному газовыми рож-

---

*) Даурская, Бухарина, Елецкая, Воронская, и вы всѣ остальныя идите за мною.

ками нижнему коридору прямо по направленію квартиры maman.

Начальница, предупрежденная, очевидно, о приходѣ «преступницъ», вышла изъ внутреннихъ апартаментовъ въ своемъ обычномъ голубомъ шелковомъ платьѣ, величественная и грозная, какъ никогда.

Захлебываясь и заикаясь, Ефросьева живо изложила въ чемъ дѣло, разсказавъ, что «эти негодныя», «эти нарушительницы порядка», эти «мальчишки-кадеты» были въ нижнемъ подвалѣ, гдѣ живетъ садовый сторожъ, и Богъ знаетъ, зачѣмъ онѣ ходили туда.

— Такъ это былъ сторожъ? — чуть слышно, разочарованнымъ голосомъ, протянула Додошка, едва инспектриса окончила свою рѣчь.

— Неужели бородатый мужикъ—только сторожъ? А мы то думали!..—протянула ей въ тонъ «Макака».

— Что такое? Что за чушь ты городишь, — строго хмуря свои красивыя брови, произнесла начальница.

Мы не знали, что отвѣтить, что сказать.

Тогда Волька выступила впередъ и, путаясь и сбиваясь, изложила въ чемъ дѣло: думали узнать — находятся ли въ подвалѣ кости чухонскаго барона, или же просто тамъ хранится капуста... и вдругъ не баронъ чухонскій, а бородатый мужикъ и... и...

— Ты... ты.. и ты... — проговорила начальница, едва дослушивая пояснительную рѣчь, указывая на насъ по-очереди своимъ бѣлымъ, какъ сахаръ, паль-

цемъ, — снимите передники и debout à la table *) всю недѣлю... А если повторится что-либо подобное, вы будете наказаны гораздо строже. Сегодня вы уже достаточно наказаны, но въ другой разъ я буду безпощадна. Allez! **).

— Батюшки! У четвертушекъ опять «столпники Божіи»...—шушукались пятыя, поглядывая изъ-за своихъ столовъ туда, гдѣ шесть дѣвочекъ безъ передниковъ стояли каждая за своимъ столомъ.

— Ну, а я «столпничаю» за компанію, — проговорила Сима, — чувствуете вы это, Воронская? Ей-Богу, ужъ если попадать, такъ ужъ попадать вмѣстѣ. А глядите-ка на черкешенку: она совсѣмъ раскисла.

Дѣйствительно, черкешенка была вся красная, какъ кумачъ, и щеки ея такъ и пылали. Она жалобно смотрѣла на насъ глазами на-смерть раненой лани и точно жаловалась на что-то.

— Елена, да ты совсѣмъ больная, — дернула Гордскую за рукавъ ея сосѣдка. Но та только глазами повела и ничего не сказала. Ночью, когда мы спали, ее отвели въ лазаретъ.

10 ноября утромъ.

Вчера вечеромъ, когда мы уже лежали въ постеляхъ, дверь въ дортуаръ неслышно распахнулась и

*) Стоять у стола (во время обѣда)—одно изъ институтскихъ наказаній.

**) Идите.

Маріонилочка въ бѣломъ ночномъ пеньюарѣ вошла къ намъ.

— Дуся, ко мнѣ! Ко мнѣ, дуся! — кричали наперерывъ дѣвочки. — Поцѣлуйте меня... нѣтъ, меня, пожалуйста,—и онѣ протягивали къ ней руки.

Неслышная и легкая, скользкая, какъ видѣнье, она съ тихимъ смѣхомъ освободилась изъ объятій поймавшихъ ее дѣвочекъ и пришла къ моей постели.

— Добрая волшебница, это вы?! — вскричала я, вся затрепетавъ отъ радости при видѣ любимой наставницы.

— Я, маленькая капризница, и пришла пожурить тебя съ разрѣшенія m-lle Генъ. Что ты опять надѣлала! А? Не могу себѣ представить, что бы умная, развитая, интеллигентная дѣвочка вѣрила въ существованіе какихъ-то костей и подземелья въ простомъ институтскомъ подвалѣ, гдѣ живетъ садовый сторожъ, котораго вы такъ огорошили своимъ неожиданнымъ появленіемъ.

— Да я и не вѣрю!—вскричала я.

— Зачѣмъ же было это дѣлать? Неужели такъ пріятно морочить себя и другихъ? Лида! Лида!

— M-lle Вульфъ! Дуся,—проговорила я шопотомъ,— вы понимаете, что значитъ бѣситься съ отчаянія, а? Вы понимаете, что я потеряла «солнышко»? Вы понимаете, что у меня есть мачиха, которую я ненавижу? Есть сестра, которую я презираю, есть братья, которыхъ видѣть не хочу... Я никому не нужная и чужая... И пусть они знаютъ, что и мнѣ никто не нуженъ, и ра-

довать ихъ своими добрыми успѣхами и хорошимъ поведеніемъ я не хочу... Не хочу! Имъ непріятно, что я стала отчаянная, дерзкая, шаловливая, что я почти не учу уроковъ—и пускай! Мнѣ запретили видѣть тетей, а я хочу ихъ видѣть, хочу! Я люблю ихъ, а «ее» (тутъ я вскочила на постели и затопала ногами въ припадкѣ ненависти и жгучей злобы), ее я не хочу видѣть, не хочу, ни за что, ни за что! Я ее ненавижу! Да, ненавижу! Да, да, да!!

И я со всего размаха бросилась въ подушку, захватила ее зубами и крутила, и терзала ни въ чемъ неповинную наволочку, въ то время какъ въ груди моей клокотало рыданіе...

Не знаю, долго-ли я пролежала такъ, изступленная, злая, ожесточенная какъ звѣрекъ, но неожиданно тихое всхлипываніе долетѣло до моего слуха. Я въ недоумѣніи подняла голову. Газъ уже спустили въ рожкѣ, и керосиновый ночникъ освѣщалъ спальню. М-lle Вульфъ сидѣла у меня на постели и тихо плакала. По ея красивому, словно изъ мрамора изваянному лицу катились слезы.

— М-lle дуся! О чемъ? О чемъ?—такъ и встрепенулась я, хватая ея руки и покрывъ ихъ въ одинъ мигъ жаркими поцѣлуями.

— Это ничего... это пройдетъ... я о себѣ плачу... Я... я... вѣдь тоже мачихой буду... Я вѣдь за вдовца выхожу... Лидочка, и у меня падчерица будетъ твоихъ

лѣтъ приблизительно. Что, если дѣвочка будетъ меня также...

Она не докончила: слезы безшумнымъ градомъ съ новой силой полились изъ ея глазъ.

— Вы... вы... вы... не то. Вы другая... вы ангелъ и не любить васъ нельзя!—пылко вырвалось у меня, и я снова осыпала руки Маріонилочки жаркими поцѣлуями.

— А почемъ ты знаешь, что твоя maman не ангелъ также?—внезапно устремивъ на меня свой загорѣвшійся взглядъ спросила она. — Почемъ ты знаешь, что она будто-бы тебя не любитъ, равнодушна къ тебѣ?.. Почемъ?

Почемъ я знаю? Да, почемъ я знаю?..

Въ эту ночь я не могла спать. Сидя въ умывальной, подъ газовымъ рожкомъ, я усиленно долбила физику. Физика мнѣ не давалась. Къ тому же физикантъ былъ золъ на меня за неудачный прошлый отвѣтъ и далъ слово меня вызвать. Но не могла же я учить электричество, грозу и прочія прелести, когда сердце мое трепетало и билось, какъ подстрѣленная птица. Мнѣ казалось такимъ ужасомъ, такой несправедливостью со стороны судьбы сдѣлать добрую красавицу Маріонилочку «мачихой», что я не находила себѣ покоя. А съ другой стороны, образъ сѣроглазой, черноволосой, высокой дѣвушки съ прищуренными близорукими глазами выплывалъ передо мною. Кто знаетъ, можетъ быть, и она плакала такъ же, какъ плакала Маріонилочка наканунѣ своей свадьбы у меня на постели?..

Разумѣется, «грозы» я не выучила и уснула тутъ же на табуретѣ въ умывальной съ отяжелѣвшей головой и пустымъ сердцемъ.

11 ноября, послѣ урока словесности.

Какой тріумфъ! Какое счастье. Сладко сознавать себя знаменитостью!

Какъ это случилось? Ахъ, да!

Начать съ того, что дня три тому назадъ изъ моего тируара исчезла «Фея счастья», стихотвореніе, написанное мною подъ вліяніемъ предстоящей свадьбы Маріонилочки. Я напустилась на Стрекозу, заподозривъ ее въ присвоеніи чужой собственности. Но бѣдная Мила тутъ же рухнула на полъ и клялась всѣми святыми, что не видала моего стихотворенія — «ни однимъ глазкомъ», какъ увѣряла она. И вдругъ все объяснилось. За урокомъ русской словесности, послѣ того какъ всегда элегантный, корректный и изящный Чудицкій пояснилъ намъ о заслугахъ Державина, Волька неожиданно поднялась со своего мѣста и своимъ звонкимъ голосомъ прокричала:

— А у насъ есть поэтесса въ классѣ, Владиміръ Михайловичъ!

Чудицкій поднялъ глаза отъ класснаго журнала, обвелъ ими весь классъ и, отчеканивая по обыкновенію каждое слово и обнажая въ улыбкѣ свои бѣлые зубы, произнесъ:

— Вотъ какъ! Любопытно! Чрезвычайно даже любопытно!

— Хотите, Владиміръ Михайловичъ, я познакомлю васъ съ однимъ изъ ея произведеній? — не унималась Сима.

Ея живое, подвижное личико такъ и дышало задоромъ. Всѣ невольно подняли головы.

Я, усердно долбившая происхожденіе грозы подъ крышкой тируара, чтобы не быть замѣченной учителемъ, тоже насторожила уши. Червячекъ зависти засосалъ мое сердце. Есть какая-то поэтесса въ классѣ... а я то? Значитъ авторъ «Звѣздъ—дѣтей небесъ» отойдетъ на второй планъ. Ужасно! Честолюбіе сразу заговорило тысячами голосовъ въ моей гордой, тщеславной душѣ.

Между тѣмъ Волька звонко откашлялась, сложила руки «коробочкой», какъ и подобаетъ пай-дѣвочкѣ, отвѣчающей урокъ, и начала съ особеннымъ подъемомъ и воодушевленіемъ:

«Бѣлый кречетъ кричитъ въ облакахъ,
Расцвѣтаютъ въ долинахъ цвѣты...
Побѣжали потоки въ горахъ»...

— Ахъ!—я тихо вскрикнула и рванулась съ парты. Это вѣдь мое стихотвореніе! Мое! Мое! Хотя я едва узнала его въ декламаціи Симы—съ такимъ чувствомъ, съ такимъ умѣніемъ читала она. Сима такъ говорила стихи, что ея заслушаться было можно. И Владиміръ Михайловичъ, и дѣвочки, заслушались дивную чтицу. Когда она кончила, Чудицкій произнесъ медленно, серьезно, направляя взоръ на меня:

— Автора называть не надо. Онъ выдалъ себя самъ съ головою этимъ пылающимъ лицомъ и пурпуровыми ушами... Госпожа Воронская, у васъ есть талантъ!

«Есть талантъ»! «Есть талантъ!» — пѣло и кричало во мнѣ все на разные голоса, когда я стояла, вся малиновая отъ смущенія, не зная, куда дѣвать глаза.

— Продолжайте, г-жа Воронская, работать въ томъ же направленіи, не зарывайте въ землю вашего таланта, и изъ васъ выйдетъ прокъ, въ этомъ я увѣренъ!

Господи, слышу ли я во снѣ все это? Чудицкій— этотъ строгій, суровый критикъ, Чудицкій, вездѣ и всюду находившій «недостатки», «неровности», «отсутствіе поэзіи», онъ, слывшій у насъ «тонкимъ критикомъ», знатокомъ литературы, онъ вдругъ похвалилъ мое стихотвореніе!..

«Не насмѣхается ли нашъ «словесникъ» надъ бѣдною поэтессою?»—мелькнуло у меня въ головѣ.

Но серьезное выраженіе лица Чудицкаго, вообще никогда не позволявшаго себѣ никакихъ шутокъ или насмѣшекъ, указывало, что онъ говорилъ совершенно серьезно и убѣжденно...

Когда урокъ кончился, я не знала, куда дѣваться отъ восторженныхъ поцѣлуевъ, объятій, возгласовъ, восклицаній...

— Наша Воронская гордость класса! Нашъ милый поэтикъ! Воронская, ты будешь знаменитость! — слыша-

лось здѣсь и тамъ, и дѣвочки буквально душили меня въ своихъ объятіяхъ.

Боже мой, какъ пріятно чувствовать себя «знаменитой!»

Теперь во всемъ классѣ уже никто не говоритъ мнѣ «вы!» Я не «чужестранка» больше, а «гордость класса»! Ахъ, если есть счастливцы на свѣтѣ, то я сегодня причисляю себя къ нимъ...

Какъ мало, однако, надо, чтобы упасть со своихъ высотъ на землю! Какъ ужасно мало!

Я поэтъ, я гордость и красота класса, я общій восторгъ—и вдругъ!..

Какъ разъ въ ту минуту, когда я, еще гордая и торжествующая, стояла въ кругу моихъ подругъ, принимая отъ нихъ заслуженную, какъ мнѣ казалось, дань восхищенія, быстрою нервною походкою вошелъ въ, классъ физикантъ Роденбергъ.

— Что это? Что за толкучка, mesdames?—спросилъ онъ своимъ непріятнымъ отрывистымъ голосомъ, бросая на насъ свирѣпые взгляды.

— У насъ Воронская стихи сочиняетъ!—ни съ того, ни съ сего рявкнула со своего мѣста Додошка и «окунулась», покраснѣвъ до ушей, въ свой тируаръ.

— M-lle Воронская? А-а?—какъ-то неопредѣленно протянулъ Роденбергъ и тотчасъ сталъ пояснять что-то классу, чего я не могла понять. Я сидѣла какъ на иголкахъ. Я — героиня дня! Я — поэтъ! Я — талантъ!

Подруги восхищаются мною, и весь свѣтъ будетъ восхищаться мною!..

И «она», и «солнышко», да, да, всѣ они, какъ они будутъ горды своей знаменитой дочкой! Ахъ, какъ будутъ горды! Да, да! «Она» будетъ теперь заискивать во мнѣ, ласкать меня, всячески ухаживать за мною. А я отвѣчу на всѣ ея заискиванія и ласки гордо и надменно!

Я даже вытянулась на своемъ мѣстѣ при одномъ воображеніи о томъ, какъ я ей отвѣчу. «Вы не хотѣли меня знать скромной молоденькой дѣвочкой—не знайте же меня и знаменитой русской поэтессой... Я не хочу ни васъ, ни вашего поклоненія. Да!»—И я съ особеннымъ выраженіемъ повторила въ душѣ:—«Да, я не хочу васъ!»

— Госпожа Воронская! Не потрудитесь ли вы объяснить мнѣ, какимъ образомъ происходятъ грозовыя явленія въ природѣ? — послышался отрывистый голосъ физиканта неподалеку отъ меня.

Господи! Да неужели я промечтала пол-урока!

Въ ужасѣ я поднимаюсь со своего мѣста, открываю ротъ и дѣлаю круглые глаза.

— Электричество... электричество... электричество... это... это...—говорю я совершенно заплетающимся языкомъ, вся дрожа отъ охватившаго меня волненія.

— Ну, что такое электричество? — невозмутимымъ голосомъ снова спрашиваетъ Роденбергъ.

Ахъ, что я могу отвѣтить?

Внезапно мнѣ въ голову приходятъ странные вопросы, совершенно не относящіеся къ физикѣ. Что съ «черкешенкой»? Почему она не выписывается изъ лазарета? Почему физиканта прозвали «блохой», а не иначе, и почему Маріонилочка должна стать мачихой? Все приходитъ мнѣ въ голову въ ту минуту, но только не гроза и не электричество.

— Госпожа Воронская! — снова послышался ненавистный голосъ физиканта, — не знаю, насколько вы свѣдущи въ поэзіи, но по физикѣ я вынужденъ поставить вамъ нуль, будущая поэтесса!

И съ отвратительной улыбкой онъ невозмутимо начертилъ «нѣчто» въ журнальной клѣткѣ, какъ разъ противъ моей фамиліи.

Противный!..

Отъ души ненавидѣла я его въ эту минуту, хотя и старалась утѣшить себя тѣмъ, что самъ Пушкинъ былъ, говорятъ, порядочнымъ лѣнтяемъ въ юные годы...

12 ноября.

Ихъ вѣнчали сегодня. Вся церковь была украшена цвѣтами. Старшія пѣли какъ херувимы.

Когда я увидѣла ее, нашу Маріонилочку, медленно поднимавшуюся по лѣстницѣ съ высокимъ, худымъ и темноусымъ артиллеристомъ, она мнѣ показалась ангеломъ,—въ ея бѣломъ длинномъ платьѣ и съ миртовымъ вѣнкомъ. О-бокъ съ нею шла дѣвочка съ огромнымъ букетомъ бѣлыхъ розъ въ рукахъ, высокая, хорошень-

кая, съ лучистымъ взглядомъ. Когда я увидѣла ея кроткое личико (я догадалась, что это будущая падчерица Маріонилочки), я сразу успокоилась. Эта не можетъ обидѣть свою мачиху... Нѣтъ! нѣтъ! Не можетъ! Ни за что!

Зато «трешницы» совсѣмъ съ ума посходили сегодня: всѣ ревѣли, точно на панихидѣ. Точно не вѣнчали, а хоронили Маріонилочку. У моей Петруши даже носъ распухъ отъ плача, а Кленова, та просто выскочила чуть не на середину церкви и, не глядя на нарядную толпу гостей, стала отбивать земные поклоны, повторяя шопотомъ:

— Господи! Даждь ей счастья! Даждь! Даждь! Даждь! По обѣту въ Колпино пойду... По обѣту пѣшкомъ туда и обратно... Господи! Господи! Только сдѣлай ее счастливой!..

Несмотря на всю свою набожность и глубокую религіозность, Кленова любила «торговаться» съ Богомъ, выпрашивая милостей за обѣщаніе сдѣлать то или это...

Какой-то блестящій адъютантъ — шаферъ — стремительно спѣшившій за шлейфомъ невѣсты, наткнулся на не въ мѣру разусердничавшую дѣвочку.

— Mon Dieu,—вскричалъ онъ въ патетическомъ ужасѣ, глядя на кучу чего-то зеленаго и бѣлаго, распростертаго на полу,—вамъ дурно?—и онъ, съ галантностью блестящаго офицера, шаркнувъ ногами и сдѣлавъ настоящее балетное «па», кинулся поднимать Кленову съ

пола. Та только глянула на него злыми, затуманившимися глазами, потомъ разсердилась внезапно:

— Васъ Богъ накажетъ,—глядя въ упоръ на опѣшившаго адъютанта, проговорила она,—непремѣнно накажетъ—вы молитву прервали! Да!

Тотъ въ смущеніи расшаркался передъ нею, недоумѣвая, за что сердится на него эта смѣшная, красная отъ волненія дѣвочка.

— И за то, что въ церкви пляшете, накажетъ тоже! Развѣ это можно?—не унималась между тѣмъ Вѣра.

Не зная, что отвѣтить, адъютантъ пробормоталъ новое извиненіе, потоптался на мѣстѣ и исчезъ.

Въ ту-же минуту maman прислала сказать третьимъ, что если онѣ «не уймутся» со своимъ похороннымъ плачемъ,—она прикажетъ ихъ вывести изъ церкви. Это подѣйствовало. Носовые платки скрылись по мановенію волшебнаго жезла, всхлипыванія и сморканія прекратились...

Какая красивая стояла Маріонилочка подъ вѣнцомъ! Когда нашъ батюшка говорилъ проповѣдь о томъ, какое великое назначеніе ждетъ женщину—жену и мать, у нея было лицо точно у святой. Оно такъ и свѣтилось. Но вотъ обрядъ вѣнчанія кончился, и мы бросились поздравлять молодыхъ. Тутъ уже никакія увѣщанія не помогли. Слезы «трешницъ» лились безъ удержу. Только и было слышно среди всхлипываній: «Дуся... прелесть... не забывайте... помните насъ... любите»...

— Дуся m-lle! Красавица! — вскричала Додошка, протискиваясь къ амвону и покрывая руки Маріониллы Морисовны поцѣлуями и слезами.

— Не mademoiselle, а madame! Вы глупы, Даурская, если не можете усвоить это,—послышался чей-то голосъ.

— Нѣтъ! нѣтъ! она всегда для насъ останется нашей «дусей», mademoisll'ечкой, дусей! — всхлипывая, говорила Петруша.

— Всегда! всегда!—подхватили дѣвочки хоромъ и я вмѣстѣ съ ними.

Маріонилочка только тихо, ласково улыбалась. Потомъ она медленно двинулась изъ церкви, опираясь на руку мужа. Мы за ней. Какъ обезумѣвшія, кинулись мы съ лѣстницы вслѣдъ за молодыми, окруживъ ихъ тѣснымъ кольцомъ. Маленькая падчерица Маріонилочки шла рядомъ со своей мачихой, которая нѣжно обняла ее. Такъ мы спустились до самаго низа—до дверей швейцарской.

— Назадъ, дѣти, назадъ! — суетилась m-lle Генъ, взявшая на себя обязанность присмотрѣть за третьимъ классомъ, такъ какъ m-lle Эллисъ была въ числѣ приглашенныхъ гостей.

Мы еще разъ заглянули въ стеклянныя двери, гдѣ мелькала бѣлая рослая фигура милой красавицы, посылавшей намъ воздушные поцѣлуи, и унылыя побрели въ классъ.

— Я никогда не выйду замужъ!—рѣшительно заявила Додошка съ тупымъ и упрямымъ видомъ.

— Да тебя и не возьмутъ, душка,—подхватила Юля Пантарова не безъ ехидства,—или нѣтъ, возьмутъ—ты понадобишься для домашняго хозяйства, потому что у тебя носъ, какъ электрическая кнопка: динь-динь и звонка заводить не надо, свой есть.

— Если я похожа на электрическую кнопку,— вдругъ неожиданно разозлилась Додошка,—то вы сами на старый самоваръ смахиваете...

— А у тебя руки—грабли, огромныя.

— Mesdam'очки, не грызитесь!—остановила расходившихся дѣвочекъ незамѣтно подошедшая «Пушкинская Татьяна».—А ты почему не хочешь выйти замужъ, Додошка?—полюбопытствовала она.

— Ахъ, mesdam'очки, страшно,— дѣлая круглые глаза, вскричала Додошка.—Подумать только: церковь освѣщена... старшія поютъ... и я вся въ бѣломъ... и тутъ же женихъ... Страшно!

— Додошка! Ты очень наивная, Додошка, если не сказать больше! Говоришь о женихѣ, точно о волкѣ. Онъ тебѣ носа не откуситъ.

— А я-бы хотѣла умереть молодою!—мечтательно проговорила «Татьяна», поднимая къ небу свои блуждающіе глаза,—тоже поютъ... и цвѣты, и подвѣнечное платье... Ахъ, хорошо!

— Ну, поѣхала! — неожиданно подвернувшись, вскричала Сима, — полно вамъ врать-то... Отъ твоихъ словъ покойникомъ пахнетъ, какъ отъ листьевъ на

послѣдней аллеѣ... Бррр! Жить лучше! Ахъ, хорошо жить!.. И еще если бы... — Она внезапно замолкла и по ея жизнерадостному лицу проскользнула печальная улыбка...

Что это значитъ? Я должна узнать...

13 ноября.

Что за ужасъ мы сегодня узнали! У «черкешенки» оспа, натуральная оспа, отъ которой едва ли можетъ поправиться человѣкъ, а если и поправится, то въ большинствѣ случаевъ остается уродомъ съ огромными темными рябинами, испещряющими лицо. Бѣдная «черкешенка!» Бѣдная красавица!

— И гдѣ она могла схватить эту ужасную болѣзнь?—недоумѣвающе спрашивали мы другъ друга.

И вдругъ я, недоумѣвавшая вмѣстѣ съ остальными, тихо вскрикнула и схватилась за сердце.

— Что съ тобой?—такъ и встрепенулась Стрекоза, сидѣвшая рядомъ.

— Ахъ, Милка... она... Елена Гордская, «черкешенка»... ахъ, Господи!.. вѣдь она изъ-за меня больна... Она въ тотъ вечеръ, когда мы въ подвалъ ходили, простудилась... Ей было холодно... Она все время зубами щелкала... Намъ тоже было холодно, но она—южанка—ей хуже всѣхъ... Вѣдь она ради меня туда побѣжала. Сима и она... Сима здорова, а она... Господи! Я покоя себѣ не найду, если она умретъ, «черкешенка»!.. Нѣтъ, нѣтъ, это было-бы ужасно!.. Я должна была ее вер-

нуть... остановить... Ахъ, Стрекоза, ахъ, Мила! Что я сдѣлала!.. Что я сдѣлала!

И въ ужасѣ я закрыла лицо руками.

Образъ милой черноглазой красавицы-дѣвочки съ ея прелестнымъ, трогательнымъ личикомъ, съ ея любящимъ взоромъ, слѣдящимъ за мною всюду, гдѣ бы я ни находилась, какъ живой предсталъ передо мною.

— Я должна ее видѣть во что бы то ни стало!— вскричала я, вскакивая со своего мѣста и устремляясь къ двери. — Я должна убѣдиться, насколько серьезно она больна... Я должна просить у нея прощенія...

— Лидка! Сумасшедшая! Ты ошалѣла, что ли? Вѣдь Елену въ отдѣльный лазаретъ положили. Она «заразная». Ее отъ всѣхъ отдѣлили... Ты развѣ не знаешь, что «оспа»—самая прилипчивая и страшная болѣзнь!.. Не смѣй ходить... Да тебя и не пустятъ!

— Сима!.. Волька!.. Эльская!.. Да уйми же ты свою подругу... Она съ ума сошла! Воронская бѣжитъ въ «заразную» къ «черкешенкѣ»... у «черкешенки» — «оспа»! Держите ее, mesdam'очки, держите ее!—волновалась Мила, видя, что я все-таки рвусь къ двери.

Чья-то коренастая, приземистая фигурка выросла у меня передъ глазами. Смутно я догадалась, что это Сима.

— Ты не пойдешь, Воронская, ты не пойдешь!— кричала она, разставляя свои полныя, маленькія руки, чтобы заслонить мнѣ дорогу къ дверямъ, и впервые въ волненіи переходя на «ты».

Въ одну секунду я отстранила ее.

— Пусти! — вскричала я, — пусти меня, пусти! Я должна, должна идти къ ней!.. Гордская горячо, рабски была привязана ко мнѣ... Вы всѣ смѣялись надъ нею, считая ея чувство ко мнѣ глупымъ, институтскимъ обожаньемъ... Вы думали тогда, что это то же самое, какъ Додошка обожаетъ «блоху», Малявка—«бандита», Бухарина—Чудицкаго! А между тѣмъ это было другое чувство. Ея одинокая душа искала привязанности и остановилась на мнѣ. А я вышвырнула ея розы, я осмѣлилась смѣяться надъ нею! И, въ концѣ-концовъ, я еще простудила ее... Господи! Не пойди я тогда съ вами въ «подвалъ», — черкешенка не увязалась-бы за мною, она была бы здорова теперь! Я могла вернуть ее, отослать прочь, хрупкую, нѣжную, какъ цвѣточекъ, южаночку, и я этого не сдѣлала... Пустите меня! Я должна знать что съ нею! Должна! Должна!

И прежде, чѣмъ кто-либо могъ удержать меня, я выскочила изъ двери и понеслась по коридору, сломя голову, потомъ повернула на лѣстницу, потомъ очутилась въ нижнемъ коридорѣ, день и ночь освѣщаемомъ газовыми рожками, и черезъ минуту стояла уже въ крошечной перевязочной, гдѣ пахло всевозможными лѣкарствами и какимъ-то своеобразнымъ больничнымъ запахомъ. Тамъ не было ни души.

Я быстро проскользнула въ лазаретную столовую, оттуда—въ коридоръ и, незамѣченная никѣмъ, очути-

лась передъ дверью маленькой комнатки, предназначенной для заразныхъ. На минутку я должна была остановиться и отдышаться немного. Потомъ, придерживая рукою мое бьющееся сердце, я быстро распахнула дверь и вошла.

Въ комнатѣ было темно, какъ ночью. Рѣзкій запахъ лѣкарствъ носился въ воздухѣ. Кто-то глухо стоналъ въ углу.

Когда глаза мои нѣсколько привыкли къ темнотѣ, я двинулась наудачу въ тотъ уголъ, изъ котораго слышался стонъ. Съ вытянутыми руками, чтобы не наткнуться на что-либо въ темнотѣ, я шла ощупью, едва передвигая ноги. Вдругъ рука моя нащупала ночной столикъ, склянки и коробку спичекъ на немъ. Въ одну минуту трясущимися пальцами я схватила коробку, вынула спичку, чиркнула ее и высоко подняла надъ головою.

И въ ту же минуту дикій вопль вырвался изъ моей груди:

— Елена! Вы ли это, милая!

Въ первый моментъ я усомнилась, что то, что я увидѣла передъ собой, было Еленой, красавицей-Еленой, прелестнѣйшей изъ дѣвочекъ нашего института. На бѣлой наволочкѣ подушки я увидѣла одну сплошную, кровяного цвѣта маску, покрытую багровыми нарывами, откуда чуть чернѣли оплывшія язвы, и ужасные воспаленные глаза. Изъ широко раскрытыхъ запекшихся губъ рвались стоны...

— Елена, милая, дорогая!.. Прости меня!.. прости!..

— Елена! Милая! — прорыдала я, бросая спичку и въ темнотѣ кидаясь на грудь горячей, какъ огонь, дѣвочки.

Въ одну минуту губы мои отыскали ея запекшіяся губы и прильнули къ нимъ. Въ какомъ-то дикомъ изступленіи я цѣловала ея, покрытое багровыми пятнами, лицо, приговаривая:

— Елена, милая, дорогая!.. Прости меня... прости!..

Елена ничего не отвѣчала. Она лежала съ раскрытыми глазами, точно не понимая, что творится вокругъ нея...

Не знаю, что сдѣлалось со мною въ эту минуту. Всѣми силами моей души, всѣми моими помыслами я жаждала одного: жизни этому несчастному, изуродованному болѣзнью существу. Жизни и только жизни!..

Свѣтъ, внесенный въ комнату какой-то незнакомой женщиной въ сѣромъ платьѣ и бѣломъ передникѣ, съ нашитымъ на груди краснымъ крестомъ, вывелъ меня изъ моего безумнаго возбужденія.

Сестра милосердія (женщина въ сѣромъ платьѣ была ею) тихо вскрикнула отъ неожиданности и выронила свѣчку.

Снова темнота воцарилась въ комнатѣ. Я воспользовалась ею и проскользнула въ дверь...

13 ноября.

По поводу посѣщенія «кѣмъ-то» заразнаго отдѣленія лазарета произошелъ цѣлый переполохъ. Были до-

просы, разспросы—цѣлое слѣдствіе! Но ничего не узнали, никто меня не выдалъ... Въ концѣ-концовъ и начальница, и сама сестра милосердія, вошедшая ночью въ палату, рѣшили, что посторонняя дѣвочка въ лазаретѣ только привидѣлась сестрѣ. Но бѣдной дежурной сидѣлкѣ была страшная головомойка — и за то, что отлучилась, и за то, что въ палатѣ погасъ свѣтъ...

Вечеромъ лазаретная Паша приходила къ намъ и сказала, что черкешенкѣ лучше. Господи! Ты милостивъ ко мнѣ! Ты не хотѣлъ лишать мою бѣдную душу ея послѣдняго покоя! Благодарю тебя, Господи! Мое сердце чувствуетъ, что она поправится, будетъ здорова.

Я была точно бѣшеная весь этотъ день. Вечеромъ мы съ Волькой задали представленіе по этому случаю. Я нарядилась Донъ-Кихотомъ, сдѣлавъ себѣ костюмъ изъ оберточной бумаги; Сима изображала Санхо-Панчо. На голову я надѣла большой жестяной тазъ, въ которомъ дортуарныя дѣвушки стираютъ наши носовые платки, и прикрѣпила надъ верхнею губой усы изъ ваты. Мой Санхо-Панчо почему-то вымазалъ себѣ углемъ изъ печки всю физіономію и больше походилъ на чорта, нежели на Санхо-Панчо. Представленіе кончилось печально. Одна изъ седьмушекъ, выскочившая въ коридоръ, при видѣ Санхо-Панчо чуть не упала въ обморокъ отъ страха и закричала на весь коридоръ такъ, что изо всѣхъ угловъ, какъ чортики изъ волшебной шкатулки, повыскакали классныя дамы. Надо ли

добавлять, что было потомъ, какой скандалъ поднялся на весь институтъ!

13 ноября вечеромъ.

Вотъ уже одинъ только день остался до бала. Каждая изъ насъ имѣетъ право пригласить кавалера. Кого бы мнѣ пригласить? У всѣхъ есть — братъ, родственникъ, другъ дѣтства... У меня—никого нѣтъ! Коля Черскій? Но я даже не знаю, гдѣ онъ. Вѣдь не дойдетъ же мое письмо, если я адресую его просто: «Россія. Моему другу дѣтства—Колѣ Черскому». Можетъ быть Вову Весмандъ?.. Но этотъ и такъ будетъ. Онъ приглашенъ, навѣрное. Его фамилія значится въ спискахъ у инспектора въ числѣ прочихъ пажей, которыхъ привезутъ намъ «гуртомъ» изъ корпуса. Такъ кого бы еще, кого бы?.. И вдругъ все лицо мое залило румянцемъ. Большого Джона! Я приглашу Большого Джона! Во что бы то ни стало приглашу, благо знаю и его адресъ: «Шлиссельбургъ, ситцевая фабрика, сыну директора, г-ну Джону Вилькангъ». Отлично! И, не теряя ни минуты, я схватила бумагу и написала слѣдующее:

«Милый Большой Джонъ! Четыре года вы не видали маленькую русалочку, которая любитъ васъ, какъ брата, и, можетъ быть, совсѣмъ забыли ее. Но я васъ отлично помню и очень прошу пріѣхать на нашъ институтскій балъ 14-го ноября. Билетъ прилагаю. Вы понимаете, почему я васъ приглашаю. У каждой дѣвочки есть кто-нибудь — братъ, кузенъ, другъ дѣтства, а у меня

никого не будетъ на балу. Это очень обидно, Большой Джонъ! Очень обидно! Пріѣзжайте же! Васъ ждетъ

маленькая русалочка».

— Кому это ты пишешь?—спросила Волька, подходя ко мнѣ (съ того дня, какъ она хотѣла помѣшать мнѣ бѣжать въ «заразную» къ Еленѣ, мы говоримъ «ты» другъ другу). — Ба! Молодому человѣку приглашеніе! Это ново! Надѣюсь, ты его не обожаешь? Или, можетъ быть? Вѣрно, какой-нибудь франтъ съ моноклемъ, похожій на парикмахерскую куклу...

— И совсѣмъ не такъ!—чуть ли не впервые разсердилась я на мою подругу.—Большой Джонъ — прелесть! Это совсѣмъ, совсѣмъ особенный Джонъ! Ты увидишь! Къ тому же онъ похожъ на тебя. Право, похожъ!

— Mesdam'очки! Радость! — прервала нашъ разговоръ, ураганомъ влетая въ классъ, Додошка.—Новость, mesdam'очки! Намъ на утро ложи прислали изъ министерства въ «Александринку». Не только «первыя», а и всѣ мы, начиная съ четвертыхъ, идемъ. Пятерокъ не берутъ!—заключила она, торжествуя.

— Въ театръ? Мы? Додошка, да ты не врешь ли ради пятницы? Говори толкомъ! Побожись, душка!

— Ахъ, mesdam'очки! Ей-Богу же идемъ! Сейчасъ «солдатка» придетъ и всѣмъ объявитъ! Идетъ «Горе отъ ума» съ Дольскимъ.

— Бѣдная черкешенка! Она Дольскаго обожаетъ и не увидитъ!—замѣтила я.

— Не увидитъ — и подѣломъ! — вскрикнула Стрекоза,—зачѣмъ разбрасываться? Раньше Дольскаго обожала, когда онъ въ Тифлисѣ у нихъ съ труппой гастролировалъ, а потомъ измѣнила ему для Воронской! Удиви-тель-но!

— Да перестаньте-же! Ахъ, Господи! Вотъ счастье то, что мы въ театръ идемъ! — и Малявка съ такимъ рвеніемъ прыгнула на тируарѣ, что доски хрустнули подъ ея ногами.

— Дольскій—Чацкій, это чудо, что такое! — вскричала Бухарина, сверкая своими черными глазами. — Я «Горе отъ ума» въ прошломъ году видѣла и вѣрите ли, mesdam'очки, чуть изъ ложи не выпрыгнула отъ восторга!

— И я бы тоже выпрыгнула!—съ блаженнымъ видомъ вторила ей Додошка.

— Вотъ нашла чѣмъ удивить!.. Ты и съ лѣстницы чуть не прыгнула, когда тебѣ два фунта конфектъ прислали неожиданно,—поддразнила ее Малявка.

— Ну, ужъ это вы, Пантарова, врете. Стану я изъ-за конфектъ! Вотъ еще! Это вы разъ четыре порціи бисквитъ съѣли въ воскресенье! — обозлилась Додошка.

— Это ложь! Я съѣла? Я? Даурская, перекрестись, что я съѣла. Ага, не можешь? — значитъ, солгала! — пищала Малявка, выходя изъ себя.

— Да не ссорьтесь вы, ради Бога! — зашикали на нихъ со всѣхъ сторонъ дѣвочки. — Есть о чемъ толковать! Давайте лучше говорить про завтра... Ахъ! Вотъ

счастье-то привалило, mesdam'очки. Театръ! Подумать только! Восторгъ!

— Знаете что, mesdames!—послышался голосъ «Пушкинской Татьяны», — давайте прочтемъ лучше «Горе отъ ума», чѣмъ препираться изъ-за пустяковъ! Вѣдь не всѣ читали. Лучше прочесть сначала, чтобы знать въ чемъ дѣло.

— Ахъ, прекрасно!—со всѣхъ сторонъ послышались молодые, возбужденные голоса, — отличная мысль, прочтемъ! Волька, ты лучше всѣхъ изъ класса декламируешь. Читай ты! У кого есть Грибоѣдовъ? Давайте сюда Грибоѣдова! Да скорѣе...

— Грибоѣдова нѣтъ ни у кого. Надо у Тимаева спросить въ библіотекѣ. Татьяна, бѣги къ нему, сдѣлай «сахарные» глаза, и онъ тебѣ дастъ.

— Mesdam'очки, смотрите-ка, «четверки» въ парфетки записались. Тишина-то у нихъ какая!—говорили спустя нѣсколько минутъ удивленныя пятыя, то и дѣло прикладывая то глаза, то уши къ замочной скважинѣ «пограничной» съ нами ихъ двери.

И правда, записались. Около сорока разгорѣвшихся дѣтскихъ головокъ жадно ловили каждое слово, лившееся изъ устъ Симы, читавшей намъ съ каѳедры безсмертное Грибоѣдовское созданіе. И около сорока дѣтскихъ сердецъ били тревогу, страстно ожидая, чтобы скорѣе миновала эта скучная ночь и наступило завтра, когда можно было во-очію увидѣть то, что написано

въ этой маленькой книжкѣ, ставшей разомъ милой и близкой каждой изъ нихъ.

14 ноября.

Сегодня у насъ уже съ утра праздникъ. Утромъ намъ дали кофе съ сдобными розанчиками, вмѣсто обычной кружки чаю, отзывающаго баней, мочалой и чѣмъ-то еще. Многія поднялись съ головною болью: онѣ такъ туго заплели въ папильотки волосы на ночь, что спать не было никакой возможности. Многія перетянулись въ рюмочку. Додошка еле дышала, ничего не ѣла и поминутно прикладывала платокъ къ губамъ.

— Даурская, иди «распустись», а то ты не высидишь въ театрѣ. Да заодно и размочи эти лохмы на головѣ. Maman не разрѣшитъ никому завиваться,—неожиданно огорошилъ бѣдную Додошку неумолимый голосъ «солдатки».

Сама «солдатка» замѣтно принарядилась: надѣла шумящее шелковое голубое платье и приколола бархатъ у ворота. Два пятна яркаго чахоточнаго румянца играли на ея пожелтѣвшихъ щекахъ.

— Въ будущемъ году васъ повезетъ уже другая дама въ театръ, — какъ-то странно улыбаясь, проговорила она.

— Ну, вотъ и панихида! Все удовольствіе отравлено! — протянула шопотомъ Катя Пантарова, надувая губы.

— А мнѣ жаль «солдатку»! Она хоть строгая, а

справедливая,—никогда не заоретъ даромъ, какъ другія синявки,—проговорила Бухарина.

— Ну, и цѣлуйся съ нею... А по-моему всѣ онѣ на одинъ покрой, — раздраженно крикнула Малявка и вдругъ, выглянувъ въ окно, тихо ахнула.

— Mesdam'очки, ужъ кареты пріѣхали! Одѣвайтесь скорѣе, одѣвайтесь!

Черезъ полчаса мы уже ѣхали, оживленныя, счастливыя, порозовѣвшія, не отрываясь отъ оконъ, по шести человѣкъ въ каждой каретѣ.

Додошка и Стрекоза чуть не разодрались изъ-за права сидѣть у окна.

Все удивляло и радовало насъ по дорогѣ Привыкшія къ замкнутой жизни въ четырехъ стѣнахъ, мы наивно восторгались самыми обыкновенными вещами, которыя удавалось видѣть только во дни случайныхъ отпусковъ и вакацій.

— Mesdam'очки, смотрите, какая собачка-душка. Ахъ, ахъ!

— А вонъ тигръ въ окнѣ! Господи, да это живой! Такъ и есть! Тутъ циркъ, кажется.

— Женька, не юродствуй, пожалуйста! Это мѣховой магазинъ, а не циркъ. Ты очень наивная, Малявка.

— Mesdam'очки, глядите, глядите! Какая красавица! Лучше «черкешенки», право!

Но дрожки съ проѣзжающей красавицей поровня-

лись съ нами, и мы увидѣли напудренное, старообразное лицо и красный носъ красавицы.

— Фу, гадость какая! А я-то думала...

Наконецъ, мы подъѣхали къ театру. Съ какимъ трепетомъ поднимались дѣвочки по устланной коврами лѣстницѣ, съ какимъ волненіемъ входили въ ложи, разсаживались по мѣстамъ!

Весь партеръ былъ уже занятъ учащеюся молодежью. Морскіе, юнкерскіе и студенческіе мундиры такъ и пестрѣли, а рядомъ, здѣсь и тамъ, мелькали залитые золотомъ мундиры сановныхъ попечителей и опекуновъ. У меня даже голова закружилась и зарябило въ глазахъ отъ всей этой пестроты лицъ и амуниціи.

Противъ насъ сидѣли «катеринки», дальше смолянки и николаевскія институтки: зеленыя платья, бѣлыя пелеринки, бѣлые передники—символы надеждъ и невинности, символы юности и чистоты.

Но вотъ занавѣсъ взвился, и я оцѣпенѣла, какъ зачарованная, съ широко раскрытымъ взглядомъ и не сомкнутыми губами, вся блѣдная и трепещущая отъ охватившаго меня волненія. Дивный Грибоѣдовскій стихъ такъ и лился мнѣ въ душу...

Точно туманъ спустился на землю и окуталъ всѣхъ и все въ этой, напитанной душными испареніями, залѣ, гдѣ царила теперь какая-то фееричная полутьма. Я не различала лицъ актеровъ, я даже не видала всеобщаго

божка — знаменитаго Дольскаго. Я слышала и видѣла только одно: безсмертную комедію безсмертнаго творца...

Занавѣсъ опустился съ легкимъ шелестомъ; въ партерѣ задвигали стульями. Чье-то лицо наклонилось ко мнѣ, чей-то голосъ сказалъ: «Надо идти въ фойэ. Всѣ уже тамъ собрались!»

Я, ничего не соображая, какъ автоматъ, повинуюсь этому голосу и прохожу въ фойэ. Снова бѣлыя пелеринки и зеленыя дѣвочки. А у конца длиннаго стола, сбившись въ кучку, мундиры и сюртуки учащейся молодежи.

Сима беретъ что-то со стола, подаетъ мнѣ. Это шоколадъ. Я машинально подношу его ко рту и обжигаю губы. Вдругъ около меня раздается звонкій голосъ:

— Маленькая принцесса! Вотъ гдѣ пришлось встрѣтиться! Не ожидали?

Я быстро вскидываю глазами. Передо мною студентъ, тоненькій, высокій, блѣднолицый. Въ его темныхъ глазахъ сіяетъ радость. Губы улыбаются. Что-то чужое, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, безконечно знакомое вижу я въ этомъ блѣдномъ лицѣ, въ этихъ темныхъ глазахъ и не густомъ хохолкѣ пушистыхъ бѣлокурыхъ волосъ.

— Коля! Коля!—вырывается крикомъ помимо моей воли, и я готова уже броситься ему на шею, но онъ быстро предупреждаетъ мое желаніе и протягиваетъ мнѣ руку.

— Господи! Какъ долго мы не видались!

За это время онъ успѣлъ уже поступить въ университетъ. Его мечта, кажется, теперь сбудется. Онъ во что бы то ни стало хочетъ быть учителемъ. Онъ даетъ уроки. У него ихъ много. Жить можно.

Все это онъ говоритъ быстро, быстро, точно боясь, что не успѣетъ высказать всего. Дяди давно уже нѣтъ. Онъ умеръ, и ему, Колѣ, приходится самому думать о себѣ.

Какое гордое, счастливое лицо было у него, когда онъ говорилъ это! И потомъ разомъ оборвалъ свою рѣчь и спросилъ:

— Ну, а ты... вы... какъ?.. Все по-старому?

— Ахъ, не «вы!» Только не «вы»! — прерываю я его съ горячностью, — вѣдь мы друзья дѣтства, Коля, и я люблю тебя по-прежнему.

И тутъ же я разсказываю ему все: и какъ тяжело мнѣ было дома, и какъ я ненавижу мою мачиху, и что мнѣ запрещено видѣть тетей, «моихъ тетей», и какъ я бѣжала изъ дома, какъ я была на краю смерти, и какъ теперь совсѣмъ одинока, потому что никого не хочу видѣть... Да, никого! И что у меня есть сестра. Понимаетъ-ли онъ это—сестра!?

Эти послѣднія слова я выкрикнула съ азартомъ, не замѣчая, что вокругъ насъ собираются институтки изъ «чужихъ», что онѣ насмѣшливо улыбаются и пожимаютъ плечами при видѣ тоненькой, крикливой, сѣроглазой дѣвочки.

Коля замѣчаетъ это и тихонько глазами останавливаетъ меня. Но я ничего не слышу и не вижу. Мое волненіе слишкомъ велико. Оно захватило меня совсѣмъ. Я даже не замѣчаю, какъ своими кошачьими шагами ко мнѣ подходитъ Ефросьева и вцѣпляется костлявою рукою мнѣ въ плечо.

— Это не разрѣшено, вы отлично знаете, разговаривать съ молодыми людьми, — шипитъ она по-французски.—Allez!

— Это братъ Воронской, m-lle, — заступается за меня Сима.

— Ложь! Je vous deffends de rester ici. Entendez vous, allons! *) — говоритъ она злющимъ голосомъ и тащитъ меня за руку.

— Прощай, Коля, — быстро выдернувъ мою руку изъ цѣпкихъ пальцевъ инспектрисы, говорю я, — не забывай меня—твою маленькую принцессу!

— Allons, je vous dis! **)—выходитъ изъ себя синявка,—будете ли вы меня слушаться, наконецъ!

Тоненькій студентъ киваетъ мнѣ головой и грустно улыбается. Ефросьева втаскиваетъ меня въ аванъ-ложу и кричитъ:

— M-lle Генъ, пожалуйте сюда! Не угодно ли полюбоваться на вашу воспитанницу: шепчется съ моло-

---

*) Я вамъ запрещаю оставаться здѣсь. Слышите, идемъ!

**) Идите же, я вамъ говорю.

дымъ человѣкомъ, невозможно груба, рѣзка, своевольна!.. Воронская, вы должны сказать мнѣ сейчасъ же, кто этотъ молодой человѣкъ: онъ вашъ братъ или нѣтъ? Спрашиваю васъ! — кричитъ она мнѣ чуть ли не въ самое лицо, злая и раздраженная.

Я тупо смотрю передъ собою. Голова у меня кружится и горитъ. Точно невидимые молоточки ударяютъ въ виски. Какъ въ туманѣ мелькаетъ передо мною лицо Генъ. Чахоточныя пятна теперь значительно ярче выдѣляются на ея желтыхъ щекахъ.

— Кто этотъ молодой человѣкъ, братъ или не братъ?—еще разъ слышу я нудный, непріятный голосъ Фроськи.—А впрочемъ, что я спрашиваю, вы все равно солжете,—язвительно прибавляетъ она.

— Эта дѣвочка никогда не лжетъ, — ясно и вѣско прозвучалъ надо мною голосъ «солдатки».

Потомъ, поднявъ мое лицо за подбородокъ кверху, она, обращаясь ко мнѣ, сказала:

— Отвѣть мнѣ, дѣвочка, кто это былъ?

— Мой другъ дѣтства—Коля Черскій. Я не думала скрывать этого, и называю его братомъ, — отвѣчала я вялымъ голосомъ, все также тупо глядя передъ собой.

— Вотъ видите! — проговорила торжествуя моя наставница,—я знаю ихъ хорошо, эти глаза, они не лгутъ!

Ефросьева только плечами передернула и вышла изъ аванъ-ложи. Я хотѣла поблагодарить m-lle Генъ и не могла, хотѣла сказать что-то и тоже не могла. Въ головѣ

шумѣло нестерпимо... Молотки застучали еще назойливѣе и рѣзче въ виски. Я уже не восторгалась игрою на сценѣ, когда занавѣсъ снова взвился... Все какъ-то странно смѣшивалось у меня въ головѣ, которая горѣла и трещала, трещала и горѣла...

Въ тотъ же день вечеромъ, пока «наши» одѣвались, причесывались и мылись передъ баломъ, я лежала и думала, упорно думала о томъ, что я больна. Въ виски стучитъ, голова какъ котелъ, и все тѣло горитъ, точно его натерли суконкой.

Я равнодушно смотрю, какъ Бухарина отпалила себѣ цѣлую прядь волосъ, завиваясь, а Малявка напудрилась по ошибкѣ зубнымъ порошкомъ... Я слышу хохотъ, суетню, крики, но точно сквозь сонъ и ничего не могу разобрать... Ахъ, эти крики! Они назойливо лѣзутъ мнѣ въ голову, они душатъ меня... Да, я больна, разумѣется больна... Но болѣть нельзя. Сегодня балъ... Большой Джонъ будетъ сегодня... Ахъ, Господи! Большой Джонъ! Какъ я хочу его видѣть... И какъ пріятно было видѣть Колю сегодня, такъ неожиданно, точно въ сказкѣ! Хорошо! И Володьку я увижу тоже. Ужасно странно складывается судьба: троихъ друзей — въ одинъ вечеръ! Только бы не заболѣть!.. Только бы не заболѣть!..

Около меня очутилась Сима.

— Надѣюсь, ты не будешь танцовать сегодня,— говоритъ она.

— Вотъ вздоръ! Почему? Напротивъ... Сегодня будетъ Большой Джонъ.

— Но ты больна совсѣмъ. Боже! Твои руки—огонь. А глаза... глаза!.. Да ты совсѣмъ больна, Воронская... M-lle Эллисъ! M-lle Эллисъ!

— Молчи!—вскричала я въ бѣшенствѣ. — Если ты скажешь хоть слово про мою болѣзнь, я возненавижу тебя, слышишь, возненавижу!

Сима хочетъ отвѣтить что-то и не можетъ, такъ какъ мы уже въ залѣ и выступаемъ подъ плавные звуки полонеза, предшествуемыя самой maman въ голубомъ платьѣ съ шифромъ кавалерственной дамы на груди.

У дверей толпятся кавалеры. Блестящіе мундиры гвардейцевъ пестрѣютъ среди скромныхъ мундирчиковъ учащейся молодежи. Джона тамъ нѣтъ. Я это вижу ясно. Я-бы изъ сотни узнала его милое лицо и высокую, какъ колонна, фигуру. Неужели онъ не пріѣхалъ? Я готова заплакать отъ досады. И вдругъ я невольно вскрикиваю:

— Господи! Онъ здѣсь!

Дѣйствительно, надъ всѣми головами рѣзко выдѣляется одна, маленькая, на широкихъ плечахъ. Вотъ онъ выдвинулся изъ толпы. Его черный фракъ рѣзкимъ пятномъ выдѣляется на фонѣ блестящихъ мундировъ.

— Большой Джонъ, сюда!

Звуки вальса льются какою-то дивной, волшебной

мелодіей. Пары кружатся, но я ничего не вижу, кромѣ него—Большого Джона.

— M-lle Lydie! Est-ce possible! Вотъ превращеніе! А я все-таки узналъ. Сію же минуту узналъ. Belle et gracieuse comme une vraie grande mademoiselle *).

Я быстро оглядываюсь.

— Ахъ!

Въ этомъ залитомъ золотымъ шитьемъ мундирѣ камеръ-пажа, съ чисто французскимъ произношеніемъ безъ буквы «р» и надменнымъ выраженіемъ лица трудно узнать Володю—маленькаго пажика изъ Бѣлаго дома.

— Вова, Господи! Какъ ты измѣнился!

Молодой пажъ съ удивленіемъ смотритъ на меня широко раскрытыми глазами, которые точно говорятъ: «Странно, что эта большая дѣвочка называетъ его на «ты».

Но онъ слишкомъ корректенъ, чтобы дать понять это и только медленно наклоняетъ свою красиво причесанную на проборъ голову, отъ которой такъ хорошо пахнетъ чѣмъ-то пряным, и говоритъ картавя:

— Un tour de valse, mademoiselle **)...

— Mademoiselle!.. Какая же я тебѣ mademoiselle, Вова?

---

*) M-lle Lydie! Неужели это возможно! Красивая и изящная, какъ настоящая большая барышня.

**) Туръ вальса, мадмуазель.

И я громко хохочу ему прямо въ лицо.

Онъ шокированъ немного. По губамъ его мелькаетъ чуть замѣтная насмѣшливая улыбка.

Какъ они мало похожи—этотъ нарядный, надушенный пажъ, вытянувшійся въ струнку, одѣтый въ золотой мундиръ,—и тотъ веселый, милый разбойникъ-Вова, мой другъ дѣтства, рыцарь и другъ!

И когда блестящій камеръ-пажъ обвилъ мою талію и понесся со мною по залѣ, мнѣ вдругъ стало такъ грустно и тоскливо съ нимъ.

— Вы танцуете, точно фея!—говоритъ онъ, не наклоняя даже головы въ мою сторону, какъ будто она у него деревянная.

Мы несемся по залѣ. Голова моя трещитъ. Въ глазахъ красные круги.

— Assez! Assez! *)—говорю я, тяжело повиснувъ на рукѣ моего кавалера.

Онъ останавливается разомъ и легко опускаетъ меня въ кресло, собираясь занимать. Глядя на кончики своихъ сапогъ и покручивая крошечные усики, Вова разсказываетъ о томъ, какія великолѣпныя лошади у нихъ на конюшнѣ, и что онъ уже имѣетъ свой выѣздъ, и что шьетъ на него лучшій портной, и что...

Я съ тоскою повожу глазами. Гдѣ Джонъ? Я не вижу его. Неужели же онъ уѣхалъ съ бала, не пови-

*) Довольно! Довольно!

давшись со мною? Ахъ! Слезы готовы брызнуть у меня изъ глазъ при одной мысли объ этомъ. Мы съ Вовой сидимъ въ самомъ отдаленномъ уголкѣ залы, и мнѣ не видно отсюда дверей, у которыхъ я замѣтила Джона. Мимо насъ шмыгаютъ наши «четверки» изъ тѣхъ, кому не хватило кавалеровъ, и глядя на меня шепчутъ:

— Воронская—счастливица, съ большимъ кавалеромъ танцуетъ!

Я быстро оглядываюсь. Джона нѣтъ у дверей. Онъ ушелъ. Господи, ушелъ!

И прежде, чѣмъ кто-либо могъ ожидать этого, я бросаюсь къ проходившей мимо Додошкѣ, хватаю ее за руку и, обращаясь къ Вовѣ со словами: «Вотъ вамъ дама, monsieur Voldemar, а мнѣ некогда», — срываюсь съ мѣста, а затѣмъ, перебѣжавъ залу, бросаюсь къ двери.

Вотъ онъ. Слава Богу, еще не поздно!

— Большой Джонъ!

— Маленькая русалочка!

Минуту мы стоимъ такъ. Онъ—такой большой, высокій, я—такая тоненькая, миніатюрная, и оба съ тихимъ смѣхомъ смотримъ другъ на друга.

Потомъ онъ быстро беретъ меня подъ руку и ведетъ въ маленькую гостиную, устроенную изъ нашего четвертаго класса, гдѣ такъ хорошо и уютно, благодаря мягкой мебели, принесенной изъ библіотеки...

— Ахъ, Джонъ, какъ я рада, что вы пріѣхали,

какъ я рада! — говорю я, не спуская взгляда съ его дорогого лица.

— Давненько же мы не видѣлись, русалочка; ну, разсказывайте, и все разсказывайте, что случилось съ вами за это время. Я знаю только одно, какъ маленькая своенравная дѣвочка была спасена рыбаками...

— Да?.. Вы знаете? — проронила я, вся вспыхнувъ подъ его пристальнымъ взоромъ. — Ну... а потомъ, потомъ...—Тутъ слова у меня полились безъ удержу. Я говорила, захлебываясь, задыхаясь, торопясь передать все, положительно все. Въ какіе-нибудь полчаса Большой Джонъ зналъ, что «черкешенка» по моей винѣ больна оспой, что Сима или Волька — прелесть, что Додошка тоже «ничего», только глупенькая, что Фроська «кляузничаетъ» maman изъ-за каждой глупости, что «солдатка» скоро уѣдетъ въ санаторію, а Маріонилочка уже замужемъ, что...

— Стойте, стойте! Не такъ скоро, русалочка, я ровно ничего не понимаю... Фрося... Додошка... солдатка... Аллахъ ихъ вѣдаетъ, кто это!—и Большой Джонъ расхохотался во весь голосъ. Я за нимъ.

— Вы рады меня видѣть, русалочка?

— Ужасно!

— Почему?

— Да потому, что вы не «французите», какъ Вовка, вотъ этотъ высокій камеръ-пажъ въ бѣлыхъ штанахъ

— Въ штанахъ!..—ужаснулся Джонъ, дѣлая глаза огромными, какъ плошки.

— Ахъ, Джонъ! Правда, такъ не говорится, — соглашаюсь я,—но я такъ рада васъ видѣть! Такъ ужасно рада!

— А если вы рады мнѣ, русалочка, то, должно быть, любите меня немножко?

— Ужасно люблю!—искренно вырвалось у меня.

— А если любите, то должны исполнить мою просьбу. Вы—большая дѣвочка! Вонъ какъ вы выросли за это время,—я почти не узналъ васъ. Такъ вотъ, какъ большая дѣвочка, вы должны, русалочка, помириться съ вашей мамой и полюбить ее, полюбить вашу маленькую сестричку, вашихъ братьевъ и пріѣхать къ намъ въ Шлиссельбургъ. Да, вы должны это сдѣлать, русалочка, непремѣнно должны.

Его глаза остановились на мнѣ съ выраженіемъ молчаливой ласки. Они просили, они молили меня—эти чудесные сѣрые глаза, такіе чистые и свѣтлые, какъ у ребенка. Но сейчасъ эти чудные глаза вдругъ стали мнѣ разомъ ненавистны. Да! именно ненавистны. Мнѣ казалось, въ нихъ мелькнуло коварство. Они лукавили, сѣрые глаза Большого Джона, они лукавили!

— Ага!—вскричала я бѣшено, не сумѣвъ побѣдить своего порыва. — Ага! «Она» подослала васъ ко мнѣ! «Она» хотѣла хитростью, черезъ васъ, подѣйствовать на меня! Но я поняла «ее»!.. Я ненавижу «ее»! Да, я

ненавижу «ее» и васъ заодно съ «нею», потому что вы считаете правой «ее», а не меня!

И я быстро, быстро вскочила со своего мѣста и пошла къ двери.

— Русалочка! Вернитесь! Вы не поняли меня, русалочка! Меня никто не подсылалъ, никто, никто! Я хочу только вашего блага, общаго спокойствія, счастья и тишины. Вернитесь сюда!—кричалъ Большой Джонъ мнѣ вдогонку.

Но вмѣсто отвѣта я прибавила шагу и очутилась за дверью.

Не помня себя, я влетѣла на лѣстницу, въ одну минуту миновала ее и вбѣжала въ дортуаръ. Свѣча находилась въ шкапикѣ у постели. Туда же я прятала и мой милый дневникъ и крошечную дорожную чернильницу съ ручкой. Черезъ минуту свѣча зажжена. Тетрадь дневника раскрыта. Но, Боже мой, какъ трещитъ голова, какъ шумитъ и стучитъ въ мозгахъ! Точно десятокъ водяныхъ мельницъ производитъ въ нихъ свою оглушительную работу... Я больна. Больна жестоко; теперь я въ этомъ уже не сомнѣваюсь, больна... Какъ горитъ мое тѣло... Какъ дрожатъ руки... Какіе красные круги въ глазахъ... Кто-то стоитъ за моей спиной. Я знаю кто это... Сѣрая женщина, я узнаю тебя!.. Постой!.. Постой!.. Спаси меня! Послѣднія силы меня покидаютъ... Мнѣ дурно! дурно!.. И все-таки у меня достаточно силы, чтобы написать:

«Большой Джонъ—вы предатель! Большой Джонъ! Слышите-ли? Я никогда не полюблю «ее»... Никогда не повѣрю въ ея доброту... Никогда не прощу ей того, что она взяла отъ меня мое «солнышко». Я ненавижу ее... нена...»

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Безъ числа.

Какая это была ночь! Какая темнота! Должно быть, много времени прошло съ тѣхъ поръ, какъ я грохнулась у своего ночного шкапика, тамъ—въ дортуарѣ.

И когда бы я не открыла глаза, все та-же ночь и та-же темнота. «Неужели я умерла? — думала я. — Неужели я въ могилѣ? Неужели я никогда не увижу солнца на землѣ?»

— Я хочу солнца! Я хочу солнца! Дайте мнѣ его!— кричала я, какъ изступленная.

— Дитя мое! Ты увидишь его, какъ только поправишься. Теперь ты больна!—услышала я надъ собой тихій, нѣжный, словно воркующій голосъ.

— Кто вы?—спросила я голосъ.

— Я сестра Анна. Я пришла ухаживать за вами.

— Я очень больна? Очень?

Минутное молчаніе воцарилось въ комнатѣ. Потомъ голосъ произнесъ снова подлѣ меня:

— Очень. Но теперь вамъ лучше,—вы пришли въ себя.

— Такъ откройте эти ужасныя черныя окна и сдѣлайте, чтобы былъ свѣтъ въ комнатѣ.

— Этого нельзя. Ваши глаза не выносятъ теперь свѣта и вы должны лежать въ темнотѣ. Такъ велѣлъ докторъ.

— Докторъ? Но я ненавижу его, какъ ненавижу мою мачиху. Она заперла въ тьму мою душу, а онъ, этотъ докторъ, заперъ меня самое въ эту гадкую черную комнату... Зачѣмъ они мучаютъ меня?..

Я готова была зарыдать отъ злости... Я готова была кусать подушки... Но эта боль во всемъ тѣлѣ, эта ужасная боль въ лицѣ мѣшала мнѣ двигаться, жить, ѣсть и дышать... Господи, что за адская болѣзнь! Что за пытка!

. . . . . .

Опять ночь и опять темнота. Мнѣ казалось, что я отрѣшена отъ цѣлаго міра за этою стѣною изъ непроницаемаго мрака.

Вновь приходилъ докторъ. Онъ и сестра Анна двигались, какъ черные духи въ темнотѣ. Меня забинтовали, предварительно смазавъ бинты чѣмъ-то ужаснымъ, потому что послѣ этого я билась и кричала по крайней мѣрѣ цѣлый часъ отъ боли. Все тѣло мое зудило такъ, что я готова была рычать, какъ звѣрь, броситься на полъ и кататься отъ боли. А на глазахъ лежала все та же непроницаемая повязка!

. . . . . .

Когда опять пришелъ докторъ, я притворилась, что сплю. И вотъ изъ разговора, который онъ велъ съ сестрой Анной, я узнала, что у меня оспа, и притомъ въ очень сильномъ и опасномъ видѣ.

Я, оказывается, была на волосъ отъ смерти и могла остаться уродомъ на всю жизнь, если-бъ стала сдирать эти ужасныя повязки съ зловонной, ѣдкой мазью, отъ которой все тѣло болѣло и горѣло...

У меня оспа! Что это—Божіе наказанье или искупленіе? Или просто такъ надо, какъ надо было заболѣть «черкешенкѣ» (которая, слава Богу, теперь поправляется, какъ я узнала это изъ того же разговора доктора и сестры)?..

. . . . . .

Сестрѣ Аннѣ, которая меня въ темнотѣ нечаянно задѣла за особенно больное мѣсто, я, не помня себя отъ боли, укусила руку... Она не бранила, не упрекнула меня, а только извинилась за то, что сдѣлала мнѣ больно. Мнѣ стало стыдно... Ужасно стыдно! И въ то-же время мнѣ было жаль ее...

Какой у нея голосъ!.. Шопотъ у нея нѣжный и ласковый, точно шелестъ вѣтерка. Я люблю, когда она говоритъ — «дитя мое», «роднушка моя», «голубчикъ».

Моя тетя Лиза говорила такъ, мое «солнышко» говорилъ такъ когда-то и больше никто, никто!..

Что думаетъ мое «солнышко» теперь обо мнѣ? Знаетъ ли о моей болѣзни? Или ему все равно до

меня, до маленькой дѣвочки, которая такъ одинока, безпомощна теперь?—размышляла я.

Когда сестра Анна поила меня молокомъ съ ложечки или натирала мазью, я чувствовала ея нѣжную, мягкую руку, не не видѣла ее. Плотная повязка все время лежала на моихъ глазахъ. Мнѣ говорили, что я могу ослѣпнуть, если увижу свѣтъ, и остаться жалкою калѣкою на всю жизнь. Дрожь ужаса пробѣгала тогда по моему тѣлу...

Ночью я постоянно стонала. О, какъ у меня чесалось тѣло! Какой нестерпимый зудъ, какая мука! О, Господи!..

Сестра Анна сидѣла у постели близко-близко, тихо поглаживая мои волосы, и своимъ нѣжнымъ шопотомъ ублажала меня.

И когда я не хотѣла слушать ея нѣжныхъ увѣщаній, она тихо, совсѣмъ тихо заплакала.

— Сестра Анна! — вдругъ вскричала я, заслыша тихое улканье у моего изголовья.—Вы плачете? Да?

— Мнѣ жаль васъ, дитя мое!

— Несмотря на то, что я кусала васъ и бывала груба и зла, какъ звѣрекъ?

— Вы больны, бѣдное дитя! А больнымъ все прощается,—прозвучалъ кротко ея тихій шопотъ...

. . . . . .

Я такъ кричала и капризничала всю ночь, что сестра Анна положительно выбилась изъ силъ. Я то звала ее, то гнала прочь, то снова звала. И когда она

замедлила подойти ко мнѣ на минуту, я дико, пронзительно закричала:

— Вы не идете ко мнѣ потому, что боитесь заразиться... Да, да, боитесь! Вѣдь у меня оспа! У меня оспа! Я знаю это!

Въ слѣдующую же минуту я раскаялась въ своихъ словахъ... Свѣжія, теплыя губы сестры Анны внезапно прильнули къ моимъ губамъ.

— Вотъ же тебѣ, чтобы ты не думала, что я боюсь заразиться, бѣдное дитя!

Слезы хлынули изъ моихъ глазъ...

Я испугалась, безумно испугалась... Вѣдь могла же она заразиться! Вѣдь заразилась же я сама отъ «черкешенки», когда поцѣловала ее!

И мнѣ вдругъ стала невозможной, чудовищной мысль, что она можетъ заразиться, заболѣть, умереть, она, такая добрая, чуткая, славная.

Я стала мысленно просить Бога сохранить ее...

Я полюбила ее, ужасно полюбила за то, что она приласкала меня и пригрѣла... Ахъ, какъ давно я не видѣла ласки, какъ давно!..

. . . . . .

Весь день я проволновалась. Я разсказала ей — сестрѣ Аннѣ—всю мою жизнь, все мое былое счастье и настоящее горе. И про женитьбу «солнышка», и про «нее»—ненавистную, злую, которая одна все несчастье моей жизни...

Сестра Анна слушала молча, не возражая ни единымъ словомъ. Только когда я стала доказывать, что мачиха не любила меня точно такъ же, какъ я ее, моя добрая сидѣлка пыталась защитить ее.

— Быть можетъ она и любила тебя, мое дитя, но не умѣла выказать тебѣ этого или не могла понять твоей странной, сложной, необыкновенной натуры, — сказала она.

— Нѣтъ! Нѣтъ!—вскричала я, — не защищайте ее напрасно, сестра Анна,—она невзлюбила, возненавидѣла меня...

Потомъ, за острымъ взрывомъ печали, на меня нашло мое обычное глухое раздраженіе. Я металась по постели и кричала, что мнѣ незачѣмъ жить, если я не увижу больше моихъ тетей, если не пріобрѣту любовь «солнышка», которую потеряла... если... если...

Тогда съ обычной своей нѣжностью сестра Анна дала мнѣ слово, что какъ только я поправлюсь, она поѣдетъ къ моему отцу въ Шлиссельбургъ и уговоритъ его позволить мнѣ видѣться съ тетями, бывать у нихъ... И что она разскажетъ ему, какъ горячо я люблю его, и тогда «солнышко» проститъ мнѣ все, все...

— Вы скажете ему это? Да, скажете? Не правда ли? — шептала я, хватая ея руки. — Клянитесь мнѣ, сестра Анна! Клянитесь, милая сестра!

— Клянусь! — произнесла она торжественно, — клянусь исполнить все по твоему, дитя мое...

О, какъ я полюбила ее—эту милую, дорогую сестру Анну! Послѣ «солнышка» и тетей она стала для меня самой дорогой, самой близкой... Какъ хотѣлось мнѣ остаться съ ней навсегда...

. . . . . .

Дни проходили за днями, длинные, тоскливые, потому что мнѣ не только велѣно было лежать, не двигаясь, но и запрещено было говорить. Начну что-нибудь спрашивать, а сестра Анна тотчасъ прерываетъ меня:

— Довольно, дѣтка, довольно!.. Тебѣ вредно говорить... Подожди, поправишься, тогда вдоволь наговоришься, обо всемъ разспросишь...

Ея голосъ звучалъ нѣжно, любовно, но съ каждымъ днемъ онъ мнѣ все больше и больше казался знакомымъ. Тщетно старалась я, однако, припомнить, гдѣ я его слышала...

Какъ-то разъ, уже подъ вечеръ, мы опять разговорились съ сестрой Анной о «ней», о моей мачихѣ. Когда я, по обыкновенію, разсказала ей, какъ ненавижу «ее», сестра Анна тихо спросила:

— Дѣточка моя, задавала ли ты себѣ вопросъ—заслужила ли твоя мачиха такую ненависть съ твоей стороны? Задавала ли себѣ вопросъ, за что именно ты такъ невзлюбила ту, которую твой отецъ избралъ по любви въ подруги своей жизни? Задавала ли ты себѣ вопросъ, чѣмъ именно эта, дорогая сердцу твоего отца, женщина вызвала такую ненависть съ твоей стороны

и за что ты причинила столько боли и ей, и твоему отцу, который ее такъ любитъ?..

— «За что?»

Этотъ вопросъ не давалъ мнѣ потомъ покоя цѣлую ночь...

За что я «ее» возненавидѣла? Какъ странно звучали эти два слова «за что» въ устахъ сестры Анны! Вѣдь я же разсказала ей все, все! И она послѣ моего разсказа должна была понять, что я не могла не возненавидѣть ту, которая отняла у меня мое «солнышко», которая стала между мною и имъ, моимъ ненаглядным папою, ту, которая такъ холодно относилась ко мнѣ, нанося ударъ за ударомъ моей слишкомъ впечатлительной дѣтской душѣ...

И все-таки простой вопросъ «за что?» въ устахъ сестрыАнны, сказанный какимъ-то удивительно страннымъ тономъ, вызвалъ во мнѣ цѣлый рядъ размышленій...

Нѣсколько дней подъ-рядъ послѣ этого я, подъ предлогомъ усталости, почти не разговаривала съ Анною, но все это время моя голова сильно работала. Къ вопросу «за что я возненавидѣла мачиху?» присоединился цѣлый рядъ другихъ, которые жгли мнѣ сердце, какъ огонь, палили мозгъ, наполняли болью и горечью все мое существо.

«Господи!—думала я,—за что я наказана тѣмъ, что я не такая, какъ всѣ? За что судьба мучаетъ меня,

сдѣлавъ меня такой дикой, необузданной и не въ мѣру горячей дѣвочкой? Почему я переживаю все острѣе и болѣзненнѣе, нежели другіе? Почему у другихъ не бываетъ такихъ странныхъ мечтаній, какія бываютъ у меня? Почему горячіе, необузданные порывы захватываютъ все мое существо, и мнѣ трудно, трудно бороться съ ними! Почему другіе живутъ, не зная тѣхъ ужасныхъ волненій, какія переживаю я? Почему ихъ жизнь складывается такъ просто, спокойно, а моя такъ полна постоянныхъ тревогъ? Почему я невольно причиняю столько зла окружающимъ? А между тѣмъ, вѣдь у меня не злое сердце... Оно какъ-будто упрекаетъ меня каждый разъ, когда я поступаю не такъ, какъ слѣдуетъ, когда я несправедливо оскорбляю другихъ... И какъ предано это сердце «солнышку», и какъ желало бы ему полнаго счастья, самаго полнаго, какое только возможно на землѣ!..

«Солнышко»! Теперь лишь, подъ вліяніемъ этого вопроса сестры Анны, я почувствовала, что глубоко, глубоко виновата передъ нимъ. За что, въ самомъ дѣлѣ, я причинила ему столько горя, возненавидѣвъ ту, которую выбрало его сердце?

Теперь только, безъ всякихъ объясненій, я поняла, что тяжело было ему жить одному, что его сердце невольно должно было искать другого сердца,—любящаго, преданнаго. Поняла, что ему нуженъ былъ другъ, взрослый другъ, жена, которая бы дѣлила съ нимъ

радости и горе, помогала бы ему переживать удары и уколы судьбы, съ которой-бы онъ могъ совѣтоваться обо всемъ, и что такого друга онъ очевидно нашелъ въ Нэлли. Маленькая, глупенькая Лида вообразила, что ея «солнышко» созданъ только для нея одной, что онъ долженъ жить лишь ею одной, забывъ весь міръ, всего себя! Странная маленькая Лида!..

— «Солнышко», дорогой мой, папа мой ненаглядный, простишь-ли ты меня? — повторяла я почти вслухъ,— простишь-ли ты когда-нибудь твою непокорную дочурку?

. . . . . .

Послѣ безконечно долгихъ дней докторъ сказалъ, наконецъ, что опасность миновала, что дѣло идетъ къ выздоровленію и что еще только три дня остается провести мнѣ въ «могилѣ», а затѣмъ я опять увижу солнце и день!.. При этомъ докторъ прибавилъ, что я не буду уродомъ, что оспа не оставитъ на мнѣ никакихъ слѣдовъ, благодаря исключительно тому, что сестра Анна, такъ терпѣливо вынося мои ужасные крики, съ нѣжной настойчивостью не допускала меня срывать масляные бинты, не позволяла чесать пораженныхъ язвами мѣстъ. Вообще, по словамъ доктора, только благодаря уходу сестры Анны я сохранила жизнь.—«Не будь за вами такого ухода, — произнесъ докторъ, пользуясь отсутствіемъ сестры Анны, которая ушла въ другую комнату, чтобы приготовить мнѣ кокое-то питье,—медицина была бы безсильна помочь вамъ... Родная мать

и та едва ли согласилась бы столько дней и столько безсонныхъ ночей провести у кровати такой капризной больной, ежеминутно рискуя при этомъ своей жизнью»... Меня,—какъ пояснилъ дальше докторъ, — хотѣли было отвезти въ больницу, такъ какъ въ виду очень опаснаго характера, который приняла сразу моя болѣзнь, всѣ боялись ухаживать за мною, и только одна сестра Анна, случайно зашедши въ лазаретъ, вызвалась на это тяжелое дѣло, хотя у нея самой есть маленькія дѣти, которыхъ она оставила, чтобы ухаживать за мной.

«Кто она—праведница или святая?»—думала я.

. . . . . .

Когда Анна вернулась, я протянула къ ней руки и проговорила:

— Сестра Анна! За время моей болѣзни я полюбила васъ точно родную, близкую... Теперь я еще узнала, что вамъ я обязана жизнью, что вы спасли меня отъ смерти... Я отдала бы полжизни за право жить съ вами постоянно...

Растроганная, взволнованная до глубины души, она скользнула съ кресла на полъ (я это чувствовала по легкому шелесту платья) и прикоснулась головой къ моимъ ногамъ...

— Дѣточка моя! Спасибо тебѣ за эти слова, спасибо!.. Я буду просить «солнышко» отдать меня тебѣ... Я думаю, онъ исполнитъ нашу общую просьбу...

И она тихо и осторожно обняла меня, не произнося больше ни слова.

. . . . . .

Наконецъ-то!

Наконецъ—я окончательно стала поправляться.

Мое лицо перестало горѣть, мое тѣло перестало ныть, чесаться, болѣть...

— Сегодня можно будетъ снять повязку съ глазъ,— сказалъ докторъ.

— Сегодня!—воскликнула я, и сердце у меня сильно забилось.—Значитъ сегодня же я увижу сестру Анну, увижу ея лицо, которое я въ моемъ воображеніи не могу себѣ даже представить!..

Когда, вслѣдъ затѣмъ, вернулась Анна и я повторила ей слова доктора, легкій вздохъ вырвался изъ ея груди.

— Да, да! Сегодня!—произнесла она чуть слышно.

— Не сегодня, а сейчасъ! Сейчасъ я хочу снять повязку съ глазъ! — требовательнымъ тономъ проговорила я, чувствуя уже въ себѣ приливъ болѣзненнаго раздраженія.—Сейчасъ! Сію минуту!..

— Хорошо!..—отвѣтила она, — но прежде... прежде дай мнѣ слово, Лида, что ты будешь любить меня всю жизнь.. не разлюбишь меня, когда увидишь мое лицо, какимъ-бы отталкивающимъ не показалось оно тебѣ... Не правда-ли, дѣвочка моя? Ты меня не разлюбишь?

— Не говори этого, Анна!—отвѣчала я.—Какое бы

лицо у тебя не было, я буду боготворить тебя всю жизнь... Ты меня спасла отъ смерти... ты обѣщала вернуть меня тѣмъ, кого я потеряла было навсегда... ты дала мнѣ ласку и утѣшеніе, пока я была какъ въ могилѣ... Ты заботилась обо мнѣ, какъ мать... Ты примирила меня съ моими горестями и невзгодами... Что бы ни было, я люблю тебя... Я люблю тебя, и этой любви мнѣ уже не вырвать изъ сердца. Ты вошла въ него, сестра Анна... моя сестра! Моя...

Она тихо встала, сняла повязку съ моихъ глазъ, направилась къ окну. Я слышала быстрые шаги, которыми она ступала.

Легкій силуэтъ ея выдѣлился на черной занавѣси окна. Минута... другая... и свѣтлыя пятна дневного, зимняго разсвѣта ворвались въ комнату. Я должна была зажмурить глаза, ослѣпленная, съ непривычки, силою этого свѣта... Когда я открыла ихъ, невольный крикъ вырвался изъ моей груди. Передо мною, ласково сіяя нѣжными сѣрыми глазами, казавшимися огромными на исхудаломъ лицѣ, съ мягкой, молящей, трогательной улыбкой сквозь слезы, стояла моя мачиха...

. . . . . .

Я не знаю, сколько длилась эта потрясающая минута, пока сердце мое замирало, билось и снова замирало въ груди.

Острая, мучительная жалость, беззавѣтная любовь наполняли до краевъ изболѣвшееся дѣтское сердце...

Я видѣла ее всю, худенькую, блѣдную, жалкую, дрожащую, и мнѣ казалось, что душа ея тихо плыла ко мнѣ и прирастала къ моей... И я почувствовала сразу, что эта женщина любитъ меня и жалѣетъ всѣмъ своимъ сердцемъ, всей наболѣвшей душой и готова положить всю свою жизнь за меня, причинившую ей столько горя... Какое-то новое, огромное, свѣтлое чувство наполнило все мое существо, и души наши слились, и сердца также....

— Мама!—не помня себя, вскричала я дрожащимъ голосомъ, протягивая къ ней руки.

Въ одну секунду она очутилась у моей постели.

— Дѣвочка моя! — чуднымъ, мягкимъ, точно переродившимся голосомъ вырвалось изъ ея груди, и она широко открыла объятія.

А я, бросившись ей на шею, повторяла безъ конца:

— Мама! Мама! Мама!..

Конецъ.

П. 1963 г.
Акт РК-837
3

СОЧИНЕНІЯ М. Б. ЧИСТЯКОВА.

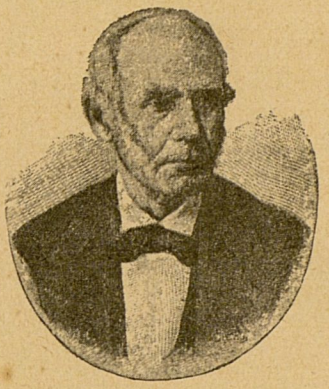
ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА.

ЗИМА

Новыя повѣсти и разсказы, преимущественно изъ русскаго быта. Съ 6 хромолит. картинами по рисунк. Шарлеманя. 3-е изданіе. 8 д. Въ изящн. коленкоров. переплетѣ.
Цѣна 2 р. 50 к.

ЛѢТО

Новыя повѣсти и разсказы, преимущественно изъ русскаго быта. Съ 6 хромолит. картин. по рис. Н. Дмитріева - Оренбургскаго. 3-е изд. 8 д. Въ изящн. коленк. переплетѣ.
Цѣна 2 р 50 к.



ВЕСНА

Новыя повѣсти и разсказы, преимущественно изъ русскаго быта. Съ 6 хромолит. картинами по рисунк. Шарлеманя. 3-е изданіе. 8 д. Въ изящн. коленкоров. переплетѣ.
Цѣна 2 р. 50 к.

ОСЕНЬ

Новыя повѣсти и разсказы, преимущественно изъ русскаго быта. Съ 6 хромолит. картинами по рисунк. Шарлеманя. 3-е изданіе. 8 д. Въ изящн. коленкоров. переплетѣ.
Цѣна 2 р. 50 к.

М. Б. ЧИСТЯКОВЪ.

„ЗИМА", „ВЕСНА", „ЛѢТО" и „ОСЕНЬ" Учен. Ком. М. Н. Пр. одобрены для библ. среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній и народныхъ библіотекъ и читаленъ.

ЧИСТЯКОВЪ безспорно одинъ изъ наиболѣе даровитыхъ русскихъ дѣтскихъ писателей. Его разсказы, полные глубокаго знанія жизни и согрѣтые душевной теплотою, читаются съ интересомъ и взрослыми, и дѣтьми. Названные выше разсказы принадлежатъ къ наиболѣе удачнымъ произведеніямъ Чистякова. *„Новости"*.

МЕЛКІЙ БЫТЪ

Повѣсти съ хромолитографированными картинами. Въ изящн. картонажѣ.
Цѣна 2 рубля.

КОРНИ И ПЛОДЫ

Повѣсти для дѣтей 9—12-лѣтн. возраста. Съ хромолит. картинами. Въ изящномъ картонажѣ.
Цѣна 2 рубля.

БЫЛОЕ И ВОЗМОЖНОЕ

Повѣсти для дѣтей старшаго возраста съ 8 раскрашенными рис. Въ изящномъ картонажѣ.
Цѣна 2 р. 50 к.

РАДОСТЬ И ГОРЕ

Повѣсти, заимствован. съ нѣм. и англ. для дѣтей старшаго возраста. Съ 6 хромолит. картинами. Въ красивомъ переплетѣ.
Цѣна 2 руб. 50 к.

ПРІЯТНОЕ ПРЕПРОВОЖДЕНІЕ ВРЕМЕНИ

или собраніе употребительнѣйшихъ фантовъ. Книжка, заключающая въ себѣ различныя игры, состоящія изъ движеній и требующія вниманія; въ играхъ этихъ можно показать любезность, умъ или, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя свѣдѣнія. Въ заключеніе описаны фанты, употребляемые въ настоящее время и бывшіе въ употребленіи прежде. Въ 16 д. Цѣна 75 коп.

БѢДНЫЕ ИНДУСЫ

Повѣсть для дѣтей. Съ 4 раскрашенными картинами. Въ изящной папкѣ.
Цѣна 1 рубль.

ГЕРОИНЯ

Повѣсть для дѣтей старшаго возраста. Съ хромолитографированными рисунками, въ красивомъ переплетѣ.
Цѣна 1 руб. 50 коп.

ИЗДАНІЯ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ
ПОСТАВЩИКОВЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

Поставщиковъ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ПЕТЕРБУРГЪ, Гостиный Дворъ, 18 (по Невскому проспекту). | МОСКВА, Кузнецкій Мостъ, 12, и » Моховая ул., 22.

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ СЛѢДУЮЩІЯ СОЧИНЕНІЯ

САМУИЛА СМАЙЛЬСА

въ русскомъ переводѣ, подъ редакціей

М. Н. НИКОЛЬСКАГО.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ

Съ біографіей и портретомъ Самуила Смайльса. Около 2500 стран. текста убористымъ, четкимъ шрифтомъ.

СОДЕРЖАНІЕ. Томъ I. Самуилъ Смайльсъ. Критико-біографическій очеркъ М. Н. Никольскаго.—Характеръ. Переводъ Н. Страхова.—Томъ II. Самодѣятельность. Переводъ, съ дополненіями, Н. Кутейникова.—Томъ III. Бережливость. Переводъ В. Тимирязева.—Томъ IV. Долгъ. Переводъ Н. Надеждина.—Томъ V. Жизнь и трудъ (life and labour) или характеристики великихъ людей. Переводъ А. Н. Линдегренъ.—Томъ VI. Жизнь и приключенія натуралиста Томаса Эдварда. Переводъ Е. Г. Тихомандрицкой.

Цѣна 4 р. 50 к., въ переплетахъ 6 рублей.

БЕРЕЖЛИВОСТЬ.

(Thrift).

Переводъ В. Тимирязева. 2-е изданіе.
Стр. 4 нен.+344+1 нен.
Цѣна 75 коп.

ХАРАКТЕРЪ.

Переводъ Н. Страхова. 2-е изданіе.
Стр. 4 нен.+351+1 нен.
Цѣна 75 коп.

«Бережливость» и «Характеръ» Ученымъ К-томъ М. Н. Пр. допущены въ учен. библ. средн. уч. зав. и въ безпл. нар. читальни.

— ЖИЗНЬ И ТРУДЪ —

(Life and labour)

ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛИКИХЪ ЛЮДЕЙ.

Переводъ А. Н. Линдегренъ. Стр. 4 нен.+493+1 нен.
Цѣна 75 коп.

САМО-ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

(Self-help).

Переводъ, съ дополненіями, Н. Кутейникова.
Ц. 75 коп.

ДОЛГЪ

(Duty).

Переводъ Н. Надеждина.
Стр. 4 нен.+396+1 нен.
Ц. 75 коп.

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНІЯ НАТУРАЛИСТА ТОМАСА ЭДВАРДА.

Переводъ Е. Г. Тихомандрицкой. Съ 8 отдѣльн. иллюстраціями.
Ц. 75 коп.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

Поставщиковъ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ПЕТЕРБУРГЪ, Гостиный Дворъ, 18 (по Невскому проспекту). { МОСКВА, Кузнецкій Мостъ, 12, и » Моховая ул., 22.

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ, МЕЖДУ ПРОЧИМЪ, СЛѢДУЮЩІЯ

РОСКОШНЫЯ ИЗДАНІЯ:

РУССКІЙ МУЗЕЙ

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III.

158 снимковъ съ картинъ, воспроизведенныхъ художественною автотипіею Товарищества М. О. Вольфъ.

Съ объяснительнымъ текстомъ

Н. Н. БРЕШКО-БРЕШКОВСКАГО.

Допущено въ ученическія, средняго и старшаго возрастовъ, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній вѣд. М. Н. Пр., а также и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отз. Д-та Нар. Пр. № 19109, 19 іюня 1904 г.).

ВЪ предлагаемомъ изданіи воспроизведено все то, что составляетъ гордость и славу Русскаго Музея и, вмѣстѣ съ тѣмъ, гордость и славу русскаго искусства; текстъ-же даетъ не только объясненіе самыхъ картинъ, но и какъ бы краткую исторію русской живописи.—Внѣшній видъ изданія, его форматъ (folio), обиліе снимковъ, печать и пр. даютъ возможность причислить «Русскій Музей» къ интереснѣйшимъ роскошнымъ изданіямъ.

Цѣна въ изящномъ золототисненомъ коленкоровомъ переплетѣ, съ золотымъ обрѣзомъ и папочнымъ футляромъ—6 рублей.

КАРТИННАЯ ГАЛЛЕРЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО

ЭРМИТАЖА.

Снимки съ картинъ, воспроизведенные по фотографіямъ А. Брауна художественною автотипіею Товарищества М. О. Вольфъ.

Съ объяснительнымъ текстомъ П. В. ДЕЛАРОВА,

украшеннымъ орнаментами и инициалами по образцамъ XVI и XVII вв.

Роскошное изданіе in-folio. Цѣна въ изящномъ золототисненомъ коленкоровомъ переплетѣ, съ золотымъ обрѣзомъ и папочнымъ футляромъ—6 рублей.

ИЗДАНІЯ
ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

Поставщиковъ Двора Его Императорскаго Величества

С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18; Москва, Кузнецкій Мостъ, 12, домъ Джамгаровыхъ и Москва, Моховая ул., 22, домъ Чижова и Курындиной (противъ университета).

С. А. ЧИСТЯКОВЪ.

ИСТОРІЯ ПЕТРА ВЕЛИКАГО

Съ картинами, портретами, автографами, медалями и пр. и пр. на отдѣльныхъ таблицахъ и въ текстѣ. Большой томъ, отпечатанный на слоновой бумагѣ. Цѣна 5 руб., въ богатомъ коленк., тисн. золот. и красн., по рисунку акад. Н. С. Самокиша, переплетѣ, съ папочн. футляромъ—6 руб.

Допущено въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній М. Н. Пр. и въ безплатныя народныя читальни. (Отз. Д-та Нар. Пр. № 17080, 2 іюня 1904 г.).

А. И. КРАСНИЦКІЙ.

ПОДЪ РУССКИМЪ ЗНАМЕНЕМЪ

Повѣсть-хроника эпохи Освободительной войны 1877—1878 гг. Съ картинами и иллюстраціями. Цѣна въ роскошномъ коленкоровомъ переплетѣ, съ папочнымъ футляромъ—3 р. 50 коп.

Допущено въ ученическія, средняго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній М. Н. Пр. и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отз. Д-та Нар. Пр., № 16280, 25 мая 1903 г.).

К. М. СТАНЮКОВИЧЪ.

СЕВАСТОПОЛЬСКІЙ МАЛЬЧИКЪ

Повѣсть изъ временъ Крымской войны. Съ отдѣльн. картин. и иллюстр. художн. Э. К. Соколовскаго, снимками съ соврем. картинъ и портр. героевъ войны. Ц. въ роск. коленк. перепл., съ папочн. футл.—3 р. 50 коп.

Допущено въ ученическія, средн. возр., библіотеки средн. учебн. завед. М. Н. Пр. и въ безпл. народн. библ. и читальни, а также *для выдачи въ награду* ученикамъ означеннаго возраста. (Отз. Д-та Нар. Пр. № 15804, 21 мая 1904 г.).

И. ВОЗДВИЖЕНСКІЙ.

СВЯЩЕННОЕ КОРОНОВАНІЕ

и вѣнчаніе на царство Русскихъ Государей

съ древнѣйшихъ временъ и до нашихъ дней. Съ 197 иллюстраціями. Ц. въ папкѣ 1 рубль.

Одобрено для ученическихъ, средняго и старшаго возрастовъ, библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній М. Н. Пр., для учительскихъ библіотекъ низшихъ училищъ и для безплатныхъ народныхъ библіотекъ и читаленъ. (Отз. Д-та Нар. Пр. № 15748, 23 іюня 1898 г.).

С. М. МАКАРОВА.

РАЗСКАЗЪ МОНЕТЪ

Историческая хроника. Ц. въ коленкоровомъ переплетѣ, съ папочнымъ футляромъ—3 рубля.

Допущено въ ученическія, средняго и старшаго возрастовъ, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній М. Н. Пр. и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Ж. М. Н. Пр., ноябрь 1902 г.).

ПЕТРЪ УСОВЪ.

ИСТОРІЯ СУВОРОВА

Съ 1 хромолитографіей и 50 рис. въ текстѣ. Ц. 1 р. 25 коп., въ изящн. золототисн. коленк. перепл.—1 р. 75 коп.

Одобрено для фундамент. и ученич., средн. и старш. возр., библіотекъ средн. учебн. зав. М. Н. Пр., а также и для безпл. народн. читал. и библ. (Отз. Д-та Нар. Пр. № 28839, 3 ноября 1900 г.).

ГПБ Русский фонд
38.79.4.100